

Л. Б Р О Д С К И Й

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

БИОГРАФИЯ

Т О М I

1814—1832

О Г И З

*Государственное издательство
художественной
литературы
Москва
1945*

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
и м. А. М. ГОРЬКОГО

Н. Л. Бродский

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

биография



ОГИЗ. ГОСЛИПИЗДАТ 1945

ГЛАВА I

ДЕТСКИЕ ГОДЫ ЛЕРМОНТОВА

1

Лермонтов родился в ночь со 2/14 на 3/15 октября 1814 года в Москве, в доме Толя у Красных ворот.

Ему не было трех лет, когда он лишился своей матери. Много лет спустя он вспоминал день ее похорон, свое прощанье с ней:

Он был дитя, когда в тесовый гроб
Его родную с пеньем уложили.
Он помнил, что над нею черный поп
Читал большую книгу, что кадили,
И прочее... и что, закрыв весь лоб
Большим платком, отец стоял в молчанье.
И что когда последнее лобзание
Ему велели матери отдать,
То стал он громко плакать и кричать...

С отцом он не жил вместе, встречался редко — как в детстве, так и в юношеские годы, — и, повидимому, не присутствовал при его кончине:

Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть...

Заботы о его воспитании взяла на себя бабушка по матери, признававшаяся в 1836 году одной знакомой в своей исключительной привязанности к единственному внуку: «Нет ничего хуже, как пристрастная любовь, но я себя извиняю, он один свет очей моих, все мое блаженство в нем...»¹

¹ Из неизданного письма Е. А. Арсеньевой к Прасковье Александровне Крюковой от 14 января 1836 года (Архив Института литературы Академии наук СССР).

Нерадостно сложилась жизнь родителей поэта. Отголоски семейной драмы звучат во многих произведениях Лермонтова; она тревожила его раздумья, он рано стал размышлять, почему «в слезах угасла» его мать, «кто был причиной всех мук» его отца.

Необходимо уяснить себе взаимоотношения близких поэту лиц. Сам он рано стал догадываться, что его родные не могли ужиться друг с другом не только потому, что они были различных характеров, а потому, что их столкновения вырастали также на почве социальных различий:

...Ты светом осужден? Но что такое свет?
Толпа людей, то злых, то благосклонных,
Собрание похвал незаслуженных
И столько же насмешливых клевет, —

восклидал поэт, представляя себе жизнь своего отца и виновников его «дней, потерянных в тревоге и слезах».

Бабушка Лермонтова, Елизавета Алексеевна, происходила из старинного дворянского рода Столыпиных, который был известен уже в XVI веке, но стал богатым в екатерининское время, особенно когда ее отец, Алексей Емельянович — симбирский и пензенский помещик, подобно другим дворянам, нажился на винных откупах. Близость к фавориту императрицы графу Алексею Орлову ввела его в круг «новой знати». Елизавета Алексеевна родившаяся в 1773 году¹, видела в дни своей молодости бесшабашный разгул, горделивую спесь, произвол барства. Она слышала о похождениях симбирского дворянина графа Алексея Орлова, дом которого, по словам современника, «был знаменит подвигами всякого рода буйств и пьянства. С утра до глубокой ночи в доме сего, да и гости пили; кулачные бойцы на смерть друга били; табун цыган орал и плясал. Дочь его графиня Анна, была научена верховой езде, управляла конем, как славный гусар, умела править тройкой лошадей, как златогорский ямщик Валдая. Плясала прелестно, как баядерка»². По словам того же мемуариста

¹ В. А. Руммель и В. В. Голубцов. «Родословный сборник русских дворянских фамилий», т. II, СПб, 1887, стр. 415. Точность даты подтверждается показанием. С. А. Раевского, по словам которого бабушке Лермонтова в 1837 г. было шестьдесят четыре года.

² «Русская старина», 1885, июнь, стр. 46. «Записки А. М. Тургенева».

Алексей Емельянович Столыпин «нигде ничему не учился, о Мольере и Расине не слыхивал, с молодых лет бывал ирой, забиякой, собутыльником Алексею Орлову»¹. Любитель псовой охоты, мастер кулачного боя, ведавший приемы кулачных бойцов, как ударить к месту (значит — по артерной жиле на шее), под никитки (в левый бок к груди, близ сердца), земляных послушать часов (удар по виску), рожество накрасть (разбить скулы, подбить глаза), красного петуха (своротить нос)², Емельянович не чужд был культурным затеям, любимым его современниками: он завел в своей симбирской вотчине хор песенников, устроил театр, где его крепостные разыгрывали разные пьесы. Иногда он выезжал со своей труппой в Москву, где удивлял столичных знакомых превосходной игрой крепостных актеров и пышной постановкой комедий, трагедий и опер³. Но в начале XIX века, по свидетельству А. М. Тургенева, «дворянин попроелся, казна его поистряслась», Столыпин в конце 1806 года продал всю труппу актеров и оркестр музыкантов с их детьми, из 74 человек, за 32 000 рублей (он запросил у Дирекции императорских театров 42 000 рублей, но Александр I признал цену слишком высокой)⁴.

Любопытно, что в спектаклях этого крепостного театра участвовали дочери Столыпина.

Любовь к театральному искусству сохранилась у Елизаветы Алексеевны, считавшей необходимым повести в театр своего внука, когда тот был еще ребенком. Известно, какое она получила образование, но рост культурных интересов в том дворянском кругу, где она вращалась и с которым была связана родственными связями (один из ее братьев, Аркадий Алексеевич, в конце XVIII века печатал свои рассказы в журнале «Приятное

¹ «Русская старина», 1885, ноябрь, стр. 276. «Записки А. М. Тургенева».

² Там же, стр. 276.

³ «Каждую неделю доморощенная и организованная труппа крепостных актёров ломала потехи ради Алексея Емельяновича и всей почтеннейшей ассамблеи — трагедию, оперу, комедь; и сказать правду, без ласкательства, комедь ломали превосходно» («Русская старина», 1885, декабрь, стр. 473).

⁴ В. П. Погожев, «Столетие организации императорских московских театров», вып. I, кн. I. СПб., 1906, стр. 98—100. Ср. «Дело о покупке для императорского театра 74 актеров и музыкантов, принадлежащих помещику А. Е. Столыпину», в Шукшинском сборнике, IX, М., 1910, стр. 341—345.

а полезное препровождение времени»), несомненно, отражался на ней: она понимала значение образования и сделала все, что от нее зависело, чтоб ее внук стал образованным человеком.

Дух самовластия, своеволия, каким заражена была тогда барская среда, соединявшая зачастую доморощенное варварство с чертами «новоманирного» европеизированного быта, проявлялся в семействе Столыпины бурными порывами — настоять на своем наперекор «княгиням Марьям Алексеевнам»: сестра Елизаветы Алексеевны, Екатерина Алексеевна, приняла предложение генерал-майора Акима Акимовича Хостатова, армянина родом, и вышла за него замуж, как ее ни отговаривали «Боже мой! Какой гвалт в Москве белокаменной подняли заматерелые княжны, графини и просто дворянские дочери! — писал современник-мемуарист А. М. Тургенев. — Кричат... как благородной девице вступить в супружество с армянином»¹. Елизавета Алексеевна, видимо, тоже свою волю ценила превыше всего и вышла замуж за того, кого полюбила, хотя избранный ею гвардии поручик Михаил Васильевич Арсеньев (родился 8 ноября 1768 г.) был небогат; впрочем, принадлежал он к дворянскому роду, считавшему своим предком Ослана, — мурзу из Золотой Орды, который в 1389 году перешел на службу к Дмитрию Донскому². Одной из причин своей «пристрастной» любви к внуку Л. А. Арсеньева признавала сходство его по характеру с ее мужем. В 1836 году она писала дальней родственнице о своем внуке: «нрав его и свойства совершенно Михайла Васильевича, дай боже, чтоб добродетель и ум его был»³. Ее любовь к Михаилу Васильевичу, однако, была омрачена вспыхнувшей у него страстью к княгине Мансыревой — соседке по имению в селе Тарханы, которое приобрел Арсеньев за бесценок у Нарышкина и куда он переехал с женой в конце 1794 или в начале 1795 года из своего тульского имения в селе Васильевском, Ефремовского уезда⁴. 1 января 1810 года трагически закончилась семейная неурядица, вызванная охлаждением Михаила Васильевича

¹ «Русская старина», 1885, ноябрь, стр. 277.

² «Род дворян Арсеньевых. 1389—1901». Составил В. С. Арсеньев. Тула, 1903.

³ Из нежданного письма к П. А. Крюковой.

⁴ П. Шугаев. «Из колыбели замечательных людей». — «Живописное обозрение», 1898, № 25.

к властной, уже не молодой и некрасивой жене своей¹. Вечером под Новый год к Арсеньевым, «охотникам до театральных представлений», съехалось много гостей повеселиться на маскараде с танцами и посмотреть постановку «Гамлета», в котором хозяин дома должен был играть роль могильщика. Тщетно он дожидался приезда княгини Мансыревой: то ли потому, что как раз вернулся из действующей армии ее муж и она не могла приехать на спектакль, то ли потому, что Елизавета Алексеевна предупредила ее угрожающей запиской. Михаил Васильевич, получив известие, что его красивая соседка не придет, выпил яду и скончался в гардеробной, где гости и нашли его лежащего мертвым на полу, в костюме и маске².

Тяжело пережила Елизавета Алексеевна этот удар, но, крутая нравом, бросила резкое слово по адресу покойного, уехала в Пензу и не захотела присутствовать на похоронах мужа³.

Единственной дочери Арсеньевых, Марии Михайловне, шел в это время пятнадцатый год. Она родилась 17 марта 1795 года. Хрупкая, болезненная, она находила отраду в музыке и чтении популярных романов сентиментального направления, тревоживших воображение, усиливавших мечтательность, склонность к которой была у девушки. Романы Августа Лафонтена, Жанлис, Радклиф и других европейских писателей были в ходу среди читателей начала XIX века. «Я помню, — вспоминал М. А. Дмитриев, — деревенские чтения романов. Вся семья по вечерам садилась в кружок: кто-нибудь читал, другие слушали; особенно дамы и девицы. — Какой ужас распространяла славная г-жа Радклиф! Какое участие принимали в чувствительных героинях г-жи Жанлис! Страдания «Ортемберговой фамилии» и «Мальчик у ручья» Коцебу — решительно извлекали слезы! Дело в том, что при этом чтении, в эти минуты вся семья жила сердцем или воображением и переносилась в другой мир, который на эти минуты казался действительным; а главное — чувствовалось живее, чем в своей однообразной жизни»⁴.

¹ «Я была пемолода, некрасива, когда вышла замуж», — рассказывала Е. А. Арсеньева о своей замужней жизни много лет спустя.

² П. А. Висковатый. «М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество». М., 1891, стр. 8—9.

³ П. Шугаев. «Из колыбели замечательных людей». — «Живописное обозрение», 1898, № 25, стр. 502.

⁴ Мих. Дмитриев. «Мелочи из запаса моей памяти». М., 1857, стр. 27.

Наряду с романами были также любимы чувствительные романсы. Мария Михайловна пела, аккомпанируя себе на клавинофорте. Ее альбом, куда она записывала сентиментальные элегии на тему о разлуке, о любви, французские акростихи о дружбе, — рисует образ юной мечтательницы с теми настроениями, которые были типичны для уездных барышень того времени. Песни и мелодии, которые пела Мария Михайловна, не отличались по содержанию от романсов, певшихся несколько позже в семье Станкевичей, в их имении Острогжского уезда Воронежской губернии, — как вспоминала об этом Александра Владимировна, сестра Н. В. Станкевича: «Иногда зимним вечером в сумерках, обе кузины (Надежда Станкевич и М. Ф. Бояркина) сидели в полутемной гостиной, сестра Надя пела, аккомпанируя себе на рояле. Сквозь промерзшие, обледенелые окна светила луна. Из комнат матушки проникал свет лампы, висевшей у образа. В другую дверь проникал свет из освещенной залы. У рояля слышались печальные мелодии старинных романсов и еще более печальные слова их.

Там слышалось:

Ударил час, и нам расстаться,
Быть может, должно навсегда!
Ах, нельзя ль не плакать, не терзаться,
Бог весть увидимся ль — когда!

Много пелось тогда песен в таком же духе»¹.

«Нежная мечтательница», — подобно пушкинской Татьяне не находившая в «сладостных романах» «свой тайный жар, свои мечты, плоды сердечной полноты», — мечтала о любви, о герое своего лирического романа и, не скрывая своего пылкого характера, признавалась в своем альбоме: «Вы пишете потому, что хотите писать. Для вас это забава, развлечение. Но я, искренно любящая вас, пишу только для того, чтобы сказать вам о своей любви. Я люблю вас. Эти слова стоят поэмы, когда сердце диктует их»². «Любить — вся моя наука», — по-французски пишет она на первом листке одного своего альбома: «Кто любит тебя более, тот пусть напишет свое имя на следующей странице», — записала она на последней листке другого своего альбома, традиционно-альбомно

¹ «Воспоминания А. В. Шепкиной», 1915, стр. 21—22.

² Альбом Марии Михайловны хранится в Государственной личной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Другой ее альбом в Институте литературы Академии наук СССР.

фразеологией давая понять, что ее чувство и безгранично и не имеет себе равного. Эмоциональная напряженность была характерной особенностью натуры Марии Михайловны. Она выражалась и в ее порывистости, в стремлении отстоять свои желания, вопреки советам близких, — недаром ее дядя, Дмитрий Алексеевич, писал ей в альбоме: «Добродетельное сердце, просвещенный разум, благородные навыки, не убогое состояние, составляют счастье сей жизни, чего желать мне тебе Машинька — ты имеешь всё!.. *Умей владеть собою*»¹.

Когда она познакомилась с молодым, красивым, недавно вышедшим в отставку офицером Юрием Петровичем Лермонтовым, она твердо решила, что это её избранник, тот, о ком она мечтала, — и заставила свою мать согласиться на брак с человеком, который, по мнению Столыпиных, не имел данных, чтобы породниться с ними, ни по состоянию, ни по служебному положению.

Знакомство состоялось у Арсеньевых в Васильевском, где обычно останавливалась Елизавета Алексеевна с дочерью во время ежегодных поездок в Москву после смерти Михаила Васильевича.

По соседству с Арсеньевыми жила в имении «Кропотово» семья Лермонтовых — Анна Васильевна с пятью дочерьми и сыном; соседи были в большой дружбе.

Родня Марии Михайловны, по линии Столыпиных, богатая и влиятельная служебными связями, положением в обществе, — кто генерал, кто обер-прокурор Сената, кто предводитель дворянства, — кичилась «гордостью и важностью своего рода, хотя (по словам современника²) род этот ничем не выдавался и никогда не отличался никакими заслугами отечеству, а был известен только по своему значительному состоянию и, вследствие того, довольно знатными родственными связями». — Юрий Петрович Лермонтов мог только указать, что он старинного дворянского рода. Его предок, Георг Андреев Лермонт, вышедший из Шотландии (из Шкотской земли) на польскую службу, в сентябре 1613 года был принят в Московском государстве, получил поместье в Галиче, в Заболотской волости, по грамоте 1 августа 1620 года, дослу-

¹ Лист 31-й, подписано: «Дмитрий Столыпин», подчеркнуто в оригинале. Альбом Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина.

² «Воспоминания С. М. Загоскина». — «Исторический вестник», т. XXIX, стр. 509.

жился до чина ротмистра в конце 1633 или в начале 1634 года и сложил свою голову за Русь во второй польской войне. Род Лермонтовых рано обрусел. По словам историка, «Георг положил прочное начало процессу обрусения своей фамилии, решив навсегда остаться в Московском государстве и получив Галичское поместье (в Костромской области); сын этого Георга, Петр, окончательно закрепляет обрусение Лермонтовых, сделав второй и решительный шаг в этом направлении: в 1653 году он крестился в «православную христианскую веру»¹. Так и пошли служить стольники, жильцы, прапорщики, поручики из рода Лермонтовых, подписываясь в челобитных московскому царю: «холоп твой Юшко Лермонт» (1618 г.), получая грамоты о пожаловании «деревнями и пустошами» около Чухломы². В XVIII веке один из Лермонтовых (Юрий, прадед поэта) учился в Сухопутном шляхетском корпусе (27 мая 1740 г. вступил в корпус, а в 1745 г. за болезнью отставлен из капралов подпоручиком)³. В том же веке Петр Юрьевич Лермонтов (дед поэта) приобрел небольшое сельцо Кропотово в Тульской губернии в обмен на село Измайлово, Костромской губернии, считавшееся издавна лермонтовским родовым гнездом⁴. Юрий Петрович, родившийся 26 декабря 1787 года⁵, получил образование в первом кадетском корпусе и, по окончании его, 29 октября 1804 года, начал военную службу, дослужился в Петербурге до чина поручика и внезапно уволился в конце ноября 1811 года с чином капитана и с мундиром. В великую Отечественную войну вступил в ополчение, в ноябре и декабре 1813 года находился на излечении в Витебске в военном госпитале⁶.

По преданию, Мария Михайловна Арсеньева и Юрий

¹ В. Сторожев. «Георг Лермонт. Родоначальник русской ветви Лермонтовых». М. 1894, стр. 15—17.

² Н. Виноградов. «Костромичи — предки М. Ю. Лермонтова.» — «Известия II отделения русского языка и словесности Академии наук», 1916, т. XX, кн. 1, стр.: 14—15. 17.

³ Григ. Данилевский. «Прадед Лермонтова». — «Русский архив» 1875, № 9, стр. 997.

⁴ В. М. Цехановский. «К биографии Лермонтова», — «Исторический вестник», 1898, октябрь, стр. 394.

⁵ М. Ф. Николева. «М. Лермонтов». Пятигорск, 1940, стр. 5 (по материалам Первого кадетского корпуса, хранящимся в Ленинградском военном архиве).

⁶ Этой справкой о пребывании Ю. П. Лермонтова в Витебске я обязан Ф. Ф. Майскому, которому выражаю свою признательность за сообщенные им архивные сведения.

Петрович Лермонтов были помолвлены в Васильевском, и Мария Михайловна приехала с матерью в Тарханы объявленной невестой. Эта помолвка могла произойти в конце 1811 или в начале 1812 года; в июне 1812 года началась Отечественная война, тархановской помещице было не до поездок в Москву как в этом, так и в следующем году. В зимние месяцы 1811—1812 года Ю. П. Лермонтов жил в Кропотове, после увольнения в отставку. Свадьба могла состояться только по возвращении его из Витебска, то есть в начале 1814 года. Таким образом между помолвкой и венчанием Марии Михайловны и Юрия Петровича прошло два года. Дочь Е. А. Арсеневой, дав слово жениху, не изменила своего решения, как ни настойчив был натиск ее многочисленной родни, недоброжелательно относившейся к владельцу захудалого тульского имения, как ни манили ее предложения связать судьбу с одним из тех, кто был и родовит, и на виду по службе, и богаче кропотовского помещика. Распространенные в светском кругу слухи, что «история матери (поэта) — целый роман»¹, имели основанием историю борьбы экзальтированной девушки за право на выбор спутника своей жизни не по заветам Домостроя. Где происходило венчание, неизвестно: по преданию, в Тарханах, с обычной торжественностью при большом съезде гостей²; может быть, в Петербурге, где у Е. А. Арсеневой было много родни и куда Ю. П. Лермонтову было удобнее приехать из Витебска.

Проведя несколько месяцев в Петербурге и Москве (с февраля по май 1814 г.³), молодые Лермонтовы — Мария Михайловна и Юрий Петрович — вместе с Елизаветой Алексеевной приехали на лето в Тарханы (Чембарского уезда, Пензенской губернии). Ю. П. Лермонтов «вошел в дом» Е. А. Арсеневой и стал управлять ее имением. Поздней осенью состояние здоровья Марии Михайловны заставило выехать ее в Москву, куда заблаговременно были высланы две крестьянки с грудными младен-

¹ «Звезда», 1936, № 5, стр. 184.

² П. А. Висковатый, стр. 11: «Вся дворян была одета в новые платья. Среди гостей находились сестра Юрия Петровича и мать его Анна Васильевна».

³ В альбоме Марии Михайловны есть запись 1814 года: 2 февраля, 18 февраля (в Петербурге) от учителя и друга В. Георги, 19 февраля Д. С. (Дмитрия Столыпина?), 27 апреля (в Петербурге) за подписью О. Ф., 30 апреля за подписью Татьяны Титовой, 23 мая — в Москве.

цами. После рождения Михаила Юрьевича, названного, по настоянию Е. А. Арсеньевой, в честь деда — в нарушение традиций в роде Лермонтовых, где обычно чередовались имена Юрия (Евтихия) и Петра, — врачи выбрали для него в кормилицы видную, полную, высокого роста Лукерью Алексеевну Шубенину; впоследствии, по рассказам ее внучки, «Миша называл ее «мамушкой». Вероятно, весной или в начале лета 1815 года семья Лермонтовых переехала из Москвы в Тарханы.

2

Сама Елизавета Алексеевна рассказывала, что ее дочь «по страсти вышла замуж», но что она «мало утешалась семейной жизнью дочери»¹. Мария Михайловна скучала когда ее муж уезжал по делам в Москву или в тульское имение. Она тогда писала в своем альбоме:

Кто сердцу может быть милее,
Бесценный друг, тебя?
Без воздуха могу скорее
Прожить, чем без тебя!
Всю радость в жизни, утешенье,
Имею от тебя,
С тобой повсюду наслаждение,
И мрачность без тебя.

Юрий Петрович, находясь в Кропотове, 26 августа 1816 года в том же альбоме² отвечал ей стихотворением в котором сквозит как будто недоверие к пылким признаниям молодой женщины и подчеркнуто мотивируется ее сдержанность в выражении своих чувств:

Я не скажу тебе *люблю*,
Всеобщей моде подражая:
Как часто говорят *люблю*,
Совсем о том не помышляя.
И слово ли одно *люблю*
В себе всю нежность заключает,
Нет, мало говорить *люблю*,
Коль сердце тож не повторяет.
Кто часто говорит *люблю*,
Тот редко и любить умеет,

¹ «Литературный архив», I. Изд. Академии наук, 1938, стр. 22 («Новые воспоминания о Лермонтове»).

² Архив Института литературы Академии наук СССР.

Иной не вымолвит *люблю*,
А чувством только пламенеет.
Так я не говорю *люблю*,
Храня молчанье осторожно,
Но верно так тебя *люблю*,
Как только мне любить возможно.

«Bon vivant», — как называл Ю. П. Лермонтова А. Е. Зиновьев, встречавшийся с ним в Москве в 1828—1830 годах, стал тяготиться размеренной жизнью в Тарханах: любивший веселье, вино, вдобавок игрок¹, обескураженный тем, что не мог дать выхода своим желаниям, встречая решительный отпор со стороны Елизаветы Алексеевны, невзлюбившей своего зятя, он перестал обращать внимание на жену, силы которой после родов стали таять, и сошёлся с ее компаньонкой, молоденькой немкой, преследовал «барскою любовью» и дворовых девушек.

Раздраженный упреками жены в измене, он однажды в запальчивости ударит ее кулаком по лицу. Вспыльчивый, но по натуре добрый, он просил прощения у жены, кааялся в своей грубой несдержанности. Но спокойной жизни уже нельзя было наладить.

Юрий Петрович, озлобленный тем, что теща энергично и во всем защищала свою дочь, стал требовать денег, угрожая, по вероятному предположению биографа, уехать из Тархан с женой и сыном в Кропотово. 21 августа 1815 года «вдова гвардии поручица» Е. А. Арсеньева в присутствии свидетелей оформила в Чембарском уездном суде заемное письмо, по которому она якобы «заняла у корпуса капитана Юрия Петрова сына Лермонтова денег государственными ассигнациями двадцать пять тысяч рублей сроком впредь на год»². Этой взяткой Арсеньева откупилась от зятя, получила возможность не расставаться с больной дочерью и любимым внуком.

Нервная, потрясенная тяжелыми передрыгами, Мария Михайловна стала хворать, — чахотка быстро подтачивала молодой организм. Елизавета Алексеевна на просьбу дочери написать ей что-нибудь в альбом, только и могла пожелать ей здоровья: «Милой Машеньке, — написала она. — Чего пожелать тебе, мой друг? здоровья — вот единственная вещь, которой недостает для счастья дру-

¹ «Записки неизвестного гусара о Лермонтове». — «Звезда», 1936, № 6, стр. 184.

² В. А. Мануйлов. «Семья и детские годы Лермонтова». — «Звезда», 1939, стр. 111.

зей твоих. Прощай и уверена будь в истинной любви Елизавете Арсеньевой»¹.

«В Тарханах долго помнили, как тихая, бледная барыня, сопровождаемая мальчиком-слугою, носившим за нею лекарственные снадобья, переходила от одного крестьянского двора к другому с утешением и помощью, — помнили, как возилась она с болезненным сыном. И любовь и горе выплакала она над его головой»².

От бабушки или от кого-либо из дворовых М. Ю. Лермонтов слышал рассказы, как больная его мать, посадив его на колена, начнет играть ему на фортепьянах «что-нибудь жалкое. Глядь: а у дитяти слезы по щекам так и катятся» («Странный человек»). Поэт помнил мелодию песни, которую она напевала ему:

«Когда я был трех лет, — писал он в 1830 году, — то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услышал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее пела мне покойная мать».

В начале 1817 года Мария Михайловна, едва бродившая по комнатам с заложенными назад руками, окончательно слегла. Она скончалась 24 февраля 1817 года. Через день после похорон, 28 февраля, Е. А. Арсеньева вновь выдала зятю заемное письмо в 25 000 рублей. Он уехал к своим родным в Кропотово. Сын остался у бабушки. 5 июня того же года пензенский губернатор М. М. Сперанский писал в Петербург своему другу, Аркадию Алексеевичу Столыпину: «Елизавету Алексеевну ожидает крест нового рода: Лермонтов требует к себе сына, едва согласился оставить еще на два года...»³. Вскоре Е. А. Арсеньева выехала в Пензу и в местной гражданской палате в присутствии Сперанского, родного брата Афанасия Алексеевича и Г. Д. Столыпина, жена того на ее сестре Наталии Алексеевне, оформила завещание, по которому всё принадлежавшее ей «движимое и недвижимое имение» (496 душ с их женами, детьми обоего пола и с вновь рожденными, с пашенной и непашенной землей и проч.) предоставляла по смерти своей своему родному внуку, «к которому по свойственным чувствам, — писала она, — имею неограниченную любовь и

¹ Альбом в Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. — Е. А. Арсеньева писала по московскому говору.

² П. А. Висковатый, стр. 15.

³ «Русский архив», 1870, т. VIII, стр. 1136.

привязанность, как к единственному предмету утешения остатка дней моих и совершенного успокоения горестного моего положения, и желая его в сих юных годах воспитать при себе и приготовить на службу его императорского величества и сохранить должную честь, свойственную званию дворянина». В своем завещании Е. А. Арсеньева ставила условием, чтоб внук находился при ней до своего совершеннолетия, на ее воспитании и попечении, без всякого на то препятствия отца его и ближайших Лермонтова родственников; завещание теряло юридическую силу, если Ю. П. Лермонтов потребует к себе своего сына, ее внука, — тогда по смерти Е. А. Арсеньевой все движимое и недвижимое ее имение переходило уже не внуку, но в род Столыпиных¹.

Так на время закончилась жестокая, тягостная борьба между бабушкой и отцом М. Ю. Лермонтова. Один отказался от прав отца, желая сохранить сыну состояние. Другая, во имя любви к внуку и к его покойной матери, отрывала сына от отца, и, полная забот о ребенке, в порыве мстительного чувства к его отцу угрожала лишить любимого внука средств существования. Над обоими тяготели «жестokie нравы» времени. В оправдание настойчивой борьбы за внука со стороны Е. А. Арсеньевой можно указать на понятную в ее раздумьях тревогу за судьбу ребенка: в случае новой женитьбы Ю. П. Лермонтова — он мог быть не любимым мачехой, или, в случае «крепостных романов» ее зятя, — ребенок должен был, по мнению старой помещицы, стать свидетелем безобразных, безнравственных картин, остаться без надзора, без забот и ласки.

3

После смерти дочери Е. А. Арсеньева приказала снести большой барский дом, на месте которого заложила церковь Марии Египетской, и выстроила небольшой деревянный дом с мезонином. Парк на полугоре с тенистыми аллеями, пруд под горой, с полугорья — вид на село, за которым далеко тянулись черноземные поля, пересеченные холмами, оврагами, — этот типичный для среднерусской полосы вид глубоко запечатлелся в па-

¹ В. А. Мануйлов. Семья и детские годы Лермонтова. — «Звезда». 1939, № 9, стр. 116—117.

мяти поэта; много лет спустя он вспоминал впечатления своего детства и отрочества, связанные с тархановской усадьбой и деревней:

И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные все места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей.
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листья
Шумят под робкими шагами.

Первоначально к ребенку была приставлена няня Марфа Максимовна Коновалова, высокого роста, с продолговатыми красивыми глазами, очень бойкая. Но за какое-то озорство Арсеньева отправила ее жить в Михайловку — деревушку, построенную бабушкой в честь рождения внука неподалеку от Тархан¹. Ее заменила бонна-немка Христина Осиповна Ремер, воспитанная на идеях немецко-романтической литературы. Фантастика средневековых рыцарями, замками и т. п. в ее рассказах занимала воображение ребенка. Лермонтов впоследствии вспоминал: «Когда я еще мал был, я любил смотреть на луну, на разнообразные облака, которые в виде рыцарей с шлемами теснились будто вокруг нее...»

Эта книжная иноземная стихия сливалась с ярким миром крестьянского фольклора, который с детских лет был близок поэту. Хотя он и писал в 1830 году: «как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская — я не слышал сказок народных», но песни, предания, обряды, сопровождавшие народный земледельческий календарь, занимали весьма заметное место уже в ранней его жизни. По рассказам С. А. Раевского, «зимою устраивалась гора, на ней катали Михаила Юрьевича, и все дворяне, собравшись, потешала его. Святками каждый вечер приходили в барские покои ряженные из дворовых плясали, пели, играли, кто во что горазд. При каждом появлении нового лица Михаил Юрьевич бежал к Елизавете Алексеевне в смежную комнату и говорил: «Бабушка, вот еще один такой пришел!» — и ребенок делал ей усиленное описание. Все, которые рядились и поте-

¹ В. Корнилов и А. Храмов. «Рассказы, сохранившиеся среди населения Чембарского района, Пензенской области, о поэте Лермонтове».

шали Михаила Юрьевича, на время святок освобождались от урочной работы. Праздники встречались с большими приготовлениями, по старинному обычаю. К пасхе заготавливались крашеные яйца в громадном количестве. Начиная с светлого воскресенья зал наполнялся девушками, приходившими катать яйца. Михаил Юрьевич все проигрывал, но лишь только удавалось выиграть яйцо, то с большой радостью бежал к Елизавете Алексеевне и кричал:

— Бабушка, я выиграл!

— Ну, слава богу, — отвечала Елизавета Алексеевна. — Бери корзинку яиц и играй еще.

— Уж так веселились, — рассказывают тархановские старушки, — так играли, что и передать нельзя.

— А летом опять свои удовольствия. — На троицу и семик ходили в лес со всею дворней, и Михаил Юрьевич впереди всех. Поварам работы было страсть, — на всех закуску готовили, всем угощение было.

Бабушка в это время сидела у окна гостиной комнаты и глядела на дорогу в лес и длинную просеку, по которой шел ее баловень, окруженный девушками¹.

В автобиографической повести² рассказывается, как в детскую к «маленькому барчонку» Саше Арбенину приходили горничные девушки, чтоб потешать его: «они рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его воображение наполнялось чудесами дикой храбрости и картинами мрачными и понятиями противуобщественными. Он разлюбил игрушки и начал мечтать... Он воображал себя волжским разбойником, среди синих и студеных волн, в тени дремучих лесов, в шуме битв, в ночных наездах при звуке песен, под свистом волжской бури».

Народные песни и сказы о понизовой вольнице раскрывали перед мальчиком окружающую его жизнь с новой стороны. Наряду с праздничной обрядностью и народными увеселениями, — вроде кулачных боев на большом пруду или играми в войну, в разбойников с дворовыми мальчиками, обмундированными в военное платье, — крестьянская жизнь, жизнь дворни, оборачивалась перед подростком, который «рано выучился думать», теневыми сторонами, порожденными крепостным правом, рабской долей народа. Дворовые — «передняя и девичья» — были

¹ П. А. Висковатый, стр. 18—19.

² Отрывок «Я хочу рассказать вам».

для него, как для Герцена, Кропоткина и других подростков дворянского класса, своеобразной школой накопления гуманных чувств по отношению к подневольным слугам: «передняя с ранних лет развила во мне непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу», — писал автор «Былого и дум». Лермонтов соприкасался с деревней чаще, чем Герцен, живший обычно в городе, и к впечатлениям «передней и девичьей», где подсмотрел не мало слез, выплаканных девушками и от бабушки и от ее наушницы — экономки Дарьи Куртиной, присоединял непосредственные наблюдения над жизнью тархановских крестьян.

Его бабушка в обращении с крепостными была типичной помещицей той эпохи. Бытовым явлением в системе ее управления были: продажа крестьян, выдача горничных замуж по ее личному усмотрению, отправление провинившихся на какие-либо тяжелые работы и пр. До сих пор сохранился любопытный тархановский фольклор об Арсеньевой и поэте, когда он был ребенком. В рассказах, созданных народом, эпизоды из его жизни могли быть хронологически спутаны, обрести различными вариантами, в деталях противоречивыми, но в этих крестьянских легендах безусловно выражены подлинная память о живых лицах и черты реального быта. Образ Лермонтова-подростка в крестьянских рассказах выступает полным неизменной любви к крепостным, с желанием помочь им в нужде и защитить их от строгостей бабушки. Крестьяне Тархан помнили от дедов своих об Е. А. Арсеньевой: «Старуха была и-и-и! Жилиста, скупенька, выколачивала из крестьян последнюю копейку». А вот рассказы о Лермонтове.

«Михайла Юрьича в день рожденья бабушка спрашивает: «Ну чего тебе подарить, внучек?» Он ответил: «Дай мне один день поуправлять имением». Она дала. А была тут, с этих холмов, Долгая роща, лесок, — он там и прозывался «долгий», — и Михайла Юрьевич подарил его крестьянам, документ сделал, все по правилу. Но только бабушка на следующий день разорвала документ и Долгую рощу назад взяла»¹.

«Крестьяне, собрав с общества 36 руб. и купив серого лихого коня, подарили его Михайле Юрьевичу. Очень он

¹ Мариэтта Шагинян. «Тарханы». — «Известия ЦИК СССР», 1937 № 174.

обрадовался подарку. Прокатился он па коне по полям, а потом возвращается в имение и говорит Елизавете Алексеевне: — Видишь, бабенка, какого удалого коня подарили мне мужики! Хорош?

— Знамо, хорош, — отвечает она.

— Ну, а мне теперь что им подарить?

— Все твое, Мишенька, чего хочешь, то и дари.

— Мне крестьяне дали коня, а я им — по избе с коньками. Так и сделал.

Лес брали из Долгой дачи. Дома построили с коньками, лицом на улицу».

В одном рассказе повествуется, как няня Марфа Коновалова водила его в ткацкую: «и смотрит он, как работали крепостные в неволе. Смотрит, и не по душе ему это. А бабушка услышит, что он был в ткацкой, позовет няню, да и давай ее журить. Миша знал, что бабушка такая суровая, а все-таки тайком бегал от нее и в ткацкую ходил, и с крестьянскими ребятишками дружил».

Предание сохранило характерную подробность: «Избави боже, чтобы при Михаиле Юрьевиче кого-нибудь выпороли. Даже когда он был еще ребенком, не позволял этого. Бывало, увидит, что крестьян ведут на порку, сию минуту бежит к бабушке и говорит: — Бабенка, это что же такое — бить людей? Я запрещаю. Ведь они такие же люди, как и мы. — И барыня отменяет порку...»¹

Эти недавно записанные рассказы вполне согласуются с теми, которые более полувека тому назад дошли до первого биографа Лермонтова, писавшего, что поэт «в детстве еще напускался на бабушку, когда она бранила крепостных, он выходил из себя, когда кого-нибудь вели наказывать, и бросался на отдавших приказание с палкой, с ножом, — что под руку попадало»².

4

Еще ребёнком Лермонтов почувствовал интерес к ритмическому ладу речи, он любил повторять рифмующиеся слова: «пол — стол» или «кошка — окошко». Бывало, подойдет к бабушке и скажет: «Бабушка! *стол, пол*». Та же спросит: «Что же, Миша, *стол, пол?*» И он уйдет

¹ «Народные предания о Лермонтове. Рассказы крестьян с. Лермонтова (б. Тарханы) о великом земляке». — «Сталинское знамя», 1939, № 187.

² П. Висковатый, стр. 159.

недовольный, что его не понимают (а сам объяснить и может)»¹.

Рано стала проявляться в нем способность к рисованию. По воспоминаниям очевидца, величайшим удовольствием мальчика было ползать по полу, покрытому в его комнате сукном, и чертить мелом². В альбоме матери на листке синей бумаги Лермонтов нарисовал памятник, окруженный цветами; на памятнике изображена урна на ней слова: «19 декабря 1820 года». Шестилетний мальчик, вероятно, пытался оформить печальные воспоминания о покойной матери в той условной символике, какую он видел на картинах в современных книгах и в том же любимом им материнском альбоме, с которым он не расставался до конца жизни и где он видел рисунки, изображавшие, например, розового купидона крыльями и луком; присев на одну ногу, купидон прицеливался стрелой в алтарь, на котором стояло пылающее сердце, похожее на кувшин³.

Из впечатлений раннего детства запомнилось одно связанное с чувством природы. В 1830 году Лермонтов писал, вспоминая, когда ему было лет восемь: «Я однажды ехал в грозу, куда-то; и помню облако, которое небольшое, как бы оторванный клочок черного плаща быстро несло по небу. Это так живо передо мною, как будто вижу».

Сильное впечатление оставило посещение театра в один из приездов Лермонтова с бабушкой в Москву. Лет пять он смотрел в театре Пашкова на Моховой волшебную оперу в 4 действиях «Князь-невидимка» (музыка Кавоса шедшую с 1 июля в сезоне 1819—1820 года с огромным успехом благодаря постановочным эффектам).

Спустя восемь лет Лермонтов, прочитав на афише Московского Большого театра, что пойдет та же «большая волшебная опера с принадлежащими к ней хорами, балетами (соч. г-на Глушковского), группами, сражениями (г-на Малышева), декорациями, машинами (г-на Шрейдера) и великолепным спектаклем», упросил бабушку взять билет на «Князя-невидимку»; он вновь увидел на сцене удивительные вещи, «как то: полеты, стол, превращающиеся в огненную реку; дуб, разделяющийся на две

¹ Материалы В. Хохрякова (по рассказу П. П. Шан-Гирея).

² Н. Висковатый, стр. 19. Из рассказов С. А. Раевского.

³ Н. Рыбкин. «Материалы к биографии Белинского и Лермонтова». — «Исторический вестник», 1881, т. VI, стр. 375.

части, из коего вылетает Полель на облаке, мост, по коему проходят Черные рыцари через всю сцену, которая потом разрушается. Слон, механически устроенный, натуральной величины, на коем Личардо превращается в разные виды; вырастающая рука Цымбалды; гора, превращающаяся в море; куст, из коего делается грот; храм, занимающий всю широту сцены и спускающийся на облаках с многочисленною группою гениев и амуров, позади коего видна прозрачная радуга. Декорации: приятное местоположение, павильон и зимняя декорация, покрытые снегом и льдинами... Ротонда, зала судилища и куст, превращающийся в грот...»¹

5

Едва ли не главной причиной поездки Е. А. Арсеньевой с малолетним внуком в Москву была необходимость посоветоваться со столичными врачами об его здоровье и выяснить целесообразность вторичного курса лечения на серных водах на Кавказе. Лермонтов страдал золотухой, «худосочием», как тогда говорили; Арсеньева указывала на некоторую кривизну его ног, как на следствие этой болезни. Мальчик находился под врачебным присмотром Ансельма Левиса, жившего в Тарханах. В первый раз бабушка ездила со своим внуком на Кавказ в 1818 году, что подтверждается датировкой стихотворного обращения к Е. А. Арсеньевой П. И. Петрова², женатого на ее племяннице, Анне Акимовне Хостатовой. В «альбоме Марии Михайловны» он отметил время и место встречи с Е. А. Арсеньевой: «1818, июля 30. Шелкозаводск». Так называлось кавказское имение Екатерины Алексеевны Хостатовой, родной сестры бабушки Лермонтова; оно также называлось «Земным раем» и находилось близ Хасаф-Юрта, недалеко от Терека, на границе Чечни.

Второй раз Е. А. Арсеньева была на Кавказе с внуком в 1820 году, как это можно предполагать по записи Александра Алексеевича Столыпина под стихотворным двестишием в том же альбоме: «Кислые воды 1820-го августа 1». В третий раз Е. А. Арсеньева повезла внука на Кавказ летом 1825 года; товарищем Лермонтова в этой

¹ «Московские ведомости», 1829, № 3.

² Павел Иванович Петров с сентября 1818 г. по 1826 г. был командиром Моздокского казачьего полка на Кавказе, где служил в других должностях и позже, до отставки в конце 1837 г.

поездке был его двоюродный брат Михаил Пожогин-Отрашкевич (сын Авдотьи Петровны, родной сестры Юрия Петровича Лермонтова). При Е. А. Арсеньевой, «вдове порутчице из Пензы», находились также «доктор Анселы Левиз, учитель Иван Капа¹, гувернерка Христина Ремер», как показано было в «Списке посетителей и посетительниц кавказских вод» в 1825 г. (по июль), напечатанном в «Отечественных записках», ч. 23 (СПБ. 1825)².

В это лето на кислые воды съехалось много родня Е. А. Арсеньевой: ее племянницы, «Столыпины, Марья Агафья и Варвара Александровны, коллежского асессора Столыпина дочери, из Пензы»³, сам Александр Алексеевич Столыпин из Симбирска с женой Екатериной Александровной⁴. «Петров 3-й Павел Иванович, командир Моздокского казачьего полка, подполковник, из Наураса жена его Анна Екимовна, сын Аркадий, дочери Катерина и Марья»⁵; «Шенгерей Павел Петрович, отставной штабс-капитан, из Кизляра», муж Марии Акимовны Хостатовой с ним приехали его дети, в том числе сын Аким, который был моложе Лермонтова на четыре года и с которым поэт с этой поры много лет жил вместе. У овдовевшей генеральши Е. А. Хостатовой в Горячеводске была усадьба «в самом конце главной улицы, у подножья Горячей горы. Со двора усадьбы можно было вскарабкаться по скалам на Горячую гору или по крутой и узкой тропинке выйти к Кислосерному источнику, а оттуда на Машук. С Горячей горы и Машука открывался прекрасный вид на Кавказский хребет и двуглавый Эльбрус»⁶. Возможно, бабушка Лермонтова остановилась в усадьбе у своей сестры.

¹ Гувернер француз Капэ (Capet).

² Стр. 260, за № 57—62.

³ «Отечественные записки», 1825, ч. 23, 11, стр. 260, № 54—56.

⁴ Там же, стр. 268, № 149, 150. Недалеко от Горячеводска (с 1830 г. Пятигорск) было имение Столыпиновка.

⁵ Там же, стр. 269, № 165—169.

⁶ Е. И. Яковкина. «По лермонтовским местам». Ворошиловск, 1938, стр. 13.

См. «Отрывки из лутевых записок о юго-восточной России» С. Д. Нечаева в «Московском телеграфе», 1826 г., ч. VII, № 1: «С подножья Машука, где устраивается местечко для посетителей, показываются снеговые горы, как зубчатая, сплошная стена, соединяющая две крайние твердыни: Эльбрус и Казбек. Очарованный житель равнины с трудом поверит, что сия великолепная гряда тянется пред его глазами более нежели на двести верст и отстоит от него на таковое же пространство. К ней прилегают другие, так называемые Черные горы, покрытые лесом, изрытые вертепами... Горный хребет, надменно возвышающийся позади волнообразных увалов Кабарды, для живущих

После долгой, утомительной дороги с остановками на почтовых станциях и постоянных дворах с «всегдашним (их) украшением — Бобелиной, колесом фортуны с вертящимся на нем человеком и стихотворной подписью, картиной страшного суда», после необозримых степей, пустынных и скучных видов, бедных деревень, где, по словам одного путешественника, у крестьян «нельзя добиться ни за какие деньги вещей, самых необходимых для стола»¹, десятилетний Лермонтов увидел яркую, величественную природу Кавказа, пеструю, многонациональную толпу, новый быт, не похожий на тархановское или чембарское житье-бытье. Уже после заштатного городка Александрова, от которого дорога шла прямо в Горячеводск, всюду, в 3—4 верстах один от другого, расставлены были казачьи пикеты. Война чувствовалась даже в замиренном районе Предгорья. Над усадьбой Хостатовой стояли казачьи пикеты. По ночам

Лишь только слышно: кто идет;
Лишь громко слушай раздается

Слухи о нападениях горцев или «черкесов» тревожно волновали. Не мало рассказов об этих нападениях слышался Лермонтов от бабушкиной сестры Екатерины Алексеевны, правда, до того привыкшей к ним, что она перестала обращать внимание на мелкие вылазки горцев; если тревога пробуждала ее от ночного сна, она спрашивала о причине звуков набата: «не пожар ли?» Когда же ей доносили, что это не пожар, а набег, то она спокойно поворачивалась на другую сторону и продолжала прерванный сон. Бесстрашие ее доставило ей в кругу родных и знакомых шуточное название «авангардной помещицы»².

О близости театра военных действий говорили раненые офицеры, жившие в Георгиевске и приезжавшие в Горячеводск. Во время поездок в немецкую колонию — Шотландку (Каррас), куда каждое воскресенье с Горячих вод приезжало множество народу погулять в тени итальянских тополей, Лермонтов видел перед выездами казачьи

ших на горячих водах есть зрелище единственное во всех значениях этого слова» (стр. 27—28).

¹ «Московский телеграф», 1830, № 10, май. Письмо с Кавказа. Горячеводск, 15 мая 1827, стр. 168, 174 и др.

² Из рассказов А. Д. Столыпина, записанных П. А. Висковатым в 1880 г.

караулы, внутри колонии — рота пехоты с пушкой для охраны мирных колонистов от набегов горцев¹.

Война с ее героизмом и гибелью, опасностями, кровавым ужасом властно охватила воображение подростка. В альбоме своей матери он стал рисовать черкесов, всадников, сражения, горные пейзажи (Бештау)². При возвращении в Тарханы его любимая игра — «игра в Кавказ», из воску он лепил горы и черкесов; через несколько лет его первые литературные опыты будут посвящены войне на Кавказе.

Лермонтов наблюдал нравы горцев, их праздники и будни. Из ближайшего аула (Бештауского) ежедневно в Горячеводск приезжали черкесы целыми толпами для продажи седел, бурок, баранов и т. д.; они гарцовали или как говорили там, *джигитовали* на лошадях³.

Бросался в глаза их «вид умный, гордый, воинственный, их ловкость, стройность, живописный костюм: «космата шапка, заменяющая чалму турецкую, в удивительно гармонии с пламенным выражением их физиономии. Бешмет (род полукафтання) перевязан туго ремненным поясом, на котором висит шашка, а чаще всего кинжал». Среди черкесов, занимавшихся торгом, обращал на себя внимание один из узденей *Шора* Бекмурзин Ногмои «известный всем приезжий»; это был молодой человек который успел выучиться пяти языкам, кроме родного арабскому, татарскому или турецкому, абазинскому, персидскому и русскому; он сочинял «небольшие поэмы о славу нашего оружия, которые не может распространить между соотечественниками иначе, как через изустное предание и медленное изучение на память»; в этих поэмах сходных с песнями, изданными Макферсоном, описывались кровавые битвы, сетования об убитых воинах, похищении красавиц и проч.⁵

На улицах Горячеводска можно было услышать пение грузинских народных певцов — сазандаров и протяжные

¹ «Отечественные записки», ч. XVII, 1824, стр. 422; «Московский телеграф», 1830, № 11, стр. 324.

² На 65-м листе альбома (Государственная Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина) под одним рисунком по-французски указано: «М. Л., год 1825. 13 июня на теплых водах».

³ «Московский телеграф», 1830, № 11, июнь, стр. 313—314.

⁴ Там же, 1826, № 1, стр. 34.

⁵ «Московский телеграф», 1826, № 1, стр. 35—36. Впоследствии (в 30-х годах) он уехал в Петербург и стал офицером.

мелодии калмыков¹. Сидели грузинки-гадальщицы (мткит-хави и кадачи). Одна из старух, к которой обратилась бабушка поэта, предсказала, что он будет *великий человек* и будет два раза *женат*...

Лермонтов присутствовал 15. июля в Аджи-ауле на местном празднике — байраме, о чем вспоминал в поэме 1832 года:

...Начался байран.
Везде веселье, ликованья...
Уж скачка кончена давно;
Стрельба затихнула: — темно...

По воспоминанию современника, «все посетители (Горячеводска) ждали с нетерпением черкесского праздника. И здоровые, и больные, и доктора хотели видеть зрелище, для них новое, и в день байрама в каретах, в колясках, в дрожках, верхами потянулись к аулу...»

«...Между тем наездники разъезжали по лугу и готовились показать свою ловкость и быстроту своих коней. Когда стало не так жарко, и солнце начало укрываться за Бештау, они рассыпались и в разных местах пустились скакать. Каждый из них старался сорвать шапку с другого. Приобретение шапки служило трофеем. Победитель бросал ее на землю, скакал мимо, оборачивался назад и стрелял в нее, на всем скаку, пулею из ружья. После этой проделки поставили длинный шест, наверху его прикрепили цель, и еще выше повесили награду, которую должен был получить искуснейший стрелок. Награда эта состояла в кожаном чехле для пистолетов, вышитом серебряным галуном. Наездники поскакали мимо шеста и стреляли в него точно так же, как в шапки, т. е. проскакавши, оборачиваясь назад... Когда стрельба кончилась, черкесы опять начали бросать шапки и на всем скаку подымать их с земли: это делали они свободно и ловко... Вообще к вечеру картина сделалась живее. Хороводы составлялись в разных местах. Там пели, там плясали; там черкес, на всем скаку, вынимал ружье из чехла, заряжал его, стрелял и опять прятал; там скакали, там стреляли из пистолетов, там поднимали деньги; дикие напевы, восклицания наездников, выстрелы, топот коней раздавались со всех сторон. Наши нарядные дамы и кавалеры расхаживали от хоровода к хороводу, от одной группы к другой. В заключение спектакля старшина аула вышел в

¹ «Московский телеграф», 1830, № 1, стр. 39.

сопровождении слуг своих, которые несли на тарелках конфеты и попотчевали ими дам и почетнейших из посетителей»¹.

На этот праздник был приглашен считавшийся первым трубадуром во всей Закубани Султан Керим-Гирей. Этот знаменитый певец, сидя на низеньком диване под навесом палатки, спел и сыграл на редчайшем инструменте *пиш-недукокоьо*, который напоминал своей формой арфу, несколько песен: *ораду* — любовную песню, потом *пишнатлю* — военную и, наконец, *габзы* — элегию или плач, посвященный ближайшими родственниками умершего воина, причем воспеваются его подвиги и достоинства. «С каким удивлением, благоговением слушали горцы своего барда», — восклицал П. Свиньин, издатель «Отечественных записок», описавший праздник байрам в Аджиевом ауле 15 июля 1825 года².

Лермонтов запомнил этого народного певца и, не сколько романтизируя образ Керим-Гирея, описал его:

Вокруг огня, певцу шнимая,
Стопилась юность удалая,
И старики седые в ряд
С немym вниманием стоят.
На сером камне безоружен,
Сидит неведомый пришлец.
Наряд войны ему не нужен,
Он горд и беден, — он певец³,
Дитя степей, любимец неба,
Без злата он, но не без хлеба.
Вот начинает: три струны
Уж забренчали под рукою,
И живо, с дикой простотою
Запел он песню старины...

У Кислосерного колодца собиралось для питья воды после обеда почти все местное курортное общество. К июлю 1825 года съехалось в Горячеводск около 300 человек. На площадке около горы Машук можно было встретить людей разных национальностей — армянина, черкеса, грузина; многие ходили в национальных костюмах. Зна-

¹ «Московский телеграф», 1830, ч. 23, стр. 324—328 (Горячеводск, 23 июля 1827).

² «Отечественные записки», 1825, ч. 23, стр. 242, 245—247.

³ По описанию П. Свиньина, Султан Керим-Гирей — «высокий мужчина средних лет, великолепно одетый в шелковое полукафтанье, вооруженный богатыми пистолетами, шашкою и кинжалом». О Султане Керим-Гирее, жившем в своем ауле у подошвы Бештовых гор, упоминал И. Радожницкий в предисловии к своей черкесской повести в стихах «Али-Кара-Мирза», М., 1832, стр. 11.

комства заводились быстро, разговор велся на всевозможные темы. По свидетельству современника, «часто любители литературы являются с журналами, с кипами стихов, и там, где за несколько десятков лет собирались черкесы, чтобы с высот нетерпеливыми взорами приветствовать возвращающихся с добычею хищных своих собратий, там гремит теперь поэзия и вторится имя Пушкина»¹. Это имя могло впервые прозвучать и остаться в памяти Лермонтова еще с 1820 года, когда он лечился в Горячеводске, где летом того же года жил великий поэт, уже известный своими стихами и ссылкой за них на юг. Поэма «Кавказский пленник», которую путешественники нарочно захватывали с собой на Кавказ², могла быть знакома десятилетнему Лермонтову. Впрочем, если не в это лето, то через два-три года он нашел в поэме Пушкина удивительное подтверждение своим собственным наблюдениям и впечатлениям. Природа Кавказа воспринималась подростком с такой жадностью, с таким ненасытным любопытством, что, вероятно, из его близких не все могли удовлетворить его нетерпеливые вопросы о названиях урочищ, пещер, гор, окаменелостей, трав, цветов, деревьев и проч., чем богато было Пятигорье. Невольно поражаешься обилию деталей в описаниях кавказской природы, когда читаешь поэмы Лермонтова, написанные им спустя пять-шесть лет после поездки в Горячеводск в 1825 году. Все эти подробности, так щедро разбросанные в поэмах, вносились по памяти, отражали тот поистине неисчерпаемый запас впечатлений, который с Кавказа увез с собой подросток. Карабкаясь по скалам³, гуляя по берегу Подкумка, посещая железные воды (в 8 верстах от Горячеводска) и другие окрестности, Лермонтов всматривался в расстилавшуюся перед ним «дикую картину» и навсегда запомнил «горы снеговые», «струи Подкумка голубые», «камень, сглаженный потоком», «оленья с ветвистыми рогами, объятого хмелем и плющом», и «краснобокую лисицу», и «листья диких роз», и «лиловые с багряными краями облака»... Врезалось в память Лермонтова в его

¹ Н... Н... «Поездка на Кавказ и в Грузию в 1827 году». М., 1829, стр. 46—47.

² Так, по словам П. С., в июле 1827 г. у одного из офицеров во время поездки в мирный аул в кармане был «Кавказский пленник». («Московский телеграф», 1830, № 11, июнь.)

³ Ср.:

Еще ребенком робкими шагами
Взбирался я на гордые скалы...

прогулках по горам одно впечатление, которое он особенно часто воспроизводил в своих поэтических сочинениях. В камнях и кустарниках по дороге на вершину Бештау и особенно на самой вершине гнезилось много змей. Недалеко от Сабанеевского ключа был обвал, где они, по словам современника, кишели целыми сотнями. Бывали случаи, когда змеи заползали в сени обитателей Горячеводска. Близ Бештау была гора, которая называлась Змеиной, потому что, по преданию, в ней когда-то жил огромный змей — *Полоз*, или *Удав*¹.

Змеиная гора упомянута Лермонтовым в поэме 1832 года. Очевидно, воображение его было сильно захвачено созерцанием змей, чем отчасти можно объяснить повторность образа змеи в его творчестве. Он мог где-нибудь прочитать про то, как не могла двинуться «боязливая птица, очарованная магнетическим взором змеи» («Вадим») но конкретность деталей в его многочисленных описаниях змеи, вероятно, связана была именно с его пребыванием на Кавказе в 1825 году. Приведу несколько примеров:

...Когда вечерняя заря
Бледнеющим румянцем одевает
Вершины гор, — пустынная змея
Из-под камней, резвяся, выползает;
На ней рябая блещет чешуя
Серебряным отливом...

И в час урочный молчаливо
Из-под камней ползет змея,
Играет, нежится лениво,
И серебрится чешуя
Над перегибистой спиною.

Образ змеи применяется поэтом в приеме сравнения:

С вершин Кавказа тихо, грозно
Ползут, как змеи, облака...

Влачусь я по горам с тех пор
Как змей, раздавленный копытом.

Но с гордым бешенством, река,
Крутясь, как змей, не отвечает
Улыбке неба своего...

Слышал Лермонтов песни и предания горцев, расспрашивал об их содержании у Е. А. Хостатовой, П. И. Петрова, Павла Петровича Шан-Гирея, — по свидетельств

¹ «Отечественные записки», 1823, № 44, стр. 398—400; «Московский телеграф», 1830, № 11, стр. 331—332; барон А. Е. Розен. «Записки декабриста», П., 1907, стр. 254.

А. З. Зиновьева, «особенно пленявшего Мишу своими рассказами», — у своей тетки Марии Акимовны Шан-Гирей, выросшей на Кавказе, в Шелкозаводске. В частности, ее роль в умственной жизни Лермонтова-подростка до сих пор совершенно не отмечалась. А между тем Мария Акимовна была той женщиной, с которой он делился рассказами о своих занятиях, о своих литературных и театральных увлечениях, которой посылал свои первые поэтические опыты, советы которой он ценил. Она сразу угадала в своем племяннике необычайно одаренную личность с повышенными духовными запросами и полюбила его. Особенно она направляла его чтение, преимущественно в области истории, спорила с подростком, как со взрослым человеком. От нее, быть может, в первую очередь он мог услышать популярные в устных рассказах народов Северного Кавказа легенды о дивах, или дэвах, о чем он вспоминал в одной из поэм:

Там разноцветною дугой,
Развеселясь, нередко дивы
На тучах строят мост красивый,
Чтоб от одной скалы к другой
Пройти воздушную тропой.

Лермонтову было известно также предание об Амиране, — кавказский вариант античного мифа о Прометее:

Ужасна ты, гора Шайтан,
Пустыни старый великан;
Тебя злой дух, гласит преданье,
Построил дерзостной рукой,
Чтоб хоть на миг свое изгнанье
Забуть меж небом и землей.
Здесь три столетья очарован,
Он тяжкой цепью был прикован,
Когда, надменный, с новых скал
Стрелой пророку угрожал.

Легенды с этим сюжетом в различных вариантах были распространены на Кавказе. Приведу две из них — одна была записана полковником Султаном Хан-Гиреем, другая — И. Цицкаровым, и обе напечатаны в «Сборнике газеты «Кавказ» (изд. О. Константиновым, Тифлис, 1846 г.) в статьях «Мифология черкесских народов» и «Картина Тушетии». «На вершине снежного Эльбруса за какие-то грехи прикован один великан. Когда он пробуждается от оцепенения, то спрашивает у своих стражей: «Растет ли еще на земле камыш и родятся ли ягнята?» Безжалостные стражи

отвечают: «Камыш растет и ягнята родятся». От такого ответа великан приходит в бешенство, рвет свои оковы, и тогда земля дрожит от его движений, брызжут молнии и грохочут громы, его тяжкое дыхание — порывы урагана, стоны — подземный гул, бурная река, с неистовством вырывающаяся из подножья Эльбруса, — его слезы». Поверье тушинцев и некоторых кахетинских жителей гласит, что «в горе Амиранской, одной из угрюмейших гор Кавказа заключен знаменитый узник, Амиран, за какую-то дерзость против творца вселенной. Богатырь закован в железные цепи, сердито грызомые двумя верными его собаками Цепи, уступая их усилиям в день нового года, — время, когда однажды только отверзаются двери его таинственного жилища, — готовы уже расторгнуться, и он силится достать огромный меч, лежащий вблизи, и уже касается до него концами пальцев. «Не дай бог этого», — прибавляют рассказчики: «свет бы обрушился». Но благодаря заботливости кузнецов, которые в этот день ударяют трижды молотами по железу, оковы снова получают первоначальную силу и крепость»¹.

Лермонтова интересовали и географические предания. Так в повести 1830 года «Джюлио» он вспомнил рассказ о Тереке:

Средь гор кавказских есть, слышал я, грот,
Откуда Терек молодой течет,
О скалы неприступные дробясь;
С Казбека в пропасть иногда скатясь,
Отверстие лавина завалит:
Как мертвый, он на время замолчит...
Но лишь враждебный снег промоет он,
Быстрей его не будет Аквилон;
Беги, сайгак, от берега в тот час
И жаждущий табун — умчит он вас,
Сей ток, покрытый пеною густой,
Свободный, как чеченец удалой...

«Кавказ — суровый царь земли» подарил подростку множество ярких впечатлений, вызвал в нем напряженную деятельность разнообразных эмоций. Восторг и страх, неясные мечты об иной жизни, тревожные стремления к чему-то, чего нельзя выразить словом, но что томит ожиданием пре-
красного, не похожего на обыденность, — все это прорывалось в его воображении, в его мыслях, неоформленное, слу-

¹ Обе легенды были перепечатаны в «Северном обозрении», изд. Ф. К. Дершау, СПб, 1848, т. II, «Предания горцев о Прометее» стр. 172 и 395.

танное в сложном клубке томящих настроений. «Синие горы Кавказа, приветствую вас!» — восклицает он, вспоминая через несколько лет свою жизнь в летние месяцы на минеральных водах Пятигорья. — «Вы взлелеяли детство мое, вы носили меня на своих одичалых хребтах; облаками меня одевали; вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю о вас да о небе... Как я любил твои бури, Кавказ! те пустынные, громкие бури, которым пещеры, как стражи ночей, отвечают». И повторял мотивы этого «стихотворения в прозе» в поэмах тридцатых годов:

Приветствую тебя, Кавказ седой!
Твоим горам я путник не чужой:
Они меня в младенчестве носили
И к небесам пустыни приучили.
И долго мне мечталось с этих пор
Все небо юга да утесы гор.
Прекрасен ты, суровый край свободы,
И вы, престолы вечные природы,
Когда, как дым синяя, облака
Под вечер к вам летят издадека...

От ранних лет кипит в моей крови
Твой жар и бурь твоих порыв мятежный;
На севере в стране тебе чужой
Я сердцем твой, — всегда и всюду твой!..

.....
Над детской головой моей венцом
Свивались облака твои седые;
Когда по ним катался гром,
И пробудясь от сна, как часовые,
Пещеры откликались кругом,
Я понимал их звуки роковые,
Я в край надзвездный пылкою душой
Летал на колеснице громовой!..

«Все, все в этом крае прекрасно», — восклицал поэт, перечисляя виденное и пережитое на Кавказе: «на гладком холме одинокое дерево, ветром, дождями нагнутое; иль виноградник, шумящий в ущельи; и путь неизвестный над пропастью, где, покрываясь пеной, бежит безымянная речка; выстрел нежданный, и страх после выстрела: враг ли коварный, иль просто охотник...»

Эмоциональная взбудораженность¹, обострённая воспри-

¹ Ср.: ...в ребячестве пылал уж я душой...
Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала...

имчивость к впечатлениям мира вызвали в подростке «первое беспокойство страстей», то волнение души, которое он пять лет спустя называл «истинной любовью».

Ночью, 8 июля 1830 года Лермонтов записал: «Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду.

Мы были большим семейством на водах кавказских: бабушка, тетушки, кузины. — К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет 9. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою она была или нет. Но ее образ и теперь еще хранится в голове моей: он мне любезен сам не знаю почему. — Один раз, я помню, я вбежал в комнату; она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни об чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть сильная, хотя ребяческая; это была истинная любовь: с тех пор еще не любил так. О! сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум! И так рано! Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице: я плакал потихоньку, без причины, желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату. Я (боялся) не хотел говорить об ней, убежал, услыша ее название (теперь я забыл его), как бы страшась, чтобы биение сердца и дрожащий голос не объяснил другим тайну, непонятную для меня самого. — Я не знаю, кто была она, откуда, и поныне мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу; не поверят существованию — это было бы мне больно! Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность — не с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз. — Горы Кавказские для меня священны... И так рано! в 10 лет! О, эта загадка, этот потерянный рай, до могилы будет терзать мой ум! Иногда мне странно, и готов смеяться над этой страстью! Но чаще — плакать. Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. — Я думаю, что в такой душе много музыки».

Восторженное преклонение перед чудесной природой, грусть об умершей матери, альбом которой постоянно напоминал о ней, волнующее чувство влюбленности — все слилось спустя пять лет в лирическом воспоминании о «личавом Кавказе», воспоминании поэта о том, что

считал главным в своих душевных переживаниях на теплых водах в летние месяцы 1825 года:

Хотя я судьбой, на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас, —
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей
Люблю я Кавказ.

В младенческих летах я мать потерял,
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ.

Я счастлив был с вами, ущелья гор;
Пять лет пронеслось: все тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, вспомян тот взор.
Люблю я Кавказ!..

6

Осенью вместе с Е. А. Арсеньевой, ее внуком и другими лицами, сопровождавшими их на Кавказ, приехала в Тарханы ее племянница М. А. Шан-Гирей с семьей. В трех верстах от Тархан было куплено имение Апалиха, где она и поселилась. Сын ее, Аким, остался жить в усадьбе бабушки поэта. Заботы об образовании детей вместе с Елизаветой Алексеевной стала делить Мария Акимовна. В Тарханах стал жить также Н. Г. Давыдов, сын помещика из соседней деревни Пачелмы. Довольно долго гостили дальние родственники Арсеньевой — два брата Юревы, двое князей Максютых.

Первоначальное обучение Лермонтов получил вместе с этой небольшой группой своих товарищей¹. Кто учил русскому языку, латинскому, арифметике — неизвестно; может быть, священник местного прихода. Религиозная бабушка поэта подарила ему в 1824 году «Книгу хвалений или Псалтырь на Российском языке» (издание 1822 г.)².

¹ По словам П. А. Висковатова, «одно время в Тарханах жило десять мальчиков. Елизавета Алексеевна не щадила средств для воспитания внука. Оно обходилось ей до десяти тысяч рублей ассигнациями» (стр. 23).

² На книге надпись рукой Лермонтова: «сия книга принадлежит»; два раза по-французски и два раза по-русски: «М. Лермантов»; рисунок: птица. После смерти поэта эта книга была подарена Е. А. Арсеньевой его троюродному брату: «Екиму Павловичу Шан-Гирей, Знаю, что тебе приятна будет эта книга. Она принадлежала тому, кого ты любил, читай ее мой друг. Е. А. 1841 г.»

Французскому языку учил Капэ. Этот офицер наполеоновской армии, участник похода 1812 года, попал в плен и остался в России. Поэт любил его за рассказы о военных походах, о Наполеоне, культ которого сохранял Капэ и после разгрома наполеоновской империи. Ремер вносила другой тон в повествования Капэ, знакомя мальчика со стихотворениями патриотов 1813 года вроде Уланда, который призывал все народы объединиться под эгидой России против французского диктатора. Рассказы Капэ и Ремер вводили Лермонтова в мир грандиозных событий, происходивших на Западе.

О событиях Отечественной войны, пожаре Москвы, победах русской армии, вступившей в Париж в 1814 год Лермонтов слышал от своих близких (отца, бабушки, брата, А. А. Столыпина, и др.); будучи в Москве в 1819 году, он видел груды обгорелых камней, разрушенные здания — следы московского пожара; орудия, отбитые французов, лежали в Кремле вдоль стен Московского арсенала (в 1827 году этих орудий было собрано в Москве 875); стены арсенала, разрушенные маршалом Мотье, были восстановлены только к 1828 году¹; в Тарханах он встречал крестьян — еще недавних участников кровопролитнейших боев на Бородинском поле. Рассказы Капэ только вносили своеобразную струю в тот круг представлений об отечественной истории, который преимущественно слагался у подростка Лермонтова по устным рассказам его близких, помнивших недавние события с их разнообразными последствиями, и даже участвовавших в заграничных походах русской армии, в Бородинском сражении, как Афанасий Алексеевич Столыпин².

Кроме новейших иностранных языков (немецкому языку Лермонтов учился у Христины Осиповны Ремер), преподавались латинский и греческий языки. Последнему обучал бежавший из Турции в Россию грек, специалист по выделке шкур. Уроки его, по свидетельству А. П. Шагирея, пришлись не по вкусу Мишелю. Варвара Николаевна Анненкова (1795—1866), по отцу близкая дому А

¹ «Русский архив», 1911, X, стр. 296.

² См. признания Белинского: «Мы, юноши нынешнего века, бывши младенцами, слышали от матерей наших... об двенадцатом году о Бородинской битве, о сожжении Москвы, о взятии Парижа» (Полное собрание сочинений В. Г. Белинского под редакцией С. А. Егоровой, т. II, стр. 339); рассказы Герцену няни Веры Артамоновой («Былое и думы», первая глава).

сеньевой, вспоминала, как бабушка поэта помогала ему в занятиях этим языком:

...Милой бабушке высказываешь снова
Урок младенческий, и вот! забыл ты слово,
И вот она тебя с улыбкою бранит;
Но вечер; сад тебя развесистый манит,
И няня вслед едва поспеет за тобою,
И дерен смуглою ты оторвал рукою,
И снова к бабушке и там перед огнем
За греческим ее находишь словарем.
С тобой и учится и каждый вечер снова
Выписывать тебе слова она готова,
Чтоб труд твой облегчить...¹

По словам сверстника, Лермонтов вообще «занимался прилежно, имел особые склонности к рисованию, но не любил сидеть за уроками музыки»². Аким Павлович Шан-Гирей помнил, «как смуглый, с черными блестящими глазками, Мишель, в зеленой курточке и с клоком белокурых волос надо лбом, резко отличавшихся от прочих, черных, как смоль», «был счастливо одарен способностями к искусствам: уже тогда рисовал акварелью довольно порядочно и лепил из крашеного воску целые картины; охоту за зайцем и с борзыми, которую раз всего нам пришлось видеть, вылепил очень удачно также переход через Граник и сражение при Арбеллах, со слонами, колесницами, украшенными стеклярусом, и косами из фольги»³. Очевидно, по поводу этой вылепленной группы С. А. Раевский рассказывал, что двенадцати лет Лермонтов «вылепил из воску спасение жизни Александра Великого Клитом при переходе через Граник»⁴. Этот эпизод раскрывает занятия поэта по курсу древней истории. Популярным учебником в то время была «Древняя и новая всеобщая история Шрека» (в трех частях. 1-е издание вышло в 1814 году)⁵. Внимание Лермонтова привлек героический образ юного полководца Александра Македонского в один из трагических

¹ Из стихотворения «К М. Ю. Лермонтову», напечатанного в 844 году; приведено в сборнике «М. Ю. Лермонтов в русской поэзии»; под редакцией В. В. Каллаша, М., 1915 г., стр. 51—52.

² А. Корсаков. «Заметки о Белинском, Лермонтове...». — «Русский архив», 1881, кн. 3, стр. 457. (По рассказам Пожогина-Отрашкевича.)

³ М. Ю. Лермонтов, рассказ А. Шан-Гирея, — «Русское обозрение», 890, № 8. См. Е. А. Сушкова. «Записки». «Academia» Л., 1928, стр. 358.

⁴ П. А. Висковатый, стр. 24.

⁵ Однако в первой части на 188—189 стр., в рассказе об Александре Македонском, нет указания на битву при Гранике.

моментов его жизни: в мае 334 года до н. э., во время сражения с персами при маленькой фригийской реке Граник, впадающей в Мраморное море, один из малоазиатских сатрапов, Спифридат, бросился сзади на Александра и уже занес свою кривую саблю над головой царя, брат кормилицы Александра, Клит, спас его жизнь, отрубив занесенную руку.

Лермонтов увлекался театром марионеток. А. П. Шан-Гирей «хорошо помнил актеров-кукол с вылепленными мим Лермонтовым головами из воску. Среди них была кукла, излюбленная мальчиком поэтом, носившая название *Berquin* и исполнявшая самые фантастические роли в пьесах, которые сочинял Мишель, заимствуя сюжеты из слышанного, или прочитанного»¹. Название куклы *Berquin* указывает, кто был источником драматических сюжетов для кукольного театра Лермонтова. *Berquin* — известный во второй половине XVIII века автор одноактных пьес и детских рассказов, подражавший Жан-Жаку Руссо, прославившийся чувствительными романами, один из которых распевался всем Парижем². Его рассказы в течение всего XIX века составляли обязательную принадлежность учебных книг по французскому языку.

По свидетельству А. П. Шан-Гирея, к Е. А. Арсеньеву «часто наезжали близкие родные с детьми и внуками, кроме того, большое соседство, словом, — дом был все битком набит... Когда собирались соседки, устраивали танцы, и раза два был домашний спектакль». Так, со стороны, в тархановскую усадьбу врывались литературные струи. Вполне допустимо предположение, что среди этого многочисленного общества, связанного родством и знакомством со столичными семьями, находились люди, привившие с собой книжные новинки, журналы — русские и иностранные. Имена Жуковского, Батюшкова, Крылова, Пушкина и других писателей того времени должны были звучать в тархановской усадьбе.

Запрещенные стихи Пушкина «Вольность», «Дерево», «Кинжал» разнеслись по всей стране.

Ф. И. Буслаев вспоминал, что в двадцатых годах жизни пензенской гимназии читали Рылеева и Бестужева, Белинский, вспоминая свое детство в городе Чембаре

¹ П. А. Висковатый, стр. 24.

² В 1803 г. в Париже вышло в двадцати томах собрание сочинений

³ «Вестник Европы», 1890, № 11, стр. 40—41.

ходившемся в двенадцати верстах от Тархан, писал об исключительном впечатлении, какое производили стихи Пушкина: «как жадно прислушивалась (Русь к звукам его песен). Я помню это время, счастливое время, когда в глуши провинции, в глуши уездного городка, в летние дни, из растворенных окон носились по воздуху эти звуки, «подобные шуму волн» или «журчанию ручья»...¹ «Поэмы Пушкина, — свидетельствовал тот же Белинский, — читались всю грамотной Россией: они ходили в тетрадках, переписывались девушками, охотницами до стихов, учениками на школьных скамейках, украдкою от учителя, сидельцами за прилавками магазина и лавок. И это делалось не только в столицах, но даже и в уездных захолустьях»². Будущий друг Н. В. Станкевича, Я. Неверов, проживая в арзамасском имении помещика Кошкарова, мальчиком «впервые услышал стихи Пушкина (от крепостной девушки Настасьи), со слов ее наизусть выучил Бахчисарайский фонтан и впоследствии завел у себя целую тетрадь стихотворений Пушкина же и Жуковского»³.

Литературная атмосфера, отечественная и европейская, не могла миновать Лермонтова-подростка. Его бабушка, знакомая с государственным деятелем М. М. Сперанским, сестра петербургского А. А. Столыпина, которому Жуковский писал послания⁴, с которым был близок Грибоедов и вдове которого, дочери графа Н. С. Мордвинова, Рылеев посвятил стихотворение после смерти ее мужа (7 мая 1825), напечатанное в «Северной пчеле» 12 мая 1825 года (№ 57)⁵, — Е. А. Арсеньева могла многое расска-

¹ «Литературные мечтания», 1834.

² «Сочинения Александра Пушкина», глава V.

³ Я. М. Неверов. «Страница из истории крепостного права». — «Русская старина», 1883, XI, стр. 443. — Я. Неверов родился в 1810 г.

⁴ См. «К Столыпину» (12 августа 1819). Полное собрание сочинений В. А. Жуковского, т. I, П., 1918, стр. 257—258.

⁵

Вере Николаевне Столыпиной

Не отравляй души тоскою,
Не убивай себя: ты мать;
Священный долг перед тобою
Прекрасных чад, образовать.
Пусть их сограждане увидят
Готовых пасть за край родной,
Пускай они возненавидят
Неправду пламенной душой,
Пусть в сонме юных исполнителей
На ужас гордых их узрим,
И смело скажем: знайте, им
Отец Столыпин, дед Мордвинов.

зять своему внуку о людях и событиях, стоявших в центре внимания разнообразных кругов русского общества М. М. Сперанского, например, Лермонтов видел в Тарханах, когда тот, будучи пензенским губернатором, приезжал к его бабушке в марте 1821 года¹. М. М. Сперанский был близок со Столыпиными — как с петербургским сенатором Аркадием Алексеевичем, так и с «московским барином» (как называл декабрист Батеньков Григорья Данилович Столыпина)². А. А. Столыпин в молодости брал уроки Сперанского, был у него шафером на свадьбе и, отличая независимым характером, приезжал к опальному государственному деятелю в Нижний, когда все боялись иметь с ним малейшие сношения, когда нижегородские дворяне в 1812 году, по словам А. М. Тургенева, «до того расплились гневом против Сперанского (на собрании у губернского предводителя, князя Грузинского), что многие уже подавали голоса «повесить», «казнить», некоторые кричали «сжечь на костре Сперанского»³.

А. А. Столыпин прислал Сперанскому в Пензу только что вышедшие восемь томов «Истории государства Российского» Карамзина; Сперанский благодарил его и, зная его связи с молодыми «либералистами», писал ему 5 марта 1818 года: «что бы ни говорили ваши либеральные враги, а история сия ставит его на ряду с первейшими писателями в Европе»⁴.

В пензенской переписке со Столыпиным Сперанский касался вопросов государственного преобразования страны, намечал крестьянскую реформу, возмущенно писал о распространении в Петербурге мистических учений⁵.

В то же время в начале мая 1818 года он извещал А. А. Столыпина: «завтра провожаем обеих ваших сестер в деревню; а оттоль они скоро отправятся в Киев». Ближайшие связи между братом Е. А. Арсеньевой и М. М. Сперанским, как мы видим, распространялись на других родственников. Все это необходимо учитывать при определении

¹ «В память графа М. М. Сперанского. 1772—1882»; изд. Публичной библиотеки, СПб, 1872, стр. 96.

² «Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Э. Г. Толля». 1936, стр. 182.

³ «Русская старина», 1895, июнь, стр. 43.

⁴ Письмо Сперанского дает возможность предполагать, что «История» Карамзина была известна Столыпину еще до выхода ее в свет. Столыпин присутствовал на вечере, где историограф читал главу своего труда избранному кругу.

⁵ См. его письма от 22 февраля, 2 мая, 26 июня 1818 г. в «Русском архиве», 1870, № 16, стр. 1151, 1701, 1704; 1871, т. I, стр. 437.

лении связей тархановской усадьбы с культурными гнездами столицы и губернского города Пензы, куда из Тархан выезжала бабушка Мишеля по делам, к своей родне и знакомым.

Среди разговоров старших Лермонтов слышал рассказы о провинциальных нравах, о взбалмошных чудаках и самодурах, — например, в Пензе проживал скандалист, кутила и игрок А. В. Сушков (отец будущей знакомой поэта, Екатерины Александровны): «на вечере у кого-то он затеял ссору с помещиком Столыпиным, гигантом, громадного роста и силачом. Мгновенно схватив стул, Сушков подскочил к нему, вскочил на стул и дал Столыпину полновесную пощечину. Вzbешенный гигант хотел смять его, как козявку, но маленький Сушков, проворно проскользнув меж его ног, увертывался, как вьюн, и неуклюжий Столыпин не мог ничего с ним поделать, утомившись в тщетных усилиях чуть не до апоплексии. Дело кончилось, кажется, дуэлью»¹.

О картежных подвигах этого Сушкова ходили в Пензе целые легенды: «когда ему в карты везло, он делал себе ванны из шампанского и выкидывал деньги горстями из окна на улицу, а когда не шло — он ставил на карту не только последнюю копейку, но до последнего носового платка своей жены. Нередко его привозили домой всего в крови, после какого-нибудь скандала...»².

Долго помнились в Пензе курьезные анекдоты о скупой богачке Е. В. Кожинной, бабушке Е. А. Сушковой: как она «раз в год, на свои именины, давала бал, на котором не было других конфет, как собранных ею в продолжение целого года на других балах, для чего и носила всегда огромный ридикюль», как она, понукаемая полицией, должна была построить деревянный тротуар около своего дома, но в видах его сохранения поставила караульчиков, которые денно и нощно должны были оберегать тротуар, не позволять никому ходить по нем и прогонять прохожих. По словам ее племянника, А. М. Фадеева, Екатерина Васильевна внимательно наблюдала из окна за исполнением своего распоряжения, а часто и сама выходила на улицу для личного командования своим караулом³.

¹ «Воспоминания Андрея Михайловича Фадеева. 1790—1867» В двух частях. Одесса, 1897, стр. 93—94.

² Там же, стр. 93. Любопытные подробности о нем в неизданной автобиографии Н. В. Сушкова.

³ Там же, стр. 36—37.

Помещичий быт соседней тарховской усадьбы возник перед подростком в мрачных слухах о жестокостях чинимых владельцами «крещенной собственности» над крепостными крестьянами и дворней. Особенно прославился родственник Е. А. Арсеньевой, помещик села Тархова (в трех верстах от Чембар), генерал А. Ф. Мосолов, о диких расправах которого с крепостными слышали одновременно Лермонтов и Белинский, накапливая чувства возмущения и ненависти к «барству дикому». Даже помещики боялись проезжать мимо усадьбы тарховского деспота, называли его «Словьем-разбойником», а крестьяне — просто «живодером»¹.

От дворовых крестьянских ребят, среди которых у Лермонтова было много знакомых, он знал, как солоно живется не только тарховским крестьянам. Он знал также, что крестьянская масса подымала восстания против своих угнетателей, и если ему могло быть неизвестно, как тогда крестьяне говорили между собой: «Пугачев попугал господ, а Метелкин пометет их», то предания о пугачевщине, о местах Пензенской губернии, где проходили отряды пугачевцев, были ему известны. Один из его современников, сын помещицы села Архангельского, Пензенской губернии, Городищенского уезда, Г. И. Филипсон, вспоминал, что подростком он видел в имении своей матери «двух стариков, из которых один был эсаулом (в отряде Пугачева) и имел... отрезанный кусок левого уха», — таково было одно из наказаний за участие в крестьянском восстании 1773—1774 годов². Были живы старики-пугачевцы и среди тархановских крестьян (Чембарский уезд был охвачен восстанием в 1774 году). Лермонтов ездил к своему товарищу Давыдову в село Пачелму, в трех километрах от которого до сих пор сохранились следы пещеры, известной среди местного населения под названием погребов, или клада, где, по преданию, осталось много ценностей от пугачевцев. Еще на памяти взрослого населения состояние пещеры было таково, что в нее можно было довольно глубоко проникать³. Был ли около этой пещеры Лермонтов, или он слышал о ней от Давыдова, —

¹ П. Шугаев. «Из колыбели замечательных людей». — «Живописное обозрение», 1898, № 22, стр. 438.

² «Воспоминания Григория Ивановича Филипсона. — «Русский архив», 1883, № 3, стр. 77.

³ Г. Нефедов. «Пензенский край в творчестве М. Ю. Лермонтова». — «Сталинское знамя», 1939, 10 сентября.

одно несомненно, что, описывая впоследствии пугачевское движение в повести «Вадим», он, скорее всего, имел в виду эту пещеру, когда рассказывал в XVIII главе о Чортовом логовище, овеянном «суеверными преданиями» народа.

Рассказы о крестьянском восстании XVIII века, долетавшие толки о воле, не замиравшие среди крестьянской массы, чтение вольнолюбивых стихов Пушкина вдруг получили новый смысл, когда в Тарханы стали доходить известия о внезапной кончине Александра I, о междоусобице, о восстании на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, о казни декабристов 13 июля 1826 года... Все эти события произвели потрясающее впечатление на современников. Многие из сверстников Лермонтова считали с этого периода начало новой жизни в своем умственном развитии. Не было семьи, где бы не перечитывались и не обсуждались скупые газетные строки «Московских ведомостей» или «Северной пчелы» о вооруженном восстании офицеров и солдат против вступившего на престол царя Николая. Слухам и толкам, нередко самым фантастическим, не было конца даже в детских комнатах помещичьих усадеб, о чем любопытно рассказала в своих мемуарах Елизавета Менген, дочь петербургского сановника и помещика Рязанской губернии: «Мне было около четырех лет, когда скончался император Александр I в 1825 г. Это мое самое раннее воспоминание, — с тех пор я все помню.

Курьер приехал объявить отцу о смерти государя; в доме поднялась суматоха, начались толки, догадки, говорили, что великий князь Константин наследует престол. Шестилетний брат мой Александр прибежал в детскую объявить, что приказчик наш Константин Васильевич будет императором; мы нашли совершенно естественным, что такой великий господин, как Константин Васильевич (в котором была без малого сажень), сделается царем, и когда он вошел к нам, мы все стали кричать: «Ура! Константин Васильевич, поздравляем вас, ура!» Он принял наши крики с хладнокровием хохла, но кто-то унял нас, и крики и наш восторг утих.

О 14-м декабря я мало слышала, при нас остерегались говорить; помню, что превозносили верность Шервуда, но вместе и слышала про него следующий анекдот: кто-то спросил, отчего ему в герб дали собаку. «Да оттого, что он с.... с...», был ответ.

Этот Шервуд, несмотря на свою верность, нигде не смел показываться, и о нем скоро перестали говорить.

Рассказывали, что цесаревич¹ скоро после этих грустных происшествий стал играть с сестрами в 14-е декабря и взял на себя роль одного из декабристов... Николай Павлович взошел в это время и строго наказал цесаревича»².

Д. А. Милютин, будущий школьный товарищ Лермонтова³, жил в это время в усадьбе отца, в селе Титове, в сорока пяти верстах от Тулы. Его воспоминания, написанные спустя много десятков лет после декабрьских событий, — типическое свидетельство того, какой резкой бороздой в сознании ребенка прошел 1825 год. «Первым оставшимся в моей памяти впечатлением, выходящим из тесного кружка нашей домашней и семейной жизни, была кончина императора Александра I. Известие об этом важном событии поразило всю Россию своею неожиданностью; затем бесконечные разговоры и толки о недоразумениях, возникших относительно престолонаследия, о бунте 14 декабря — все это возбуждало смутное понятие в моей детской голове»⁴.

Известно, какую роль сыграли события 1825—1826 годов в жизни Герцена, который был на два года старше Лермонтова. «Рассказы о возмущении, о суде, ужас в Москве сильно поразили меня; мне открывался новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего; не знаю, как это сделалось, но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души» («Былое и думы», ч. I, глава III).

Мемуаристы (в том числе и Герцен) указывают, что всех поразила своей неожиданностью смерть Александра I. Это обстоятельство давало особый повод к толкам среди жителей Пензенской губернии: с 30 августа по 4 сентября 1824 года Александр I пробыл в Пензе, производил смотр и маневры второго пехотного корпуса, присутствовал на балу, который в его честь давало дворянство, и проч.

¹ Впоследствии император Александр II.

² Е. М. Менгден. «Из дневника внучки». — «Русская старина» 1913, январь, стр. 103—104.

³ Д. А. Милютин родился 28 июня 1816 г.

Цитирую по рукописи мемуаров Д. А. Милютина (стр. 47), хранящихся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина.

Известие о смерти царя должно было поразить обитателей Тархан, знавших о его недавнем посещении Пензы. Вскоре пришло неожиданное известие о смерти брат Е. А. Арсеньевой, Д. А. Столыпина (3 января 1826 г.) некогда встречавшегося на юге с Пестелем.

В официальных сообщениях о декабристах бабушка поэта встречала близкие ей имена — Сперанского, Мордвинова, членов верховного уголовного суда. «Роспись государственным преступникам, приговором верховного уголовного суда осуждаемым к разным казням наказаниям», изданная в 1826 году, называла знакомые фамилии, нередко родственников из семейств, хорошо расположенных к Е. А. Арсеньевой. От Лермонтова не могли скрыться ни факты, ни слухи, в связи с политическими событиями 1825—1826 годов. Что консервативная бабушка придавала этим фактам то освещение, которое было присуще большинству крепостнического дворянства, это не подлежит сомнению. Но что ее двенадцатилетний внук, подобно Герцену, «мало понимая или очень смутно, в чем дело», тревожно задумался над событиями 1825 года, — это также бесспорно. Мы видели, какая не по возрасту сложная душевная жизнь кипела в нем на Кавказе летом 1825 года, как его внимание притягивали героические фигуры в истории, как возбужденно реагировал он на факты насилия, угнетения, как рано его возмущение стало рисовать картины борьбы, опасностей. Восстание и казнь декабристов было сильнейшим впечатлением в жизни Лермонтова-подростка. Оно глубоко притаилось в его сознании и тем острее переживалось, что приходилось молчать, так как никто из окружающих не мог разъяснить ему его смутных и тревожных раздумий, никто не разделял идей, за которые погибли дворянские революционеры.

Контраст между неопределенными порывами и обыденной тархановской обстановкой стал ощущаться заметней и томить напряженней; чувство одиночества стало овладевать с тоскливой силой: быстро развивавшийся подросток заметно опередил своих товарищей по занятиям.

Лермонтову было около тринадцати лет, когда бабушка решила определить его в одно из московских учебных заведений. Осенью 1827 года они переехали в Москву. На пути из Тархан Лермонтов провел часть лета у своего отца в Кропотове (Ефремовского уезда, Тульской губернии). Мысли о причинах разлуки с отцом вновь овла-

рли, «противоборство между бабушкой и отцом»¹ вносило сумятицу и в без того полную всяческих тревожащих душевную жизнь.

К 1830 году относится его запись: «(Мне 15 лет), однажды (3 года назад) украл у одной девушки, которой было 17 лет, и потому безнадежно любимой мною исерный синий снурок: он и теперь у меня хранится.

Кто хочет узнать имя девушки, пускай спросит у двоюродной сестры моей. — Как я был глуп!..» На автографе гихотворения «К гению» он сделал приписку: «Напоминание о том, что было в Ефремовской деревне в 1827 году — где я во второй раз полюбил 12 лет — и поныне люблю».

Эмоциональная возбужденность, жажда любви, дружбы, привычка думать и наблюдать, мечтать о необычном, порывы, перегруженность разнороднейшими впечатлениями, накопленными на Кавказе и в усадьбе, смутные мысли о противоречиях, конфликтах в общественной жизни, — таков облик тринадцатилетнего Лермонтова, приехавшего в Москву.

¹ «Литературный архив», стр. 427. (Из воспоминаний А. З. Зиновьева.)

ГЛАВА II

ЛЕРМОНТОВ В МОСКВЕ

1827—1828 годы

1

У Лермонтова появились новые товарищи, новые знакомые. Прежде всего надо отметить семью Мещериновых. Петр Афанасьевич Мещеринов, отставной штаб-ротмистр, находился в родстве с Е. А. Арсеньевой¹. Его жена Елизавета Петровна² была образованной женщиной: она — одна из первых и немногих подписчиц органических журналов — «Мнемозины», издававшегося в 1824—1825 годах В. Одоевским и В. Кюхельбекером. Если, по словам современника, бабушка поэта «была женщина деспотического, непреклонного характера, привыкшая повелевать, представляла из себя типичную личность помещицы старого закала, любившей притом высказывать всякому в лицо правду, хотя бы самую горькую», то Е. П. Мещеринова, «будучи столь же типичной личностью, в противоположность Арсеньевой, выделялась своей доступностью, снисходительностью и деликатностью»⁴. У Мещериновых было трое детей — Влади

¹ Ее покойная мать — Мария Афанасьевна Мещеринова.

² Урожденная Соковнина, из дворян Симбирской губернии.

³ См. «Имена подписавшихся на Мнемозину по времени подписки», в IV части «Мнемозины» (Москва, 1825), стр. VIII. Из петербургских подписчиков на первом месте был указан Аркадий Алексеевич Столыпин (стр. X).

⁴ «Заметки и воспоминания художника-живописца М. Е. Меликова». — «Русская старина», 1896, июнь, стр. 647—648.

Ир¹, Афанасий и Петр, — почти все сверстники Лермонтова; Афанасий Мещеринов был отличный музыкант; его братья — с литературными наклонностями. «Мещериновы Арсеньевы жили почти одним домом», — вспоминал художник М. Е. Меликов, проводивший большую часть времени в свои детские годы в доме Мещериновых и Толыпиных. Меликов доводился племянником генералу Павлу Моисеевичу Меликову, участнику Бородинского сражения, в котором у него оторвало ядром правую руку. Тот генерал, армянин родом, был дружен с П. А. Мещериновым, его бывшим сослуживцем по кирасирскому полку. По словам М. Е. Меликова, Е. А. Арсеньева, Мещериновы и Меликовы часто виделись друг с другом².

В доме П. М. Меликова его племянник встречал пролавленного героя Отечественной войны, генерала А. П. Ермолова, воспетого Пушкиным в эпилоге «Кавказского пленника». Тот же М. Е. Меликов вспоминал о доме Мещериновых: «помню, как труднейшие пьесы Бетховена и Моцарта разыгрывались талантливым Афанасием — пока я читал все, чем богата была литература того времени»³.

Лермонтов, бывая в этих домах, впитывал в себя впечатления искусства, знакомился с книжными новинками, встречался с людьми, рассказы которых о прошлом и современном расширяли его кругозор. Среди своих новых товарищей он выделялся творческой активностью: «Лермонтов ставил театр из марионеток, в котором принимал участие и я с Мещериновыми, — вспоминал М. Е. Меликов, — пьесы для этих представлений сочинял сам Лермонтов»⁴.

Как в Тарханах, так и в Москве до поступления в школу первые литературные опыты Лермонтова были в

¹ Родился в 1813 г.

² П. М. Меликов жил в Армянском переулке, Мещериновы — в Пушкинском переулке на Сретенке. Арсеньева с внуком в апреле 1828 г. жила на Поварской, в доме капитанской дочери девицы Варвары Михайловны Лаухиной; в апреле 1829 г. — на Поварской, в доме Е. Я. Костомаровой; в апреле 1830 г. — на Малой Молчановке, в доме купчихи, вдовы Феклы Ивановны Черновой (теперь д. 2).

³ «Русская старина», 1896, июнь, стр. 652.

⁴ «Русская старина», 1896, июнь, стр. 648. Ср. в письме Лермонтова к М. А. Шан-Гирей от 1827 г.: «Я еще ни в каких садах не бывал, но я был в театре, где я видел оперу «Невидимка», ту самую, что видел в Москве 8 лет назад; мы сами делаем театр, который довольно хорошо выходит, и будут восковые фигуры играть (сделайте милость, пришлите мои воски)».

области драматургии. Действенность природы проявлялась в этом интересе к театральной форме; воображение, насыщенное образами, сюжетными интригами, вычитанными или самостоятельно придуманными, искало разрешения в наиболее динамической форме. Не случайно у М. Е. Меликова осталось воспоминание о Лермонтове как «властном руководителе наших забав». Мещериновы обратили внимание на выдающиеся способности юного рисовальщика: по их совету, бабушка пригласила художника А. С. Солоницкого давать Лермонтову уроки рисования¹.

Е. А. Арсеньева хотела уже осенью 1827 года определить своего внука в московскую школу: ее прошение в Московскую духовную консисторию о выдаче свидетельства о рождении и крещении Лермонтова «для отдачи его к наукам и воспитанию в казенные заведения» было удовлетворено 25 октября 1827 года. Выбор учебного заведения был решен по совету с Е. П. Мещериновой: университетский благородный пансион, где с 1824 года учился ее старший сын Владимир, пользовался отличной репутацией² и, подобно Царскосельскому лицей, был привилегированным учебным заведением, куда дворянство охотно отдавало своих детей. Бабушке поэта пансион был рекомендован также ее родственником Г. Д. Столыпиным: его сын, Алексей Григорьевич, с отличием учился в этом пансионе³, который когда-то с золотой медалью окончил и брат Е. А. Арсеньевой, Д. А. Столыпин⁴.

¹ О своих занятиях на дому с художником Александром Степановичем Солоницким Лермонтов писал своей тетке М. А. Шан-Гирей в двух дошедших до нас письмах от 1828 г.: «Заставьте, пожалуйста, Екима рисовать контуры, мой учитель говорит, что я еще буду их рисовать с полгода; но я лучше стал рисовать; однако же мне запрещено рисовать свое... «Скоро я начну рисовать с (bustes) бюстов... Какое удовольствие! К тому же Александр Степанович мне показывает также, как должно рисовать пейзажи».

² Заметка М. П. (Михаила Погодина) — «Два слова об Университетском благородном пансионе» в «Московском вестнике», 1828, ч. XI, стр. 381—382.

³ А. Столыпин, воспитанник шестого класса, получил серебряную медаль; его сочинение «О нравах и обычаях» было признано лучшим («Речь, разговор и стихи, читанные на торжественном акте Университетского благородного пансиона, по случаю выпуска воспитанников, окончивших курс учения, 1824 года; марта 29». М.; 1824).

⁴ Воспитанник Университетского пансиона Петр Юркевич перевел с французского книгу Д. Столыпина «О фортификационном профиле» (1816); перевод по одобрению начальства был отпечатан, как свиде-

Вероятно, степень подготовки Лермонтова показалась приглашенному для занятий с ним преподавателю Университетского пансиона Алексею Зиновьевичу Зиновьеву достаточной, чтоб в течение года приготовить его к экзамену сразу в старшее отделение среднего класса — в четвертый класс, для поступления в который требовалось знание следующих предметов: арифметика вся и алгебра до уравнений второй степени; латинская, немецкая этимология и русский синтаксис; древняя, всеобщая история и всеобщая география¹.

Сохранилось известие (со слов П. П. Шан-Гирея), что Лермонтов часто говаривал бабушке про А. З. Зиновьева: «Зачем вы его наняли учить меня? Он ничего не знает»².

Это указание может быть объяснено только тем, что по горло занятый педагог, не успевавший следить за текущей художественной литературой³, не всегда удовлетворял своего любознательного ученика разъяснениями по поводу той или иной недавно вышедшей и уже прочитанной поэтом книжки. Характер отношений между ними определяется тем, что Лермонтов дал своему учителю любимый им альбом матери, в котором А. Зиновьев 14 сентября 1828 года написал:

Коль вечно не могу друзей моих любить,
Не дай мне бог сердечных чувствий пережить.

А. З. Зиновьев (1801—1884) был выдающимся преподавателем, разносторонне образованным человеком. По окончании словесного отделения Московского университета в 1821 году, он поступил в 1822 году в Университетский пансион надзирателем и преподавателем латинской и русского языков. С 1824 года началась его литературная работа: он печатает на историческую тему статью «Вестнике Европы» (кн. 16), переводит учебную книгу Адама «Римские древности», сообщавшую сведения о па-

тельствует отчет о торжественном собрании 17 марта 1828 г. («Речь и стихи...», стр. 54).

¹ «Речь и стихи...», 1826, апреля 10, М., 1826, стр. 39.

² Материалы В. Х. Хохрякова.

³ А. Зиновьев похвалил стихотворный кусок в поэме Лермонтова «Черкесы», не заметив, что то были стихи из «Наташи Долгорукой» И. И. Козлова, без изменения включенные юным поэтом в свой ученический опыт.

литических учреждениях, религии, науке и искусствах, о суде, торговле, общественных играх, частной жизни римского народа¹. В 1827 году он защитил для получения степени магистра диссертацию «О начале, ходе и успехах критической российской истории»²; один из тезисов ее гласил: «Российская история существенно важна для истории других европейских государств: древняя объясняет происхождение многих народов и их историю; новая по влиянию на политическую систему России» (стр. 71). Диссертант, давая характеристику историческим памятникам (летописи, хроники, родословные книги и проч.) и знаменитым историкам (Шлецер, Тунман³, Болтин, Татищев, Эверс, Карамзин и др.), между прочим, высоко ценил значение древней России: она «гремела славой и могуществом в иностранных государствах, — утверждал А. Зиновьев. — Воинские успехи сделали ее страшною не только соседственным народам, но и самой гордой Византии. Не только Польша, Швеция и Венгрия, но и отдаленная Франция видели на своем троне цариц русских»⁴.

А. Зиновьев много писал по вопросам педагогики в тогдашних журналах. Свои воззрения на задачи воспитания и образования он основывал на педагогических принципах Локка, Жан-Жака Руссо, Песталоцци, Гербарта, Нимейера, Бонстеттена и других. Воспитатель должен, по его мнению, тщательно готовиться к своему призванию и быть широко образованным; ему надо знать философию и эмпирическую психологию, быть осведомленным в изящных искусствах и музыке, «необходимо чтение всех произведений, в коих изображен человек, где верно описаны тайные склонности души его, все исторические сочинения подобного содержания, биографии, автобиогра-

¹ В 1834 году вышло новое издание, в основу которого был положен план ученого Мейера и, кроме сочинения Адама, лекция Гейне и Зибенкеса: «Римские древности или изображение нравов, обычаев и постановлений римлян, служащие к легчайшему уразумению латинских писателей. В пользу юношества». В 1829 г. он выпустил «Учебную книгу латинского языка. По руководству Зейденштюккера».

² Вышла в свет в Москве, в 1827 г.

³ Об этом шведском ученом, заинтересовавшемся древнерусской историей, А. Зиновьев поместил статью «О жизни Тунмана» в «Атенее», 1828, ч. IV, № 15—16.

⁴ В 1829 г. вышла «Краткая всемирная история», написанная А. З. Зиновьевым по иностранным источникам.

⁴ Н. Л. Бродский

фии, все произведения фантазии: романы, драмы, поэмы, писанные с истинным познанием человека, ведущие не непременно к оному»¹.

Молодой педагог А. З. Зиновьев разделял убеждения известного в то время на Западе Бонстеттена, который горячо пропагандировал идеи активного отношения жизни: «всего несправедливее думать, что ум всегда в состоянии покоя. Душа есть огонь, требующий питания, который угасает, ежели не умножается». Человек должен «с каждым днем совершенствоваться, умножая средства счастья и общее к себе уважение. Все это не может произойти без решительной воли... Поставьте себе целью, — переводил А. Зиновьев излюбленные мысли Бонстеттена в одной из его статей, — не превзойти других, но превзойти себя. Сия уединенная борьба с собою стоит победы над другими. Важнейшая человеческая способность — *воля*. Делать или не делать, действовать или противиться, в этом состоит все нравоведение. Оно утверждается более способностью хотеть, нежели познавать. Истинный талант обнаруживается решительною потребностью какого-либо особого занятия: лучший совет для таких счастливых — предаться небесному дару, столь редкому и отличному», то есть поэтическому искусству. А. З. Зиновьев писал рецензии на выходившие книги для детей, — например, ему принадлежал интересный (с оценкой «умственных забав» детского возраста) отзыв о «волшебной повести для детей» А. Погорельского «Черная курица, или подземные жители» («Атеней», 1829, февраль № 4); он же передал своему университетскому товарищу М. П. Погодину, редактору «Московского вестника», сюжет трогательной повести, которую тот напечатал под заглавием «Возмездие», снабдив ее примечанием: «Примношу усердную благодарность А. З. Зиновьеву, рассказавшему мне сие происшествие. В предлагаемом описании я употребил почти все слова его. — В истине можно поручиться М. П.»² А. Зиновьев был вкладчиком в «Производный словарь». За эту лингвистическую работу он был удостоен в 1825 году звания члена-сотрудника Общества любителей

¹ «Домашнее воспитание. О воспитателях и учителях» («Атеней», 1828, № 21).

² «О необходимости системы воспитания, приличной юношескому достаточному состоянию» («Атеней», 1828, ч. 5, № 17).

³ «Московский вестник», 1827, т. VI, стр. 404.

лей российской словесности¹, делился с читателями «Атеней» своими недоумениями по вопросам орфографии (1829, март, № 5), писал стихи², статьи «О примечательных мужах, оказавших услуги славянской словесности» (по сочинению Иосифа Дубровского)³. Не будучи оригинальным теоретиком, уклоняясь от страстной литературной борьбы, которая кипела вокруг него в «эпоху литературного брожения и смятения», когда, — по словам А. Зиновьева, — «одни восстают против современной наклонности к какому-то мнимому романтизму, другие с жаром защищают противную партию; одни пишут критики на историографа, другие их опровергают; жрецы и крицы Мельпомены и Талии подвергаются многообразным несогласным толкам»⁴, А. Зиновьев добросовестно изучал и излагал в своих книгах основные труды по теории поэзии, по истории эстетических учений, с 1830 года занимая должность «профессора красноречия и словесности древних языков» в Ярославском Демидовском лицее. Учитель Лермонтова полагал, что «идея составляет начало и основу искусства. Но она проявляется здесь не под формою мышления, а под формою чувственного представления»; он защищал право писателя на поэтическое изображение всех явлений жизни: «от красоты добра до ужаса злодейства, от блаженства и небесных наслаждений до крайней степени несчастья — все состояния человека служат содержанию искусства»⁵. Его представления о поэте, назначение которого «творить образы», окрашены романтической дымкой: «Истинный поэт возвышается над кругом человеческой ограниченности, стремится горю и там созерцает». Но, восхищаясь поэзией Жуковского, А. Зиновьев чужд был туманным, неопределенным порывам в лирических произведениях своих современников; он не только требовал музыкального и пластического в стихах, но выдвигал на первое место содержание, тему

¹ Действительным членом общества был избран 11 июня 1832 г.

² «Волга, символ могущества России», в «Вестнике Европы», 1830, № 19 и 20; «Древность» — в сборнике «Речи и стихи. произнесенные в торжественном собрании Ярославского Демидовского училища высших наук 15 января 1837», стр. 19—24.

³ «Журнал министерства народного просвещения», 1836, ч. IX, январь.

⁴ «Атеней», 1829, ч. I; март, стр. 549.

⁵ Исторический взгляд на развитие теории художественно-прекрасного, М. 1841, стр. 47, 55.

произведения. «Не механические средства, но внутренняя сила поддерживает произведение, — писал А. Зиновьев в своих «Основаниях пиитики». — Так, опущены некоторые главные моменты в «Борисе Годунове» Пушкина, но в мнимых отрывках нам представляется система разнообразных частей, проникнутых и соединенных единою великою идеею (умышленное злодейство и карающее провидение). Сей внутренней связи не заметит тот, кто занимается внешностью пьесы и декорациями более, нежели внутренним действием». А. Зиновьев всякого истинного поэта считал вместе и философом, отдавая пальму первенства в науке о человеке гениальным произведениям английского драматурга: «Не в упрек философам утверждаем, что в драмах Шекспира развиты с большим глубокомыслием психологические истины, нежели во всех философских рассуждениях. Где, как не в его Макбете, Гамлете и Лире, сильнее и очевиднее представлены преступление, смесь силы и слабостей в человеке, награждающая и наказующая Немезида и беспредельная идея Судьбы? Кто истиннее и прекраснее этого чудесного гения раскрыл тайны человеческого сердца, борение склонностей и силу страстей, бесконечную тоску и предчувствие, всю организацию духа со всеми ее странными явлениями»¹. А. Зиновьев, владевший несколькими иностранными языками, был не только знаком с памятниками мировой литературы, но интересовался также смежными искусствами — живописью, античной скульптурой. Он прекрасно декламировал. Добрый и общительный, он привязался к своему воспитаннику, радовался его успехам и, по просьбе бабушки, продолжал следить за его учением в пансионе. Под руководством образованного педагога Лермонтов быстро усваивал необходимые знания, порядочно овладел латинским языком. А. Зиновьев не стеснял его развития; видя одаренного подростка, который «прекрасно учился, вел себя благородно, особенные успехи оказывал в русской словесности»², он умело направлял его интересы, рекомендуя лучшие создания европейской художественной литературы — Шекспира, Гёте, Шиллера, из русских поэтов — Державина, Крыло-

¹ «Основания пиитики, по новой и простой системе Ауэрбахера» М., 1836, стр. 17, 34, 43, 78.

² «Новые воспоминания о Лермонтове» (А. З. Зиновьева). — «Литературный архив», стр. 427.

ва, Жуковского, Пушкина, которых считал образцами «народной поэзии»¹. А Зиновьеву бабушка поручила пригласить преподавателей для занятий с Лермонтовым по математике и другим дисциплинам. Он, вероятно, рекомендовал своих товарищей из Университетского пансиона, где в младших классах математику преподавал Кацауров². Лермонтов, продолжая брать уроки музыки на фортепиано, начал учиться играть на скрипке³. Успевал он найти время и для работы над бисерным ящиком, который отправил в благодарность за подвязку Катюше Шан-Гирей.

Вскоре после переезда в Москву умер в доме Е. А. Арсеньевой любимый поэтом гувернер Капэ. В 1828 году его сменил Жан-Пьер Келлет-Жандро, французский эмигрант, который еще при Александре I находился под секретным полицейским наблюдением. III отделение продолжало считать его политически неблагонадежным. Подобно Герцену, расспрашивавшему своего учителя Бушо о событиях революции 1789—1793 годов, Лермонтов среди упражнений по Лагарпу (история Геро и Леандра)⁴, среди разборов греческих мифов об Орфее и Эвридике, Эхо и Нарциссе задавал вопросы старику Жандро о тех же событиях. Подростку нравились его рассказы

Про сборища народные, про шумный
Напор страстей и про последний час
Венчанного страдальца... Над безумной
Парижскою толпою много раз
Носилось его воображение:
Там слышал он святых голов паденье,
Меж тем как нищих буйный миллион
Кричал, смеясь: «да здравствует закон!»
И в недостатке хлеба или злата
Просил одной лишь крови у Марата.

¹ О позднейшей педагогической и литературной деятельности А. Зиновьева см. у Д. Д. Языкова «Обзор жизни и трудов покойных писателей», СПб, 1888, вып. IV (здесь неполный список трудов А. Зиновьева).

² А. Зиновьев преподавал в четвертом классе латинский язык, русский синтаксис, всеобщую историю и географию.

³ Преподавателями в пансионе были Жолио и Карл Геништа.

⁴ Тема поэмы греческого писателя пятого века (до н. э.) Музея. Геро — жрица Афродиты в Сесте. Леандр, ее возлюбленный, ежедневно переплывал Геллеспонт, чтобы увидеться с ней. Однажды буря погасила на Сестовой башне огонь, который указывал ему дорогу, и Леандр утонул. Геро с отчаяния бросилась в море. — В «Невском альманахе на 1827 год» был напечатан П. Ободовским вольный перевод из Шиллера «Геро и Леандр» (стр. 221—234). Стихотворение «Леандр и Геро, подражание Кюнингаму» находим в «Опытах в стихах» Ивана Бороздны (М., 1828).

Лермонтов уносился воображением в мир величайших потрясений народной жизни, событий, исполненных глубокого драматизма. Париж конца XVIII века, Сенатская площадь в Петербурге 1825 года связывались одной цепью героической борьбы и трагической гибели, как и смутны были представления поэта о тех и других исторических событиях.

А. Зиновьев, умеренный в своих общественных симпатиях, не мог рассказать Лермонтову о многом, на что наталкивалась растущая мысль подростка. Лицом, которое помогло поэту до известной степени осмыслить его тревожные запросы, от которого он услышал о таких фактах общественной жизни, которые замалчивались гостиней бабушки, был крестник Е. А. Арсеньевой — Святослав Афанасьевич Раевский. П. А. Висковатый, который много сведений о жизни поэта узнал по живому преданию от таких лиц, как Аким Павлович Шан-Гирей, допустил в своем рассказе о Раевском ряд неточностей легко устранимых на основании подлинных документов в архиве государственного Московского университета. Раевский не был университетским товарищем Лермонтова, он был старше своего друга не на три года и т. п.¹ Но наряду с ошибочным указанием, будто «во время учения (Раевского) в Московском университете бабушка приютила крестника у себя», заслуживает внимания сообщение, что «еще в Москве (он) живо сочувствовал литературным интересам (Лермонтова), принимая деятельное участие в разных планах поэтического творчества». До П. А. Висковатого от осведомленных в биографии поэта лиц дошло известие, что С. А. Раевский проживал в Москве и бывал у Е. А. Арсеньевой в те годы, когда Лермонтов был еще подростком. Биография С. А. Раевского не противоречит этому преданию, сообщенному первым биографом Лермонтова.

С. А. Раевский родился в 1808 году². Его отец, Афанасий Гаврилович, из дворян Саратовской губернии, по окончании Московского университета был с 1806 года по 1820 учителем географии и смотрителем в пензенском уездном училище³. Бабушка С. А. Раевского, урожден

¹ См. XI главу, стр. 215—216, книги П. А. Висковатого.

² Крещен 8 июня 1808 г. Восприемниками были А. Бекетов и Н. С. Жедринская.

³ У него было 160 душ в Сердобском и Кузнецком уездах, Саратовской губернии.

ная Киреева, «оставшись сиротой во времена Пугачева, воспитывалась в доме Столыпиных, соседей своих по деревне, вместе с Елизаветой Алексеевной»¹. Эта старинная связь между родными Киреевой и Е. А. Столыпиной не прерывалась, когда последняя вышла замуж за Арсеньева. В Пензе Е. А. Арсеньева бывала в семье Раевских и считалась крестной матерью Святослава Афанасьевича. Он гостил в Тарханах, но возрастное различие между ним и Лермонтовым было слишком заметно. Раевский помнил Лермонтова, когда тот был ребенком, рассказывал о самом первоначальном детстве поэта. Однако ни о какой товарищеской близости между ними нельзя говорить: восьмилетний Лермонтов не мог быть парой Раевскому, уже готовившемуся поступить в университет. 17 сентября 1823 года С. А. Раевский был зачислен студентом словесного отделения Московского университета, который и окончил со званием действительного студента нравственно-политического отделения 22 июня 1827 года.

Раевский задержался на год в университете, увлекшись научными предметами на различных факультетах. Помимо юридических дисциплин, в его аттестате были указаны прослушанные им лекции словесного и физико-математического отделений. В студенческие годы Раевского наиболее известными профессорами, на лекции которых сходились со всех факультетов, были А. Ф. Мерзляков и М. Г. Павлов; пользовались популярностью также профессора Д. М. Перевощиков (читавший алгебру и трансцендентальную геометрию) и Н. Н. Сандунов (профессор гражданского и уголовного судопроизводства). Их лекции на разных отделениях были прослушаны С. А. Раевским; по поводу них велись оживленные споры среди студентов.

По воспоминаниям А. Д. Галахова, учившегося в Московском университете в 1822—1826 годах, студенты жили напряженной умственной жизнью, с увлечением относились как к университетской науке в лице ее передовых представителей, так и к тому, чем насыщена была литературно-общественная жизнь вне стен университета. «Все равно восхищались и переводом Жуковского из Мура:

¹ Черновик «Объяснения губернского секретаря Раевского о связи его с Лермонтовым» (1837) находится в архиве Института литературы Академии наук СССР.

Ангел и Пери (1821) и *Кавказским пленником* (1822) и комедией *Горе от ума* (1823), ходившею по рукам, и, на конец, *Бахчисарайским фонтаном* (1824).

Математики и медики не хуже словесников знали наизусть почти всю пьесу Грибоедова и безусловно поклонялись Пушкину. Полемика между классиками и романтиками не оставалась нам неизвестною, — мы судили и рядили о предисловии к *Бахчисарайскому фонтану*, написанном князем П. А. Вяземским, и о споре... между его автором и М. А. Дмитриевым. Само собой разумеется, что мы становились не на сторону последнего». Лекции А. Ф. Мерзлякова, классика по литературным взглядам, с его разборами «Шильонского узника» в переводе Жуковского, поэм Пушкина, собиравшие массовую аудиторию¹, вызывали споры, возбуждали страстную полемику, так как одушевленное слово популярного автора песни «Среди долины ровныя» и других находило своих сторонников среди старших студенческих курсов.

Профессор сельского хозяйства и физики М. Г. Павлов, которого Кюхельбекер, встретившись с ним за границей, называл «истинно гениальным»², был самым талантливым среди русских ученых последователей философии Шеллинга и своими лекциями и статьями (например, в «Мнемозине») оказывал такое влияние на аудиторию, что среди студентов ходовым стал термин «павловщина», когда появлялись в печати статьи, написанные в умозрительном стиле автора «О способах исследования природы». По словам А. Д. Галахова, написавшего одну из статей в этом роде³, «Павлов привлекал на свои лекции слушателей со всех факультетов. Переполненная аудитория с напряженным вниманием и в тишине следила за изложением его взглядов на природу и способы ее исследования, который предпосылал он как вступление в курс минералогии»⁴.

¹ «Тогда модный изящный сюртук или полуфрак безразлично усаживался с фризовой шинелью или выцветшим демикотоновым сюртуком или казакином; кандидат, кончивший курс, студент 30 лет, студентик 15 лет, преклонных лет любознательный сенатский чиновник, армейский офицер, — все это сидело, стояло, лепилось, где попало, на изящных лекциях Мерзлякова». — Д. М. Щепкин, «Московский университет в половине 20-х годов». — «Вестник Европы», 1903, т. IV (цитата из записок Мурзакевича в «Русской старине», 1887, № 2, стр. 230).

² «Дневник В. К. Кюхельбекера», Л., 1929, стр. 96.

³ «Четыре возраста естественной истории» в «Московском вестнике», 1827, ч. V, № 17.

Много шума вызвала вступительная лекция И. И. Давыдова «О возможности философии, как науки» и полемически заостренная против многих профессоров Московского университета. Этой лекцией 12 мая 1826 года, напечатанной в том же году с посвящением студентам, было прекращено, по распоряжению министра А. С. Шишкова, преподавание профессором Давыдовым логики и истории философии; запрещено было и распространение печатных экземпляров лекции Давыдова, которого еще в 1823 году изувер Магницкий объявил «врагом Божиим» за его «Начальные основания логики». Студенты наглядно почувствовали наступление нового курса и в своей университетской жизни: политическая реакция после 14 декабря сгустилась над всей страной. Молодежь, возмущавшаяся режимом «кочующего деспота» и временщика Аракчеева, воспитанная на освободительных идеях, которые привели активную часть русского дворянства к вооруженному восстанию, не могла мириться с проявлениями политического насилия, вырывавшего жертвы и из студенческой среды: 26 июля 1826 года был арестован и по приказу Николая сдан в солдаты студент Полежаев, называвший царя после свидания с ним «вторым Нероном, Искариотом, удавом», а в августе 1827 года были арестованы студенты братья Критские, и возник политический процесс по обвинению группы разночинной молодежи в конституционных замыслах, в разговорах о цареубийстве, в возмутительных беседах с караульными гренадерами на главной кремлевской гауптвахте, в чтении «дерзновеннейших стихов» Рылеева и Бестужева, которые были получены от Полежаева одним из участников кружка братьев Критских.

Молодые годы С. А. Раевского прошли в накаленной общественной атмосфере. Он принадлежал к тому типу студенческой молодежи, который был распространен в двадцатых годах, о котором декабрист Штейнгель, несколько сгущая краски, писал Николаю в январе 1826 года: «дух свободомыслия разлит на всех, кои образовались в университетах, в университетских и частных пансионах... Отличительные свойства вновь образованных людей, с некоторым исключением, суть: непризнание ничего святым, нетерпение подчиненности, неува-

¹ «Сто один. Время высшего образования. Университет (1822—1826). Из записок человека». — «Русский вестник», 1876, т. 126, стр. 192—199.

жение к лицам, желание независимости, скорое стремление к наслаждению жизни, скучение всем и беспечность всему настоящему. Им кажется, что для ума их в России тесно и нет ничего достойного их деятельности...»

К Раевскому вполне можно отнести из этой оценки молодого поколения то, что он действительно заражен был «свободомыслием», что ему, образованному человеку, казалось трудным жить среди Скалозубов и Молчалиных, что ему были близки настроения, выраженные одним из «либералистов» двадцатых годов: «Что есть любовь к отечеству и нашему быту? Ненависть настоящего положения. В этой любви патриот может сказать с Жуковским: «В любви я знал одни мученья». Одновременно на том же отделении учились С. А. Раевский и Михаил Критский, восемнадцатилетний студент. В университетской аудитории они встречались, читали одни и те же революционные стихи Пушкина, Рылеева, много передумали и перечувствовали в памятные месяцы декабрь — июль 1825—1826 годов.

Не скоро Раевский решился пойти на служебное поприще. По окончании университета он несколько лет провел вне министерских канцелярий: он определился в департамент государственных имуществ только 28 апреля 1831 года.

Вряд ли он провел безвыездно четыре года в саратовской глуши, в имении своего отца. В Москве у него были друзья; один из них — Андрей Александрович Краевский, с которым он учился на одном отделении и вместе окончил университет. Будущий выдающийся журналист А. А. Краевский уже в это время завел знакомства в литературном мире, часто навещал своего университетского наставника М. П. Погодина, через которого получил рекомендацию для поступления в канцелярию московского генерал-губернатора кн. Д. В. Голицына, где и пробыл с 7 ноября 1828 года до декабря 1830 года. А. А. Краевский и С. А. Раевский интересовались общественными науками; товарищ С. А. Раевского перевел для «Московского вестника» речь французского экономиста Дюпена «О выгодах, проистекающих от промышленности и употребления машин в Англии и Франции»¹. Чем занимался

¹ Н. Барсуков. «Жизнь и труды М. П. Погодина», кн. III, СПб. 1911, стр. 94; в «Московском вестнике», 1827, ч. V, напечатан «Взгляд на Францию: Изложение сочинения Дюпена». Перевод К. Не Краевского ли?

в эти годы крестник Е. А. Арсеньевой, мы не знаем. Можно лишь догадываться, что он с горечью повторял слова Чацкого:

Служить бы рад,
Прислуживаться тошно.

Летом 1827 года Раевский вышел из университета, осенью этого года Лермонтов приехал в Москву. В приземистом внуке Арсеньевой с умным, выразительным лицом и большими карими глазами, опущенными черными ресницами, Раевский встретил любознательного пытливого подростка, не по возрасту развитого. Передовые литературные и общественные взгляды питомца Московского университета сыграли свою роль в идейном формировании молодого Лермонтова, который за год московской жизни сильно изменился. Когда его тархановский товарищ А. П. Шан-Гирей приехал в Москву, он «нашел в Мишеле большую перемену... Тут я в первый раз увидел русские стихи у Мишеля: Ломоносова, Державина, Дмитриева, Озерова, Батюшкова, Крылова, Жуковского, Козлова и Пушкина; тогда же Мишель прочел мне своего сочинения стансы К***. Меня ужасно интриговало, что значит слово *стансы*, и зачем три звездочки? Однако ж промолчал, как будто понимаю. Вскоре была написана первая поэма, «Индианка»...» — вспоминал А. Шан-Гирей.

Многое неточно в этом свидетельстве А. Шан-Гирея о ранних литературных работах его друга. Если признать разделяемое всеми исследователями, вслед за П. А. Висковатым, мнение, что поэма «Черкесы», на которой имеется надпись Лермонтова: «В Чембар за дубом»¹, была написана в 1828 году, то это могло быть только в летние месяцы, когда Лермонтов с бабушкой жили там перед поступлением его в пансион, и, таким образом, эта поэма писалась до поэмы «Индианка». А. Шан-Гирей в первый раз, по его словам, увидавший у Лермонтова в Москве сочинения русских поэтов, очевидно, забыл что еще в Тарханах у Лермонтова была библиотека с оригинальными и переводными книгами современных поэтов.

В поэме «Черкесы» в числе источников, откуда он черпал десятки стихов, историками литературы указаны «Кавказский пленник» Пушкина, «Абидосская невеста» Байрона (в переводе И. И. Козлова), «Причудница»,

¹ Может быть, Лермонтов имел в виду «Дубки» — рошу помещика Мосолова по дороге от Тархан к Чембару?

«Ермак» и «Освобожденная Москва» И. И. Дмитриева
«Сон воинов» Батюшкова, «Наталья Долгорукая» Козлова.

Пушкин и Байрон (в переводе Жуковского) еще до 1828 года стали «властителями дум» Лермонтова. Переписывая стихи французских поэтов в подаренную ему в 1826 году толстую тетрадь в голубом бархатном переплете с вышитой золотом анаграммой «М. Л.», он вдруг прерывает цитату и пишет «je n'ai point fini parce que je n'ai pas pu» (я не окончил, потому что окончить не было сил); на заглавном листе он отметил: «Разные сочинения. Принадлежат М. — Л. 1827 года 6 ноября». Затем переписал две поэмы: «Бахчисарайский фонтан» Пушкина и «Шильонский узник» — сочинение Байрона, перевод Василия Жуковского¹.

Указание А. Шан-Гирея, что Лермонтов до поступления в пансион прочитал ему лирическое стихотворение, соответствует признанию поэта в 1830 году: «я начал стихи в 1828 г.», после чего он зачеркнул слово в пансионе, так как на самом деле стихи начал писать до пансиона, что можно подтвердить и тем, что стихотворение «Поэт», посланное в декабре 1828 года Марии Акимовне Шан-Гирей вместе с описанием школьных занятий, с полной очевидностью свидетельствует, что юный автор уже немало упражнялся в технике стихосложения и воспитал свой поэтический язык на хорошо изученным им образцах русской лирики.

До нас не дошли ранние стихотворения поэта: они были сожжены самим Лермонтовым и его другом А. П. Шан-Гиреем.

Как переписанные им поэмы Пушкина и Байрона (в переводе Жуковского), так и поэма «Черкесы» дают возможность судить о том, какие темы волновали подростка, куда стремились его мечты.

Пушкин прежде всего стал его идейным и художественным руководителем; Лермонтов жил его образами, усвоил его поэтические формулы, нередко говорил его стихами, как «языком матери». Пушкина пронес он через всю свою поэтическую жизнь, — подростком переписывая или перефразируя его романтические поэмы, взрослым преклоняясь пред гениальным творцом реалистического

¹ Тетрадь находится в Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина.

романа, поэтом-художником русского быта, русской природы.

Образ юноши, гонимого судьбой, «отступника света», покинувшего предел родной и полетевшего «с веселым призраком свободы в край далекий», где ожидала его тягостная цепь раба («Кавказский пленник»); борьба страстей, трагическая судьба пленниц гарема («Бахчисарайский фонтан») на фоне кровавых сражений, столкновений народов, в рамке экзотических пейзажей и быта, изображенных с глубочайшей «точностью и верностью выражения», — вот что притягивало Лермонтова к его поэтическому учителю, в поэмах которого он находил «тайный глас (своей) души, мечты знакомые, знакомые страдания». В том же ряду созвучных образов стоял байроновский узник, который в тюрьме «невозвратно схоронил все, что знал, все, что любил», который чувствовал себя «без места на пиру земном, лишним гостем на нем», но которого манила свобода, красота знакомых гор и «близкие к ним небеса». Воображение подростка погружалось в мир тревожных настроений, когда он читал и переписывал мрачные стихи поэмы Байрона:

И виделось, как в тяжком сне,
Всё бледным, темным, тусклым мне;
Всё в мутную слилось тень;
То не было ни ночь, ни день,
Ни тяжкий свет тюрьмы моей,
Столь ненавистный для очей:
То была тьма без темноты;
То была бездна пустоты
Без протяженья и границ;
То были образы без лиц,
То страшный мир какой-то был,
Без неба, света, и светил,
Без времени, без дней и лет,
Без промысла, без благ и бед,
Ни жизнь, ни смерть — как сон гробов,
Как океан без берегов,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и немой.

В поэме «Черкесы» — горец «в крепости высокой, в цепях, в печали, в скорби, одинокий»; его бесстрашный брат с отрядом лихих черкесов хочет освободить его из тюрьмы и гибнет в бою с русскими. Трагическая судьба героя, «на смерть всегда готового» против врагов свободы, показана на фоне мрачного, подсказанного книж-

ной традицией пейзажа: «в долинах всюду мертвый сон и на дупле, как тень, сидит полночный ворон и кричит» «одето небо черной мглой, в тумане месяц чуть блестит» и т. д.

На пороге школы у Лермонтова уже была значительная осведомленность в современной литературе, были любимые писатели, в его собственных литературных опытах при всем их ученическом характере обнаруживалось умение развернуть сюжет, нарисовать пейзаж, батальные сцены. В выборе тем как переписанных, так и оригинальных произведений сказывалась беспокойная душа, неудовлетворенность обыденным, стремление к героическому; мотивы свободы, борьбы заметно прорывались как наиболее желанные.

Присоединим к этим настроениям возбуждения, шедшие от самой жизни, от наблюдений над бытом, от случайных встреч и проч. Сколько впечатлений дали поездки из Тархан в Москву в конце лета 1827 и 1828 годов!

Лермонтов ехал в столицу тем же путем, каким в 1829 году из Чембара ехал В. Г. Белинский. «Журнал моей поездки в Москву и пребывание в оной», написанный последним в конце 1829 года¹, живо рисует этот путь: Нижний — Ломов с монастырем, связанные в преданиях местного населения с пугачёвским движением; «гнусный городишко» Спасск; переправа на пароме через реку Цну, по которой плыли барки, впервые увиденные Белинским; песчаные дороги («в иных местах колеса увязали почти по ступицу»); сосновые леса, тянувшиеся около 15 верст среди них разбросанные деревушки; старая Рязань с ее достопримечательной древностью; «быстрая Ока, покрытая барками», «восхитительное зрелище» с крутого берега: «низкий, почти равный с Окою противоположный берег, желтый, песчаный, как необозримое море, теряется в своем пространстве и граничит с горизонтом в левой стороне, на возвышенном месте, — которое, однако же, гораздо ниже крутизны, на которой вы стоите, — стоит Новоспасск. О, с каким восторгом, с какой гордостью, стоя на помянутой крутизне, я обозревал сии восхитительные виды!»; губернский город Рязань «с правильным расположением улиц» и гостинными рядами, красивым зданием гимназии; Коломна с крепостью «в самом жалком

¹ В. Г. Белинский. «Письма», т. I, П., 1914, стр. 10—19.

положении»; Бронницы, «довольно плохой городишко, однако, лучше Чембара»; «как в тумане», показалась колокольня Ивана Великого за несколько верст до Москвы; «наконец, приблизились к Москве-реке, запруженной баркасами. Неисчислимое множество народа толпилось по обеим сторонам набережной и на Москворецком мосту. Одна сторона Кремля открылась пред нами. Шумные клики, говор народа, треск экипажей, высокий и частый лес мачт с развевающимися разноцветными флагами, белокаменные стены Кремля, его высокие башни, — все это вместе поражало меня, возбуждало в душе удивление и темное смешанное чувство удовольствия. Я почувствовал, что нахожусь в первопрестольном граде — в сердце царства русского». То, что чувствовал Белинский, бродя по московским улицам, осматривая разного рода примечательные памятники, переживал и Лермонтов. Его «Панорама Москвы» и «Журнал... пребывания в (Москве)» Белинского — два документа, вскрывающие один и тот же строй мыслей и чувств у поэта и у его будущего гениального истолкователя, когда они, почти сверстники (Белинский был старше Лермонтова на три года), впервые стали знакомиться с Москвой. Чувство родины, гордость за ее историческое прошлое, любовь к стране, к народу, — вот что вызывала в них обоих Москва, овеянная славными воспоминаниями.

«Хотя Москва сначала и не нравится, тем более ею пленяешься. Изю всех российских городов Москва есть истинный русский город, сохранивший свою национальную физиономию, богатый историческими воспоминаниями, ознаменованный печатью священной древности, и то нигде сердце русского не бьется так сильно, так радостно, как в Москве. Ничего не может быть справедливее этих слов, сказанных великим нашим поэтом:

Москва! как много в этом звуке
Для сердца русского слилось,
Как много в нем отозвалось.

Какие сильные, живые, благородные впечатления возбуждает один Кремль! Над его священными стенами, над его высокими башнями пролетело несколько веков. Я не могу истолковать себе тех чувств, которые возбуждаются во мне при взгляде на Кремль. Вид их погружает меня в сладкую задумчивость и возбуждает во мне чувство благо-

говения». Так передавал свои думы и чувства молодой Белинский.

Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын,
Как русский, — сильно, пламенно и нежно,
Люблю священный блеск твоих седин,
И этот Кремль зубчатый, безмятежный, —

восклидал позже Лермонтов, охваченный восторгом перед историческими памятниками Москвы, и тогда, когда подростком осматривал Москву, взбирался на колокольню Ивана Великого, останавливался перед храмом Василия Блаженного, вспоминая Иоанна Грозного, перед «таинственным дворцом Годунова», перед «фантастической громадой — Сухаревой башней, хранившей отпечаток другого века, — отпетой грозной власти, которой ничто не могло противиться»; когда посещал Симонов монастырь, «примечательный особенно своею, почти между небом и землей висящею платформой, откуда наши предки наблюдали за движениями приближающихся татар»; когда видел Поклонную гору, «откуда Наполеон кинул первый взгляд на гибельный для него Кремль, откуда в первый раз он увидал его вещее пламя; этот грозный светоч, который озарил его торжество и его падение!..»

«Москва не есть обыкновенный город, каких тысяча, — говорил Лермонтов, — Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке... нет! у нее есть своя душа, своя жизнь. Как в древнем римском кладбище, каждый ее камень хранит надпись начертанную временем и роком, надпись, для толпы непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувством и вдохновением для ученого, патриота и поэта!..»

«Что сравнить с этим Кремлем, который, окружась зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на главе грозного владыки?.. Он алтарь России, на нем должны совершаться, и уже совершались многие жертвы, достойные отечества... Давно ли, как баснословный феникс, он возродился из пылающего своего праха?!

Нет, ни Кремля, ни его зубчатых стен, ни его темных переходов, ни пышных дворцов его описать невозможно. Надо видеть, видеть... надо чувствовать всё, что они говорят сердцу и воображению!..» В этих позднейших, ослепленных знанием поэтом размышлениях о Москве нет ничего, что можно было бы отвергнуть из переживаний тринадцатилетнего четырнадцатилетнего подростка, когда он, гуляя с гувер-

нерами или близкими людьми, осматривал столицу. От его глаз в этих прогулках не могли укрыться разнообразные контрасты большого города, невольно бросающиеся в глаза: рядом со зданиями, «одетыми восточной роскошью или исполненными духом средних веков», дома «с европейской осанкой»; «богатые колоннады» дворянских особняков, «кровли купеческих домов» и «низкие домики», где ютился мелкотравчатый люд; Москва-река, изнемогающая «под множеством тяжких судов, нагруженных хлебом и дровами», и в половодье иногда «принимающая в свои недра тело бедного грешника»; на площади у Василия Блаженного «кippит грязная толпа, кричат разносчики, суетятся булешники у пьедестала монумента, воздвигнутого Минину», тут же «гремят модные кареты, лепечут модные барыни... все так шумно, живо, непокойно...»

Год, проведенный в Москве с осени 1827 года до поступления Лермонтова в школу, был важным моментом в его жизни. Год, полный многообразных впечатлений, книжных возбуждений, встреч с новыми людьми, сопряженный с правильно организованными занятиями научными предметами и разными искусствами, был годом ускоренного развития духовной личности поэта: недаром у него пробудились творческие устремления к литературному труду.

В школу готовился войти четырнадцатилетний подросток с весьма сложной внутренней жизнью, с характером властным, не выносившим над собой насилия, с тревожными ожиданиями от жизни, с беспокойными думами, мечтатель с привычкой подмечать явления, подлежащие критике, отрицанию.

Первого сентября 1828 года в правлении Университетского благородного пансиона было рассмотрено прошение Е. А. Арсеньевой об определении в пансион ее «родного внука Михаила Лермантова 13 лет, сына капитана Юрия Лермантова». При прошении были представлены вместе со свидетельством о дворянском происхождении М. Ю. Лермантова положенные на столовые приборы 144 рубля. За право учения было внесено 325 рублей с первого июля 1828 года по первое января 1829 года¹. Так Е. А. Арсеньева и вносила по полугодиям эту сумму за своего внука до

¹ Дела правления Университетского благородного пансиона в Московском областном историческом архиве; находятся в копиях в рукописном отделе Института мировой литературы им. А. М. Горького Академии наук СССР.

выхода его из школы. Лермонтов вступал в пансион в положении полупансионера: он жил дома и проводил в пансионе только учебное время, с восьми утра до шести часов вечера. Е. А. Арсеньева жила на Поварской улице. Университетский благородный пансион находился близко — на Тверской, между двумя Газетными переулками (Старым и Новым) ¹.

¹ На этом месте теперь здание Центрального телеграфа (улицы М. Горького). Описание дома Университетского пансиона дано в книге: «Москва или исторический путеводитель по знаменитой столице государства Российского» (ч. III, М., 1831, стр. 81).

ГЛАВА III

В УНИВЕРСИТЕТСКОМ БЛАГОРОДНОМ ПАНСИОНЕ

1

Университетский пансион был основан в конце XVIII века. По своей программе он был учебным заведением, превышавшим курс средней школы. По уставу 1818 года, курс наук в пансионе состоял из трех отделений: 1) наук нравственных и политических, 2) физических, военных и математических, 3) исторических и словесных, кроме языков и искусств. В течение шести лет учащиеся должны были усвоить, помимо обычных предметов средней школы, некоторые элементы высшей математики (начала дифференциального и интегрального исчисления, механика), римское право, римские древности, русские государственные и гражданские законы, эстетику, дипломатику, статистику.

Обширная программа была по курсу физики; в курс естественной истории входили минералогия, ботаника, зоология. «Политическая история» представляла собой своеобразный курс всеобщей истории, состоявший преимущественно из перечня войн, сражений, статей мирных договоров, оценок деятельности царей, министров.

В курсе латинской словесности были указаны крупнейшие представители всех жанров поэзии (Виргилий, Овидий, Гораций, Катулл, Ювенал), прозы (Юлий Цезарь, Корнелий Непот, Саллюстий, Тит Ливий, Тацит), красноречия (Цицерон), философии (Сенека), архитектуры, медицины, юриспруденции, грамматики, сельского хозяйства, естествознания, математики. Экзамен по этому курсу сводился к переводу речей Цицерона и некоторых од Горация.

История немецкой словесности от средневековья доводилась до новейших времен, причем требовался «разбор лучших немецких стихотворцев, в особенности Шиллера».

В курс французской словесности включалась краткая теория красноречия (разбор французских ораторов) и хронологический обзор литературных памятников от эпохи Возрождения до середины двадцатых годов XIX века.

Курса истории русской литературы не было. В старшем классе проходил курс под названием «Красноречие», состоявший из сведений по теории словесности. Здесь говорилось о средствах, которыми действуют изящные искусства: фигуры, краски, тоны, слова; о способностях художника; о слоге, родах поэзии¹.

Наконец читались по довольно пространной программе «военные науки», куда входили отделы: «о войске и инженерной части», тактика, артиллерия, фортификация, стратегия.

Энциклопедический характер учебных программ² должен был приводить к поверхностному прохождению отдельных курсов вследствие краткости отводимого времени: преподаватель военных наук Г. И. Мягков (в 1796 г. был утвержден в этом звании), автор «Опыта артиллерийской тактики, изданного в пользу воспитанников высшего класса Университетского благородного пансиона» (М., 1824), по словам одного из питомцев пансиона, довольствовался тем, что каждый из учеников должен был к экзамену заучить один вопрос программы по выданной ему тетрадке. Такому курсу, конечно, никто не придавал серьезного значения³.

¹ Например, отдел драматической поэзии состоял из следующих частей: форма драмы, существенное различие между разговором и повествованием, монолог, разговор, сцена, для чего употребляются диалоги, язык и слог драматического разговора, определение драмы, ее главнейшие роды, действие драматическое и его свойства, единство времени и места, завязка и развязка, характеры драматические, явления, монологи; определение комедии, откуда заимствуется содержание, что должно разуметь под именем комического, цель комедии, история ее, писатели; определение трагедии, что называется трагическим, трагические лица, все ли могут действовать на трагической сцене, сравнение трагедии древней и новой, нравственная цель трагедии, ее история, писатели.

² «Программы из высших классов Университетского благородного пансиона для испытания воспитанников, окончивших курс учения назначенных к выпуску 1829 г.»

³ Из воспоминаний Д. А. Милютина, опубликованных мною в сборнике «М. Ю. Лермонтов. Статьи и материалы», Соцэкгиз, 1939, стр. 11 (Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина). В оценке

Отрицательные последствия многопредметности уменьшались благодаря установившемуся в пансионе обычаю индивидуального подхода к интересам учащихся. По свидетельству Н. В. Сушкова, в пансионе «не стесняли природных наклонностей и не требовали от ребенка равных во всем успехов. Развивая решительно обнаруживавшиеся в нем дарования, все обстановочное учение направляли уже прямо к цели, им самим себе предназначенной. Так, один из нас предпочтительно занимался математическими науками, другие углублялись в богословие или судопроизводство, третьи посвящали себя словесности и т. д. При обращении особенного внимания на успехи каждого в предметах, входящих в круг его учебных занятий, по призванию или личному выбору, и испытания каждого были строже собственно по этим предметам. Таким образом воспитанники, достигая средних и высших классов по одним отделам учения, по другим оставались иногда в нижних и тем более старались потом догнать, так сказать, самих себя: скорей дойти до всех высших классов»¹.

В пансионе была библиотека, постоянно пополняемая: в 1824 году было приобретено 3396 книг, покупались иностранные книги по предметам наук философических, математических и словесных²; в 1828 году был выписан наряд с другими новый журнал «Русский зритель». В 1828 и 1829 годах было куплено книг и учебников на 11 тысяч 38 руб. 7 коп.; в 1829 году среди других книг («История» Геродота, ч. 2—5; Пиндар, «Одиссея»; стихотворения Анакреона; «Цветущее состояние Российского государства»³) была куплена только что вышедшая в переводе В. Комовского «История древней и новой литературы» Шлегеля (ч. I, 1829)⁴.

В пансионе был физический кабинет, собрание минералов, глобусы, ландкарты, эстампы, инструменты математические и музыкальные.

Кроме ежемесячных экзаменов, в декабре или в ноябре производились публичные испытания; весной на актах от-

чиновника особых поручений А. Н. Панина (1831): «Мягков устарел методою преподавания военных наук» («Чтения в обществе истории древностей российских», 1871, стр. 217—219).

¹ «Московский университетский пансион...» Сочинение Н. В. Сушкова. Изд. исправленное и дополненное, М., 1858, стр. 44.

² «Речь, разговор и стихи... 1824 г., марта 29», М., 1824.

³ Книга посвящена была описанию России эпохи Петра I; составлена Иваном Кирилловым, современником Петра I.

⁴ Вторая часть вышла в 1830 г.

личившиеся ученики получали разные призы — медали, книги и др. Отчет пансиона доводил до сведения родителей, что «для большей изощренности ума и образования вкуса отличные воспитанники и по успехам в учении и благонравии имеют собрания однажды в неделю, где они читают сочинения нравственные и политические, отдают друг другу отчет в своих занятиях, разбирают лучших отечественных писателей и руководствуют в учении младших товарищей».

В старших классах пансиона (V и VI) преподавателями были почти исключительно профессора Московского университета. Незадолго перед поступлением Лермонтова произошли значительные перемены в личном составе администрации и преподавательского персонала.

В 1827 году, после ревизии пансиона графом Строгановым в 1826 году, вышли в отставку маститый директор пансиона А. А. Прокопович-Антонский, много содействовавший процветанию учебного заведения своим педагогическим тактом, любовью к учащимся, и инспектор — профессор И. И. Давыдов. Директором был назначен П. А. Курбатов, по воспоминаниям Д. А. Милютина, «личность довольно бесцветная, но добродушная и поддерживавшая, насколько могла, старые традиции заведения»; инспектором — профессор М. Г. Павлов.

В том же году поступили в пансион профессор прав политического и народного Д. Е. Василевский, магистры Д. Н. Дубенский и С. Е. Раич, профессор богословия П. М. Терновский¹.

Дубенский преподавал в четвертом классе русский и латинский языки. О нем Лермонтов писал М. А. Шан-Гирей после испытаний в декабре 1828 года: «Я вам посылаю баллы, где вы увидите, что г-н Дубенский поставил 4 русск. и 3 лат., но он продолжал мне ставить 3 и 2 до самого экзамена. Вдруг как-то сжалился, и накануне переправил, что произвело меня вторым учеником»².

Дубенский проходил курс риторики по учебнику профессора А. Ф. Мерзлякова «Краткая риторика, или пра-

¹ «Речи и стихи. Марта 17 дня 1828 г.». 1828 («Отчет о состоянии пансиона за 1827 год», стр. 53).

² В начале осени 1828 г., когда поступил Лермонтов, синтаксис преподавал Зиновьев. Лермонтов писал М. А. Шан-Гирей о своих занятиях: «Я думаю, что вам приятно будет узнать, что я в русской грамматике учу синтаксис и что мне дают сочинять; я к вам это пишу не для похвалы, но собственно оттого, что вам это будет приятно».

вила, относящиеся ко всем родам сочинений прозаических, изданная для благородных воспитанников Московского университетского пансиона» (М., 1827).

Учащиеся знакомились с различными видами повествования, особенное значение отводилось «Диалогам, или разговорам» и «Характерам». На образцах античной и европейской литературы (Платон, Цицерон, Фенелон, Фон-тенель и др.) указывалось, например, что автор философских разговоров «всегда имеет выгоду пред писателем обыкновенных философских рассуждений: он может показать истину из разных точек зрения, не нарушая единства; он открывает причины, связь и состав мыслей с ясностью и живостью, опровергает предрассудки, разрешает сомнения, преодолевает все трудности быстрее, и притом с такою простотою, которая делает его понятным для всех».

В этом жанре требовалось, чтоб лица или характеры «представлены были в *противоположении*» и с различиями «не только в образе разговора или рассказа, но в каждом движении, в каждом слове». Воспитанники пансиона издавна упражнялись в писании сочинений в жанре «разговора» и «характеров»; образцом служила популярная книга французского писателя XVII века Лабрюйера «Характеры и нравы этого века», полная афоризмов, психологических характеристик, сатирических зарисовок придворной, буржуазной жизни. Дубенский задавал ученикам сочинения. Лермонтов приучался в жанре «характеров» зарисовывать портреты, описывать свои наблюдения над жизнью в форме афоризмов. Эта манера характеризует ранние оригинальные сочинения поэта, относящиеся к 1828, 1829 годам, например, «Заблуждение Купидона» с концовкой:

Так в наказаниях всегда почти бывает:
Которые смиренней на тех падет вина...

и особенно «Портреты» с шестью типическими «характерами», в том числе автобиографическим:

Он не красив, он не высок;
Но взор горит, любовь сулит;
И на челе оставил рок
Средь юных дней печать страстей.
Власы на нем как смоль черны,
Бледны всегда его уста,
Открыты ль, сомкнуты ль они:
Лият без слов язык богов!..

И пылок он, когда над ним
Грозит бедой перун земной!
Не любит он и славы дым;
Средь тайных мук, свободы друг,
Смеется редко, чаще: вновь
Клянет он мир, где вечно сир,
Коварность, зависть и любовь!..
Все проклял он как лживый сон,
Как призрак дымных мечты,
Холодный ум, средь мрачных дум,
Не тронут слёзы красоты...
Везде один, природы сын,
Не знал он друга меж людей;
Так бури ток сухой листок
Мчит жертвой посреди степей!..

Д. Н. Дубенский был образованным словесником. В 1828 году вышел его «Опыт о народном русском стихосложении». Книга была проникнута горячей любовью к народной поэзии. Автор, доказывая превосходство основ народного стихосложения перед «новейшей рифмической системой» книжной поэзии, обращался к писателям с призывом прежде всего изучать устное народное творчество: «для чего не искать нам в старинных русских песнях законов и тайны стихотворного склада, не прислушиваться к народной поэзии, сотворенной, положим, без всяких предварительных теорий, но гением самого языка? К несчастью, с иноземными мы знакомимся от самой колыбели, а к русскому холодно, как будто оно нам было чужое...» В наших песнях «можно приискать примеры для всех принятых теперь размеров с той разностью, что они могут стоповаться и по оным, а сверх того имеют свой особенный лад, гораздо правильное и слышнее обозначенное... Язык песен, несмотря, что они поются с веков незапамятных, чище и ближе к языку общественному и вообще к благородному выражению позднейших писателей. Книжный язык С. Полоцкого, Кантемира, Тредьяковского, Сумарокова имеет низшее достоинство и много отстоит от народного. Даже новейшие слагатели песен несовершенно схватили черты народные и кажутся более подражателями, нежели творцами». Энтузиаст народной поэзии Д. Н. Дубенский щедро цитировал в своей книге сборник Кириши Данилова, откуда брал примеры из былин об Илье Муромце, Садко, Алеше Поповиче, Добрыне Мастрюке Темрюковиче, Дюке Степановиче, Михаиле Козаринове и других; приводил свадебные песни, посла

вицы, ссылаясь на такие песни, как «Во поле береза стояла», «Как по морю, морю синему», «Лучина, лучинушка березовая», «Ах, как бы на цветы не морозы», «Заплетися, плетень» и другие; обильно цитировал «Слово о полку Игореве». Хотя И. С. Тургенев, с которым занимался Дубенский, вспоминал, что его¹ учитель «Пушкина сильно недолюбливал, а воспитывал нас на Карамзине, Жуковском, Батюшкове», но в книге Д. Н. Дубенского среди примеров из сочинений старых писателей — Тредьяковского, Сумарокова, Хераскова, Рубана, Державина, Каменева, Карамзина («Илья Муромец») и других — встречаются цитаты из современных поэтов: Тютчева («На севере мрачном, на дикой скале»), П. Вяземского, В. Туманского, Раича и наиболее часто из сочинений Пушкина — лирических, «Кавказского пленника», «Евгения Онегина», из трагедии «Борис Годунов». Дубенский был в курсе последних новинок: он ссылался на альманахи «Уrania» (1826). «Северная лира» (1827)², а в Пушкине отмечал «достоинство мыслей, звонкость языка и светлость идей отличного нашего поэта»³.

И. С. Тургенев, рассказывая о своем детстве в кругу близких людей (4 марта 1880 г.), тепло вспоминал об уроках своего наставника: «К русскому языку пристрастил и познакомил нас некто Дубенский»⁴.

Д. Н. Дубенский своим ученикам, с детских лет привыкшим говорить, а нередко и думать на французском языке, прививал любовь к родному языку, к народной поэзии. Его указания на своеобразие народного стихосложения (*пиррическое строение* русского слова) и на многообразие стихотворных размеров устных песен не пропали даром для Лермонтова: подражания народным песням пансионского периода (1829—1830), в которых поэт применял различные ритмические формы, были практиче-

¹ И его брата.

² Здесь было напечатано указанное стихотворение Тютчева.

³ «Опыт», стр. 5—6.

⁴ «Как теперь гляжу на него — и на его красно-синий нос; он всегда имел вид человека подвыпившего, хотя, быть может, вовсе не был пьяницей. Однажды только наставник наш пропустил несколько уроков и приехал сильно навеселе. Господа, — начал Дубенский, — я пропустил эти уроки потому, что женился, а так как жениться в жизни приходится почти всегда только один раз, то я долгом счел сильно загулять по этому случаю». — «Русская старина», 1883, октябрь, стр. 204 («Иван Сергеевич Тургенев в его рассказах из своей жизни и в его письмах, 1874—1883»).

ской разработкой рассуждений его учителя о складе народных песен¹.

В последнем классе литературу преподавал Алексей Федорович Мерзляков (1788—1830); по приглашению Е. А. Арсеньевой, он давал уроки Лермонтову также на дому. Он читал теорию красноречия; на уроках занимался разбором поэтических произведений, иногда принося в класс только что вышедшую книжку какого-нибудь журнала. Эти разборы происходили по тем правилам «науки вкуса», которые он изложил в «Кратком начертании теории изящной словесности» (М., 1822). Ученый теоретик, воспитанный в традициях европейского и русского классицизма, он рассматривал литературные явления как материал для эстетического удовольствия и полезного нравоучения. Но, требуя соблюдения «правил», завещанных школой французских классицистов, он сочувственно относился к сентиментально-романтической поэзии — Ричардсону, Стерну, Фильдингу, Юнгу, Виланду, французскую трагедию считал менее совершенной, чем английскую, возглавляемую «лучшим творцом» Шекспиром, и немецкую — с Лессингом, Клинггером, а особенно Гете и Шиллером².

Друг Жуковского, участник Дружеского литературного общества (1801), в которое входил Андрей Тургенев, типичный представитель русского предромантизма, А. Ф. Мерзляков в своих поэтических созданиях следовал не только торжественному описанию ломоносовско-державинской школы, но писал баллады, романсы и песни в оссиановском и сентиментальном стиле, рассматривая жанр песни как «плод уныния, сладкого сетования, страсти тихой и нежной»³.

Переводчик античных поэтов и трагиков⁴, Тасса и дру-

¹ В «Атенее» за 1828 г. Д. Н. Дубенскому принадлежали следующие статьи: «Объяснение одного места из летописи Нестора» (ч. 3, № 6); «О всех употребляемых в русском языке стихотворных размерах» (ч. IV, № 13, 14, 15, 16).

² «Краткое начертание теории изящных искусств», стр. 313—314. Ср. в речи А. Ф. Мерзлякова памяти Ф. Ф. Иванова 28 октября 1816 г. «Шекспир, Корнель, Шиллер, Вольтер, Гете, Расин шли по разным дорогам, обрабатывая один и тот же род; все нравились и нравятся». «Сочинения и переводы Ф. Ф. Иванова», ч. I, М., 1824, стр. 14.

³ В. Резанов. «Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского», П., 1906, стр. 193.

⁴ «Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев», т. I и II, М., 1825—1826.

гих, он уже в конце XVIII века стал сочинять песни, подражая устной народной поэзии, и на публичном акте в Московском университете (30 июня 1808 г.) в речи «О духе, отличительных свойствах поэзии первобытной» горячо говорил о значении народного творчества: «О! каких сокровищ мы себя лишаем! — Собирая древности чуждые, не хотим заняться теми памятниками, которые оставили знаменитые предки наши! — В русских песнях мы бы увидели русские нравы и чувства, русскую правду, русскую доблесть! — В них бы полюбили себя снова и не постыдились так называемого первобытного своего варварства. — Но песни наши время от времени теряются, смешиваются, искажаются, и наконец совсем уступят блестящим безделкам иноземных трубадуров. — Неужели не увидим ничего более, подобного несравненной песни Игорю!»¹

Защитник «правил», канонических норм в искусстве слова, Мерзляков в то же время заявлял, что эстетические системы стесняют творчество поэта. «Вот где система! — говаривал бывало (он) своим слушателям, указывая на сердце; и никто не требовал от него более; ибо в этом сердце кипела пучина жизни», — вспоминал о Мерзлякове его ученик, профессор Н. И. Надеждин, называвший его «поэтом в действиях, поэтом и в знаниях»². Живое, непосредственное чувство красоты и правды в поэзии прорывалось у него сквозь заветанные отжитой теорией формулы, во власти которых продолжал он находиться. «Мы сами слышали однажды, — вспоминал Белинский своего профессора, — как глава классических критиков, почтенный, умный и даровитый Мерзляков сказал с кафедры: «Пушкин пишет хорошо, но, бога ради, не называйте его сочинений поэмами!» Под словом «поэма» классики привыкли видеть что-то чрезвычайно важное³. На отношении к Пушкину особенно рельефно сказалось противоречие между теоретическими взглядами Мерзлякова и его поэтической натурой. По словам его ученика, профессора С. П. Шевырева, «чувство Мерзлякова при чтении произведений Пушкина выражалось только слезами. Читая «Кавказского пленника», он, говорят,

¹ «Биографический словарь профессоров Московского университета», часть II, М., 1855, стр. 84.

² «Телескоп», 1831, ч. II, № 5, стр. 87 (в рецензии на «Песни и романсы» А. Мерзлякова, М., 1830).

³ «Сочинения Александра Пушкина», статья шестая.

плакал. Он чувствовал, что это прекрасно, но не мог отдать себе отчета в этой красоте — и безмолствовал». Автор «Краткой риторики», где утверждалось, что «русские, в котором торжествует порок, в котором царствуют обольстительное распутство и дурные страсти, достойны всеобщего презрения» (стр. 83), Мерзляков, прочитав «Цыган», мог в цензурном комитете при всех назвать пушкинскую поэму «неблагопристойным и безнравственным» сочинением², но это не мешало ему хвалить те поэмы Пушкина, которые были любимы свободолюбивой молодежью за гневный протест против господствовавшего общественного и политического гнета. По свидетельству одного мемуариста, когда «русская публика знала наизусть стихи Пушкина, плакала над стихами Козлова, тогда в школах еще преподавали правила французской классицизма и строго запрещали ученикам читать новы сочинителей. Но ученики тихонько, взапуски один пере другим, списывали их. Сам Мерзляков, преподававший французско-классические правила словесности, превозносящий старых французских писателей, с восторгом читал студентам частно, как бы по-приятельски, *Братья Разбойников* Пушкина»³.

Восторженное чувство поэта Мерзлякова соединялось с придирчивой критикой Мерзлякова-ученого, находившего изъяны в художественной форме пушкинского произведения. На этой почве у юного поклонника Пушкина происходили с маститым учителем горячие споры «Я еще живо помню, — писал более полувека спустя после выхода из пансиона товарищ Лермонтова, А. М. Миклашевский, — как на лекциях русской словесности заслуженный профессор Мерзляков принес к нам в класс только что вышедшее стихотворение Пушкина:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя...

и как он, древний классик, разбирая это стихотворение критиковал его, находя все уподобления невозможными и неестественными, и как все это бесило Лермонтова»⁴.

¹ «Биографический словарь профессоров Московского университета», ч. II, стр. 96.

² «Русская старина», 1879, т. 24, стр. 128.

³ «Очерк жизни и литературных трудов Н. А. Полевого». Сочинения И. З. Крылова. М., 1849, стр. 54—55.

⁴ «М. Ю. Лермонтов в заметках его товарища» — «Русская старина», 1884, декабрь, стр. 589.

В. М. Строев, пансионский товарищ поэта, называл Мерзлякова «великим поэтом, погибшим под цепями схоластики и старых теорий»¹. Эта оценка подчеркивает, что учащиеся в лекциях своего профессора чувствовали творческую личность, слышали нередко голос подлинного чувства, видели перед собой энтузиаста, отдавшего всю свою жизнь служению литературе.

На уроках Мерзлякова в пансионе происходило то же, что бывало в Московском университете: «последние лекции Мерзлякова состояли, по большей части, в критических импровизациях. Он к ним не готовился. Приносил на кафедру Ломоносова или Державина, разворачивал. Случай открывал оду. Речь свободно и роскошно лилась из уст импровизатора. Все зависело от настроения. В критике и профессоре сказывался поэт по призванию. Эти импровизации, приводившие иногда в восторг его слушателей, запечатлевались в их памяти. Светлая мысль, искра чувства электрически оживляли всю аудиторию»².

Любовь учащихся к своему наставнику поддерживалась его славою в стенах университета, где он выступал на торжественных собраниях в качестве присяжного поэта; в Обществе любителей российской словесности, куда сходились студенты, пансионеры³ и столичное общество послушать блестящего оратора; популярностью его песен и романсов, распевавшихся студентами и крепостными⁴, положенных на музыку выдающимися композиторами, звучавших со сцены⁵ и в концертных залах⁶, трогатель-

¹ «Сцены из петербургской жизни». Соч. В. В. СПб, 1835, стр. 32.

² «Биографический словарь профессоров Московского университета», т. II, стр. 96.

³ Заседания Общества происходили в зале Университетского пансиона.

⁴ Е. А. Сушкова рассказывала, что дворовая девушка Аксюша, певица в крепостном театре Кожиной, «с особенным чувством певала: «Среди долины ровныя», — так это я, бывало, расплачусь, просто разревусь»: «Записки», Л., 1928, стр. 31. По словам Ф. Л. Ляликова, автора статьи «Студенческие воспоминания» («Русский архив», 1875, № 11, стр. 386), любимой студенческой песней была песня «Среди долины ровныя».

⁵ Например, романс «Велисарий». Любимой песней известной актрисы Е. С. Сандуновой была песня: «Я не думала ни о чем в свете тужить». По словам Н. В. Сушкова, «когда она певала ее (помнится, в опере А. Ф. Малиновского «Старинные святки»), не одни рукоплескания, но слезы бывали завидной наградой певице, поэту и музыканту». Н. В. Сушков, «Московский университетский пансион», стр. 91.

⁶ 14 марта 1827 г. был концерт гитариста Свинцова подле Малого

ными упоминаниями о нем в журналах и посвящениями ему молодыми поэтами своих стихотворных сборников. Например, его пансионский ученик И. П. Бороздна при поднесении своих «Опытов в стихах» обратился к А. Ф. Мерзлякову с таким признанием:

Тобой воспитан был мой гений робкий, юный
На светло-радостной заре минувших дней —
И с той поры звучат смелей
Мои неведомые струны! ¹

Мерзляков хвалил стихотворения Лермонтова, написанные на заданные им темы, прибавляя обычную по адресу ученических сочинений аттестацию: «Молодо, зелено» ². Но он не мог не заметить, что его ученик чрезвычайно одарен, что восторженный энтузиазм и страстная любовь к поэзии, жажда знания, оригинальность и самостоятельность в суждениях и в стихотворных опытах юного поэта — признаки подлинного таланта. На уроках классных и внеклассных, в домашней непринужденной беседе учитель Лермонтова видел перед собой юношу, у которого «мысль восторгами кипит», который чувствовал в себе призвание к поэзии:

Хранится пламень неземной
Со дней младенчества во мне...

Он сам разгорался, рассказывая своему ученику о значении литературы, о роли поэта, о качествах, необходимых для избранника искусства. Мерзляков указывал ему на многочисленных примерах античной, европейской и русской литературы: «только то прекрасно, что естественно, только то трогает, что истинно»; поэту нужны «изучения, наблюдения природы, общества», знание истории, философии ³, искусства (живописи, музыки), непрерывный труд, упорная работа над собой, строгая требовательность к стихотворчеству.

театра, в доме грузинского царевича. В «Дамском журнале» была рецензия: (Свинцов) «чрезвычайно приятно разыграл вариации (А. А. Алябьева) к прекраснейшей песне А. Ф. Мерзлякова «Средь долины ровных, на гладкой высоте». Тон струн, кажется, выговаривает все мотивы» (1827, ч. XVIII, № 7, стр. 25).

¹ «Вестник Европы», 1829, № 2 и 3, стр. 231.

² Из воспоминаний А. М. Миклашевского.

³ А. Зиновьев в «Основаниях риторики» привел цитату из лекции своего «незабвенного» учителя: «чем более стихотворец философ, тем он более поэт» (стр. 41). «Платон, Цицерон, Тацит, Монтань, Мопассан — всегда должны быть спутниками гения творящего», — говорил Мерзляков.

В рассуждениях А. Ф. Мерзлякова о призвании поэта Лермонтов находил авторитетную поддержку своим собственным воззрениям и переживаниям; беседы маститого профессора оформляли его неясные мысли о природе того «божественного огня», который он ощущал в себе; указывали лучезарную и в то же время полную волнений и труда дорогу жизни. Он требовал от своего ученика «упражнений и навыков», утверждая, что молодые люди ложно понимают латинскую поговорку: «поэты рождаются». «В литературе слог самое важное, — говорил А. Ф. Мерзляков, — он часто заменяет все, а недостатка его ничто и никогда заменить не может». Придерживаясь старинного деления слога на 1) народный или простой, 2) средний или умеренный, 3) высокий с присоединением «кроме сих — слога простого, блестящего, трогательного, цветущего, живописного и проч.», он считал «более свойственным простому слогу» следующие качества: *ясность, легкость, чистота, краткость и точность*¹. Сам Мерзляков предпочитал писать стихи «высоким» слогом, но его ученик запомнил наставления о «простонародном» слоге и в своих пансионских стихотворениях добивался «легкости, краткости и точности». Так, в двестишести:

Озер пустынные заливы
И бор, одетый дымной мглой, —

эпитет *пустынные* он переправил на *стеклянные*, во втором стихе после *бор* появилось: *печальный и глухой*².

Напряженная работа над слогом видна во втором очерке «Демона», написанном в пансионе в начале 1830 года; поэтом были перечеркнуты или испещрены многочисленными поправками целые строфы³.

Стих: «кто часто с скрытною тоскою» («Настанет день») родился после длительных «мук слова»: первоначально было — «кто с юных лет с тоскою», «кто прежде столько раз», «кто часто сидя пред тобою»; вместо окончательного: «весть кровавая» ранее было: «могильная», «нечаянно», «желанная».

Лермонтов выбрасывал отдельные стихи («Додо», 1831):

Ваш взор горит воображеньем.
Как талисман, как стих [сво(бодный?)] небрежный

¹ «Краткая риторика», изд. 4-е, М., 1827, стр. 17.

² Тетрадь III, № 20.

³ Тетрадь IV.

выбрасывал группы стихов, стремясь к «легкости» стихотворного послания:

Опасна ты как вспоминанье,
Как непритычная любовь¹
И как безумное желанье
Того, чего не будет вновь.

Молодой поэт вступал в состязание со своим учителем на деле показывая, как он усвоил его советы писать просто и кратко, — советы, которым не следовал в своей литературной практике поклонник высоких жанров эпохи классицизма. У А. Ф. Мерзлякова есть перевод из Гомера «Гимн Пану». Лермонтов написал в 1829 году стихотворение «в древнем роде» — «Пан». Один и тот же образ, но какое различие в его стилистическом оформлении у наставника и его ученика, бывшего уже до пансиона внимательным читателем Жуковского, Батюшкова Пушкина! Привожу для наглядного сравнения стихотворения Мерзлякова и Лермонтова.

ГИМН ПАНУ

Гомера)

О сыне Меркурия милом поведай мне, Муза,
О том козлоном, двурогом любителе песней,
Который с лесистого Пинда, дев пляшущих хору
Послушный, нисходит, когда от утесов кремнистых
Его призывают, мохнатого пастбищей бога,
Веселого, коему милы и холмы дубравны,
И горные дебри, и хладные камней вертепы...
Ему припебая, любезно-речистые Нимфы
И мило резвяся на бреге муравчатом пляшут, —
И горное эхо на глас их отвечает звучно! —
А сам он, кружась и кривляясь средь хора, забавный,
Топочет ногами и плещет руками в лад песней.
Поляна играет под ним, испещренная пышно
Цветами прелестными, злаками трав благовонных...²

ПАН

(В древнем роде)

Люблю, друзья, когда за речкой гаснет день,
Укрывшись лесов в таинственную сень,
Или под ветвями пустынный рябины,
Смотреть на синие, туманные равнины.

¹ Цитирую по автографу в тетради IV (архив Института литературы Академии наук СССР). Ср. в 1 томе Полного собрания сочинений Лермонтова, под редакцией Б. М. Эйхенбаума (М., 19 стр. 500): «Как неизменная любовь».

² А. Ф. Мерзляков. «Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев», ч. II, М., 1826, стр. 54—55; «Урания, карманная книжка за 1826 год».

Тогда приходит Пан с толпою пастухов;
И пляшут вокруг меня на бархате лугов.
Но чаще бог овец ко мне в уединенье
Является, ведя святое вдохновение: —
Главу рогатую ласкает легкий хмель,
В одной руке его стакан, в другой свирель! —
Он учит петь меня; и я в тиши дубравы
Играю и пою, не зная жажды славы.

Совершенно очевидно, что молодой поэт даже в стилизаторском опыте отталкивался от «высокости» стиля А. Ф. Мерзлякова. Так же бесспорно, что в оценках новейшей литературы, русской и европейской, Лермонтов резко расходился со своим наставником. И тем не менее уроки А. Ф. Мерзлякова, эмоционально окрашенные, одухотворенные горячим убеждением¹, производили впечатление на Лермонтова. Мерзляков, поэт по натуре, чувствовал при чтении стихотворений Лермонтова, что в юном питомце пансиона действительно горит «божественный огонь», и своими словами пылко одобрения содействовал признанию в семье Арсеньевой, что будущее его ученика — путь поэта, что дело жизни Лермонтова — литературная деятельность. Недаром бабушка Елизавета Алексеевна, когда над ее внуком разразилась гроза в 1837 году в связи с его стихотворением на смерть Пушкина, говорила, упрекая себя: «И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтоб учить Мишу литературе: вот до чего он довел его»².

Для практических упражнений по литературе в старшем классе был специально приглашен С. Е. Раич (Амфитеатров), кандидат этико-политического отделения Московского университета и магистр словесных наук (1792—1855)³. Это был знаток античной и итальянской

¹ Один из студентов Московского университета вспоминал о А. Ф. Мерзлякове: «бывало, не увидишь, как пролетит лекция» («Русский архив», 1875, № 11, стр. 384). П. А. Вяземский писал о Мерзлякове: «Есть чему научиться от него, потому что и сам он учился» (Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 165). Белинский отзывался: Мерзляков «человек даровитый и умный, душа поэтическая» (Полное собрание сочинений, т. V, стр. 24—25).

² Воспоминания и заметки М. Н. Лонгинова. — «Русская старина», 1873, т. VII, стр. 384.

³ На заседании правления Университетского благородного пансиона 26 февраля 1827 г. слушали «Об определении с 1 января сего года свеккоштного магистра Раича для занятия воспитанников шестого класса практическими упражнениями в российской словесности с жалованьем по 800 р. и с помещением его в доме пансиона для большей удобства в занятиях».

литератур, поэт и переводчик¹, издатель двух альманхов: «Новые Аониды» (М., 1823) и «Северная лира на 1827 год»², редактор журнала «Галатей» (1828—1830) — один из редакторов «Русского зрителя» — журнала истории, археологии, словесности и сравнительных костюмов — человек с обширным литературным знакомством³. По словам мемуариста, Раич, «вечно пребывавший в мире идиллических мечтаний, сам олицетворенная буколическая соединял солидность ученого с каким-то девственным пылом и младенческим незлобием». Воспитанники пансиона называли его «нежным», применяя к нему прозвище, видимо, распространенное по его адресу в литературной среде⁴. Посмеиваясь над некоторыми странностями его характера и привычек (Раич, например, будучи поклонником Жуковского, устроил на окне своего домика на речке Синичке Эолову арфу, к унылым звукам которой любил прислушиваться, когда в отворенное окно играл на ней ветер)⁵, они нашли в его лице педагога, исключительно преданного литературе, который, по его словам «весь был в (поэзии), жил для нее», и писателя, от которого они могли многое узнать о современных литературных событиях, поэтах, журналистах, о всем том, чем кипела тогда литературная Москва. Раич жил в самом пансионе, к нему они заходили и в его комнате вели беседы на разнообразные темы. Еще будучи студентом, он входил в кружок университетской молодежи и воспитанников Благородного пансиона, носивший (с 1816 г.) название «Общество громкого смеха», где подвергались осмеянию литературные старожилы, сочинялись пародии на профессию. Невинные забавы молодежи стали заме-

¹ В 1821 г. вышли в его переводе «Виргилиевы Георгики», 1828 г. четыре части «Освобожденного Иерусалима» Тассо, с 1832 г. стал выходить перевод «Неистового Орланда» Ариосто.

² Издан С. Е. Раичем и Д. П. Ознобишиным.

³ Выходил также в 1839—1840 гг.

⁴ Под его редакцией вышли № 13 и 14, № 15 и 16 (1828 г.).

⁵ В 1822 г. был избран действительным членом Общества любителей российской словесности.

⁶ «Альбом северных муз», альманах на 1828 г., изд. А. И. стр. 200.

⁷ Мих. Дмитриев. «Воспоминания о С. Е. Раиче». М., 1855, стр. 7. Брат С. Е. Раича, митрополит Филарет, писал 2 июня 1832 г. своему зятю П. С. Алексинскому: «весьма не нравится мне и самое, то шутливо Семена колотырное, да и ремесло-то его и занятие какое-то журнальное, пиитическое, а главное все фантастическое... сущего нет» («Русский библиофил», 1913, кн. VII, стр. 18—19).

няться на заседаниях кружка более серьезными темами, когда в его состав вошли будущие декабристы — князь Ф. Шаховской, братья Фонвизины, один из Муравьевых, Корнилович. В кружке стали заниматься «политическими науками», заговорили об издании журнала вроде французского органа «Minerva». В конце концов молодым людям было предложено подписать «Зеленую книгу», политический документ одного из первоначальных тайных обществ — Союза благоденствия¹.

По показаниям Бурцева и Никиты Муравьева, Раич был членом Союза благоденствия, но с 1821 года, то есть с момента перехода «декабристов» после закрытия Союза благоденствия к активной подготовке революционного движения, он не участвовал в тайных обществах. «Сочинитель Раич» все же попал в известный алфавит декабристов². Общественно-политические интересы не волновали Раича в той степени, как вопросы чисто эстетические, но стремление защищать свои литературные воззрения, проявлять себя в кружке друзей искусства и науки было ему присуще. В 1823 году около него организовалось литературное общество, в которое входили молодые поэты и начинающие ученые с ярко выраженными симпатиями к немецкой философии и поэзии: воспитанники Раича — Ф. И. Тютчев и Андрей Николаевич Муравьев, затем В. Ф. Одоевский, братья Киреевские, А. И. Кошелев, Д. Веневитинов, С. П. Шевырев, М. П. Погодин, Д. П. Ознобишин, В. П. Титов, В. Оболенский, М. Г. Павлов, М. А. Максимович, В. П. Андросов, А. И. Писарев и другие. Раич вспоминал о заседаниях своего кружка: «здесь читались и обсуждались, по законам эстетики, которая была в ходу, сочинения членов и переводы с греческого, латинского, персидского, арабского, английского, итальянского, немецкого и редко французского языка»³.

А. И. Кошелев сообщал характерные подробности о раичевском кружке: «наши заседания были очень живы и некоторые из них даже блестящи и удостаивались при-

¹ В состав «Общества громкого смеха» входили П. А. Новиков, М. А. Волков, М. Н. Философов, Г. Попов, Д. Панчулидзе, П. П. Шеншин, Ф. И. Гильфердинг, Бонч-Бруевич, А. Д. Курбатов, М. А. Дмитриев и вероятно Д. Н. Свербеев. «История этого кружка изучена В. В. Сорокиным, неизданная рукопись.)

² «Восстание декабристов», т. VIII, М., 1925, стр. 161.

³ «Русский библиофил», 1913, № 8, стр. 28.

сутствия московского генерал-губернатора кн. Д. В. Голицына, Ив. Ив. Дмитриева и других знаменитостей. Тупизящая словесность стояла на первом плане; философия, история и другие науки только украдкой, от времени до времени, осмеливались подавать свой голос. Мне удалось там прочесть некоторые переводы из Фукидита, Платона и отрывки из истории Петра I, которою тогда я с любовью занимался»¹.

В кружке возник план издания журнала, но события 1825 года заглушили эту идею, осуществленную лишь после прекращения деятельности кружка Раича его бывшими участниками — Шевыревым и Погодиным, которые с 1827 года стали издавать «Московский вестник».

Раич вращался среди самых выдающихся представителей литературной Москвы. Он посещал салон Зинаиды Волконской², где встречал наряду с членами кружка А. С. Пушкина и П. А. Вяземского, Дельвига и Баратынского. С Пушкиным он познакомился еще в Одессе в 1823 году и слышал от изгнанника-поэта рассказы о его странствиях по Бессарабии. 12 октября 1826 года Раич присутствовал у Веневитиновых на знаменитом чтении «Бориса Годунова», 24 октября — на обеде редакции «Московского вестника», где находился ссыльный польский поэт Мицкевич в кругу Пушкина, Киреевских, Веневитиновых, Хомяковых, С. А. Соболевского и многих других.

Близкий к литературным кругам, Раич печатался во многих альманахах и журналах; его имя появлялось наряду с первоклассными поэтами, литераторами, уже завоевавшими известность или начинавшими ее завоевывать³.

Писатели, его друзья и знакомые, охотно помещали

¹ «Записки А. И. Кошелева. 1812—1823 годы». Берлин, 1884, стр. 11—12. См. также А. Н. Муравьев. «Знакомство с русскими поэтами». Киев, 1871, стр. 4—8.

² В «Галатее» были напечатаны ее произведения: «Сновидение» (1829, ч. V, № 22), «Отрывок из путевых записок» (1829, ч. VII).

³ В «Урании, карманной книжке на 1826 год для любителей русской словесности», изданной М. Погодиным (М., 1826), были напечатаны стихотворения Раича: «Грусть на пиру», «Прощальная песня в кругу друзей», «Перекати-поле», «Источник смеха» (из Тассова «Иерусалима»), «Чародейство Исмена в дремучем лесу», «Проводы Алены». В этом альманахе участвовали Пушкин, Баратынский, Вяземский, В. Ф. Одоевский, Мерзляков, Веневитинов, Тютчев, Ознобишин, Полежаев, Погодин (повесть «Нищий»), де Санглен, Снегирев, Ротчев, Шевырев, Максимович, М. Дмитриев, А. Норов.

свои произведения в изданиях Раича¹, посвящали ему стихотворные послания по поводу его литературных трудов и даже фактов его домашней жизни².

Не будет преувеличением сказать, что едва ли не о Раича воспитанники пансиона прежде всего получали сведения о молодом поколении поэтов-любимудров (Шевыреве, Тютчеве), о поэтических школах двадцатых годов, о борьбе за новые жанры (философскую оду), узнавали подробности о жизни и творчестве писателей, чьи имена они встречали в альманахах, журналах. Комментар «Романса» («Коварной жизнью недовольный»), написанного в 1829 году, не без основания предполагает, что содержание стихотворения вызвано знакомством Лермонтова с эпизодами жизни Шевырева, редактора «Московского вестника», перед отъездом его в Италию после столкновения с Булгариным³. О Шевыреве, которого удостоил лестного отзыва Гете по поводу разбора молодым критиком его «Елены» в «Московском вестнике», о Шевыреве, стихотворение которого «Мысль» было названо Пушкиным «одним из замечательнейших стихотворений текущей словесности», — Раич, конечно, рассказывал ученикам пансиона. Лермонтов написал своему учителю стихотворение об его друге, произведения которого в «Московском вестнике» интересовали молодого поэта: так, «Русская разбойничья песня» Шевырева в «Московском

¹ В альманахе «Северная лира на 1827 год» выступили Баратынский («Наяда», «Амуру»), Тютчев («С чужой стороны», «Слезы», «В альбом друзьям», «Саконтала» и др.), Вяземский («Деревня»), Д. Веневитинов («Любимый цвет», «Скульптура, живопись и музыка»), В. Ф. Одоевский («Смерть и жизнь»), В. Туманский («Греческая ода», «На кончину Р(изнич)»), С. Шевырев («Две чаши», «Прекрасный цвет»), Ознобишин («Еврейская мелодия» лорда Байрона) и др.

² В «Русском зрителе», 1828, ч. I, № 1 и 2 было напечатано послание Раичу, «питомцу русского Парнаса» в связи с окончанием перевода поэмы Тасса; в № 11 и 12 С. Шевырев поместил стихотворный экспромт «На новоселье Р-чу»:

Твоя душа пылка, как розы легкий цвет,
Вся жизнь — одно души прекрасное мгновенье;
Но вечен в ней добра прекрасный свет,
Любви святое вдохновенье.
Ты понял дружбы выраженье:
Какой венок она тебе сплела?
Зачем в твой новый дом с любовью принесла
И мирт — цвет вечности, и розу — цвет мгновенья?

³ Комментарий И. Л. Андроникова к I томе сочинений Лермонтова изд. «Academia», стр. 423—426.

вестнике» (1828 г., ч. 9) нашла отражение в стихотворении Лермонтова «Преступник»¹. Раич должен был дать разъяснения своим питомцам по поводу интриговавшей их подписи под стихотворениями в его журнале «Галатей» (1829, ч. I, № 3 и др.): — ъ — — ъ или — ъ — ъ; юные читатели этого журнала узнали, что их пансионский учитель предоставил страницы своего органа опальному поэту — А. И. Полежаеву.

Занимаясь разбором памятников европейской и русской поэзии, Раич пропагандировал на уроках свою литературную теорию, сводившуюся среди других принципов к объединению ломоносовского стиля с итальянской эвфонией². По свидетельству А. Н. Муравьева, он «усовершенствует слог своих учеников вводом латинских грамматических форм». Восторженный почитатель итальянской культуры эпохи Возрождения³, Раич (вместе с Мерзляковым) насаждал в пансионе интерес к старинной итальянской поэзии. В «Романсе» Лермонтова (1829) наряду с фразами латинизированного синтаксиса:

Забуду ль вас, сказал он, други?
Тебя, о севера вию?
Забуду ль, в мирные досуги
Как веселило нас ою?

можно указать следы «итальянской школы» Раича: «в страну Италии златой», «под миртом изумрудным»,

¹ Б. В. Нейман. «Лермонтов и «Московский вестник», — «Русская старина», 1914, октябрь, стр. 204. Исследователю осталось неизвестным, что цыганская песня, которую Лермонтов собирался вставить в свою оперу «Цыганы» («Добры люди, вам спою я»), принадлежит также Шевыреву (альманах «Евтерпа», 1831, стр. 145—146, за подписью Ш-в-р-в), который в том же 1828 г. в «Московском вестнике» напечатал еще «Цыганскую пляску», предполагая написать оперу «Цыганы» с другим сюжетом, чем у Пушкина.

² Ю. Тынянов. «Архансты и новаторы», Л. 1929, стр. 370.

³ В «Северной лире на 1827 год» была статья Раича «Петрарка и Ломоносов», вызвавшая отклик Пушкина; в «Русском зрителе» 1828 г. (ч. IV, № 13 и 14) — «Из истории итальянской литературы», где Раич намечал широкую картину политической истории Италии с XII века, просвещения, истории, живописи, ваяния и зодчества и собственно словесности. Автор статьи подчеркивал «дух независимости, самобытности» как необходимый элемент в развитии национальной литературы, сопровождаая свои рассуждения тирадами обществ. характера: «Польза отечества есть польза каждого гражданина, отдельно взятого», «высочайшая из добродетелей — самопожертвование» (стр. 56) и т. п.

«на Гельвеции скалах». В «Эпиграммах»¹ (1829) Лермонтов применил имя пастуха из пасторали Торквато Тассо («Аминта»). Образы из «Освобожденного Иерусалима» того же Тассо (как известно, переведенного Раичем и Мерзляковым) поэт вспоминал в своей трагедии «Испанцы»² и в романе «Герой нашего времени»³. Припоминая детские впечатления, как он любил смотреть на луну, на облака, Лермонтов осложнил свои воспоминания сравнением картины природы с литературным образом Армиды и рыцарей, сопровождавших ее в замок, подсказанным поэмой итальянского классика. Итальянomania пансионского учителя, как мы видим, не прошла бесследно для его ученика.

Стихотворения Раича пользовались популярностью. Одно из них, напечатанное в «Северной лире на 1827 год», быстро сделалось любимой песнью в студенческой среде. По свидетельству Аполлона Григорьева, студенты Московского университета «с особенною чувствительностью» под звуки гитары напевали «на известный глубоко задумчивый народно-хохлацкий мотив» песню Раича:

Не дивитесь, друзья,
Что не раз
Между вас
На пиру веселом я
Призадумывался...⁴

Преимущественный тон стихотворений Раича — лирика грусти, иногда чередовавшаяся с эпикурейскими настроениями⁵.

¹ М. Ю. Лермонтов. Полное собрание сочинений. Изд. «Academia», 1936, т. I, стр. 426.

² См. монолог Фердинанда: «Взгляни на тихую луну» (I действие).

³ «Княжна Мери»: «Вернер намерен сравнил женщин с заколдованным лесом, о котором рассказывает Тасс в своем «Освобожденном Иерусалиме».

⁴ Эта же песня, по словам Аполлона Григорьева, пелась в начале шестидесятых годов во всякой стародавней «симандро» (семинарии). (Полное собрание сочинений и писем А. Григорьева, под редакцией В. Спиридонова, т. I, II, 1918, стр. 41). Ю. Тынянов сообщал, что эта песня до последнего времени пелась в студенческой среде в Псковском районе («Песни русских поэтов», редакция И. Н. Розанова Л., 1936, стр. 592).

⁵ «Сочинения в стихах и прозе. Труды Общества любителей российской словесности», т. VI, М., 1826 («Вера», стр. 223; «Песнь соловья», стр. 166—168); «Уrania», 1826 («Перекажи-поле», стр. 83—85), «Галатея», 1829, книга I, «К друзьям».

Лермонтову запомнилась из песен Раича «Прощальная
песнь в кругу друзей», напечатанная в альманахе «Ура-
ния» (стр. 44—47):

I

Здесь в кругу незримых Граций
Под наклонами акаций,
Здесь, чарующим вином
Грусть разлуки мы запьем!

II

На земле щедротой неба
Три блаженства нам дано:
Песни — дар бесценный Феба,
Прелесть девы и вино...

III

Что в награде нам другой?..
Будем петь, пока поется, —
Будем пить, пока нам пьется, —
И любить — пока в нас бьется
Сердце жизнью молодой¹.

Юный поэт, расходясь со своим учителем в психологической окраске интимных настроений, идя своим путем в выборе ритма, вспомнил в посвящении в редакцию «Демона» пансионского периода (1829) третью строфу и песни Раича:

Я буду петь, пока поется,
Пока волненья позабыл,
Пока высоким сердце бьется,
Пока я жизнь не пережил...

Ученики подавали Раичу свои стихотворения. Один из товарищей поэта выдал пьесу Лермонтова под названием «Русская мелодия» (1829) за свою. Можно думать, что Раичу Лермонтов представлял на суд стихотворения вроде «Пира» и «К друзьям», в которых звучат мотивы, известные любимым его пансионским наставником: в первом «Любимец Феба» приглашает «под сень черемух и акаций» друга, чтоб «разделить святой досуг, в объятьях мирозмуз и граций», второе кончается характерной строфой:

¹ Рефреном этой песни из 14 строф были стихи:

У весны на новоселье,
В несмущаемом веселье,
Сладко кубки осушать,
Сладко дружбою дышать!

² См. VI главу «Евгения Онегина».

Но нередко средь веселья
Дух мой страждет и грустит,
В шуме буйного похмелья
Дума на сердце лежит.

Большим авторитетом среди учащихся пользовался крупный ученый, профессор Дмитрий Матвеевич Перевошиков, автор многочисленных работ по математике и астрономии. О своеобразном характере его преподавания в пансионе вспоминал Д. А. Милютин: «Перевошиков отличался своею строгою требовательностью от учеников: он имел обыкновение каждый год, при начатии курса в 5-м классе, в первые же уроки проэкзаменовать всех вновь поступивших учеников и сразу отбирать овец от козлиц. Из всего класса обыкновенно лишь весьма немногие попадали в число избранных, т. е. таких, которые признавались достаточно подготовленными и способными к продолжению курса математики в высших двух классах; этими только избранными профессор и занимался; вся же остальная масса составляла брак; профессор игнорировал их, никогда не спрашивал и заранее обрекал их на самую низшую аттестацию — нулем. Так, из 60 учеников, перешедших вместе со мною из 4-го класса в 5-й, Перевошиков отобрал всего четверых, с которыми и занимался исключительно во все продолжение двухгодичного курса. В число этих счастливцев попал и я, только мы четверо и выходили поочередно к доске, так как Перевошиков следовал своей, совершенно оригинальной методе преподавания: он заставлял учеников доходить последовательно до выводов собственною работою мысли; сам же только помогал им, руководил этою гимнастикою мозга, не сходя со своего сидалища на кафедре. Таким путем успевал он, занимаясь только немногими учениками, пройти в два года весь курс математики от первых начал арифметики до дифференциального исчисления. Правда, такой путь был весьма нелегкий, он требовал большого напряжения внимания и силы мышления; понятно, что таким путем не могли следовать юноши, худо подготовленные в младших классах, так что большинство учеников должно было сидеть в классе, хлопая ушами и не принимая вовсе участия в уроке. Зато путь этот был, несомненно, самый твердый и надежный; знание, приобретенное самостоятельною работою, врезывается глубоко и неизгладимо. Те немногие ученики, с которыми занимался Дмитрий Матвеевич, привязывались и к нему лич-

но и к науке. В числе моих товарищей были такие, с которыми случалось мне просиживать по несколько часов, в праздники и в каникулярное время, над решением какого-нибудь нового вопроса или придумывая доказательство какой-нибудь теоремы».

Приятель Д. А. Милютина, И. П. Шенгелидзе, вынужденный проводить время на кондициях в провинции у одного помещика, восторженно вспоминал об уроках своего учителя: «Как счастлив ты, — писал он 17 августа 1832 г. Д. А. Милютину, — что будешь слушать у Перевощикова механику; пожалуйста, в письмах твоих ко мне помещай его лекции, одолжения больше сего ты не можешь мне сделать». Надо было обладать незаурядным математическим дарованием, чтоб попасть в число тех немногих, с кем находил нужным заниматься профессор математики. Лермонтов, имевший в четвертом классе высший балл по математике, при переходе в старший класс к Д. М. Перевощикову, очевидно, находился в числе избранных. Можно думать, что в увлечении Лермонтова математикой решающую роль сыграл его пансионский учитель. Лермонтов хранил книгу профессора Перевощикова «Ручная математическая Энциклопедия» (часть I, Арифметика. М., 1826) ¹.

Оригинальной и также авторитетной личностью среди преподавателей пансиона был профессор русского законоведения Н. Н. Сандунов. Драматург ² и переводчик трагедии Шиллера «Разбойники», поклонник Шекспира ³, из-

¹ Лермонтов увлекался игрой в шахматы, любил математические игры и по выходе из школы удивлял знакомых знанием разных математических фокусов. Офицер А. Чарыков вспоминал случай в Ставрополе (в 1840 г.) на балу у барона Вревского: «Михаил Юрьевич rozd- дал нам по клочку бумаги и предложил написать по порядку есе буквы; потом из этих цифр по соответствующим буквам составить какой-либо вопрос; приняв от нас эти вопросы, он уходил в особую комнату и, спустя некоторое время, выносил каждому ответ; и все ответы до того были удачны, что приводили нас в изумление. Любопытство наше и желание разгадать его секрет было сильно возбуждено, и должно быть, по этому вопросу он изложил нам целую теорию в длинной речи... он упоминал что-то о высшей математике». (К воспоминаниям о М. Ю. Лермонтове). — «Исторический вестник», 1892, июнь, стр. 816).

² «Отец семейства» (1794) с посвящением А. А. Антонскому.

³ 18 сентября 1813 г. он писал переводчику Н. Ф. Грамматину: «Бесподобный и единственный в своем роде *Шакспир* по сие время у нас не переведен. Вот дело, труда литературного стоящее. Примитесь, потрудитесь и прославитесь... Я люблю этого неподражаемого творца... *Шакспира* любите и переводите, а меня чтением его подарите» («Библиографические записки», 1859, № 8, стр. 233).

датель «Детского театра» и поэт, стихотворные опыты которого в «Друге просвещения» в оценке современника «отличались силой чувствований, затейливостью, остроумием и оригинальностью слога», — человек реалистического склада, Сандунов «славился как опытный и ловкий делец»¹: он вел занятия практическим методом, заставляя учащихся знакомиться с сенатскими делами, писать деловые бумаги, устраивая состязания по юридическим вопросам. По словам Д. А. Милютина, «с учащимися (Сандунов) обращался с некоторою саркастическою выскательностью». Его сарказмов, пересыпанных пословицами, побаивались студенты, считавшие профессора грозой университета. А пословицы во время лекций сыпались у него одна за другой: «Что это, батенька? Перед обьяринный, а зад крашенинный»; или: «Борода выросла (у кого были заметны усики), а ума не вынесла»; или: «Да дыши же, точно замшинное горло»; или: «Толкуй Фоку до Якова, а все одинаково»².

Биограф Сандунова называл его «как бы живой русской пословицей, ответствующей на все вопросы кратко, сильно и верно». Любовь к народной поэзии отражала его любовь к русскому народу, которым он «любовался, как старец любит могучим юношей, и который называл *широкоплечим детиною*»³.

В случае нарушения дисциплины «никакая знатность, никакое богатство не спасали (провинившегося) от огненных стрел профессорского гнева», но он готов был тотчас извиниться перед тем, кого случайно поставил в затруднительное положение. Так, однажды вызывает он студента, одетого во фризовую потрепанную шинель. Сандунов говорит ему: «Сними свою хламиду-то, батюшка». Студент стоит неподвижно и не снимает шинели. Сандунов грозно повторяет ему свой приказ. Вместо исполнения приказа студент подходит к профессору и шепчет ему что-то на ухо. Профессор тотчас привстал, сделал знак почтения студенту и громко и торжественно произнес пред аудиторией: «Извините меня, бедность не порок; нужда родит таланты; извините меня»⁴.

¹ Из воспоминаний Д. А. Милютина.

² «Русский архив», 1875, № 11, стр. 380.

³ «Биографический словарь профессоров Московского университета», ч. II, стр. 393.

⁴ Там же, стр. 393.

Не имея возможности полностью выразить свое критическое отношение к современному законодательству, трудом удерживаясь от желчных замечаний по поводу какого-нибудь указа, — «за каждое неблагоприятное могли потянуть его к Иисусу» (писал один из его слушателей), — профессор Сандунов «и высказывался мимикой и гримасами, и как скорчит, бывало, при чтении указа за рожу, то мы, кроме того, что смеялись, но и понимали, что тут есть какая-либо явная нелепость»¹. По свидетельству Д. А. Милютина, к этому гордо державшему себя «маленькому старичку, ходившему по-старинному в ботфортах, все, и ученики, и преподаватели, и начальство, относились с каким-то особенным «решительным».

Особое место среди преподавателей пансиона надо отнести профессору Михаилу Григорьевичу Павлову, читавшему в шестом классе курс физики. Несколько поколений русской молодежи были обязаны ему пробуждению в них интереса к философии, к теоретическим проблемам, стремлением выработать целостное мировоззрение. Мы уже отмечали, что С. А. Раевский был слушателем его лекций о сельском хозяйстве и физике, а по словам Герцена, который одновременно с Лермонтовым слушал Павлова, — один на первом курсе Московского университета, другой в последнем классе Университетского пансиона, — «Павлов преподавал введение к философии вместе с физики и сельского хозяйства. Физике было мудрено не учиться на его лекциях, сельскому хозяйству — невозможно, но его курсы были чрезвычайно полезны. Павлов стоял в дверях физико-математического отделения и останавливал студентов вопросом: «Ты хочешь знать природу? — Но что такое природа? Что такое знать?..» Ответом на эти вопросы Павлов излагал учение Шеллинга и Окена с такой пластической ясностью, которую никогда не имел ни один натурфилософ»².

Лермонтов по выходе из пансиона встретит в начале тридцатых годов среди университетских товарищей то же увлечение лекциями Павлова, какое было в университетском десятилетии раньше. Я. И. Костенецкий, с которым посидел на одной скамье, вспоминал об университетских

¹ Я. И. Костенецкий. «Воспоминания о моей студенческой жизни». — «Русский архив», 1887, кн. I, стр. 234.

² «Былое и думы», ч. IV, глава XXV.

лекциях Павлова: «этим лекциям я впервые был обязан не столько физическими сведениями, как вообще философскими идеями, почти началом моего умственного развития. До поступления в университет и в гимназии все науки преподавались нам чисто механически: мы затверживали только факты, об идеях и помину не было, и когда я прослушал первую лекцию Павлова, то я был необыкновенно поражен, как будто какая-то завеса спала с ума моего, и в голове моей засиял новый свет. Передо мною открылся новый мир идей, новый взгляд на науки... одним словом, в первый раз пробудилось мое мышление, и я увидел раскрывшуюся передо мною перспективу философских понятий, которые так понравились моему юному уму. Да, я всегда буду обязан Павлову за мое умственное пробуждение»¹.

Лермонтов имел то преимущество перед многими, кто только в университете испытывал идейное воздействие лекций М. Г. Павлова, что, еще будучи в пансионе, он вошел в круг идей шеллингизма.

Идеи Шеллинга об единстве мира, о развитии природы, о тождестве материи и духа, о противоречии, борьбе противоположностей, как движущей силе, источнике самопознания, стали известны Лермонтову в пансионе в интерпретации М. Г. Павлова. Его наставник с 1828 года был издателем журнала «Атеней»; здесь в двух первых книжках была напечатана статья Павлова «О взаимном отношении сведений умозрительных и опытных», в которой пансионеры читали, что любознательность или «философия есть наука наук, как начало их начал. В сем-то смысле говорится: философия одушевляет науки; без чего науки — вздор; математика будет ремеслом чувств, история сбором пустых сведений, грамматика — пустословием, статистика — суммой газетных известий, и самые законы ума останутся под тяготением вещественности». Автор доказывал, что «начало универсального знания — идея абсолюта»; на вопрос, что значит самый абсолют, он отвечал: «идеальный нуль; единство, но не единица; бесчисленность, но не число; монада, которая ни велика, ни мала, ни конечна, ни бесконечна, ни вечна, ни предвечна и не временна; но все это вместе, и в то же время

¹ «Русский архив», 1887, кн. I, стр. 229—230. См. также Н. Бродский. «Я. М. Неверов и его автобиография». — «Вестник воспитания», 1915, сентябрь, стр. 99, 103—104.

не есть все это вместе, короче: все и ничего». Как рода образовалась по трем идеям: идее истины, блага и идее лепоты»¹, так «мир политический и изящные искусства не продолжение ли развития трех основных идей? Ведь это тоже проявление нечного в конечном»².

В этой статье М. Г. Павлов только ставил вопросы намекал на «окончательное познание» природы. В библиотеке Е. П. Мещериновой Лермонтов вместе со своим одноклассником Владимиром Мещериновым мог найти в «Мнемозине» (1825, ч. IV) знаменитую статью М. Г. Павлова «О способах исследования природы», к которой пользовались старшие пансионские товарищи поэта и которую штудировали студенты. В этой статье Павлов рассуждал: «человек с самого начала своего появления среди природы, пораженный ее величием и вместе изумленный самим собою, невольно должен спросить себя: что все это, что вне меня?» Природа — это «храм беспредельной обширности, в коем усматриваются бесчисленные предметы», она «кажется находящеюся в покое, как нечто содержимое», но «сие нечто содержимое, произведенное, издали кажущееся покойным, все находится в движении; там миры, постоянно вращаясь на осях своих, с невероятною быстротой носятся вокруг центральных светил; здесь моря дышат, так сказать, в отливе и приливе вод своих; там грохот громов колеблет атмосферу, и из ней: то льются дожди, то сыплются раскаленные камни; здесь потрясается земля; сгнетенные во внутренности оной огни, прорываясь на поверхность, выносят с собою реки расплавленных жаром металлов и земель; а там миллионы растений и животных, возникая и исчезая, представляют непрерывное волнение». Природа непрерывно изменяется, но «при всей изменяемости остается неизменяемою; природа не пуста; одно умирает, другое рождается; словом... природа ежемгновенно изменяется и постоянно остается одинаковою, производится и пребывает...»

«При всем несметном многообразии существующего, при всей бесчисленности действий и явлений, мы замечаем постоянный непременимый порядок в ходе природы; во множестве находим единство; с этой стороны при-

¹ То есть красоты.

² № 1, стр. 8, 9; № 2, стр. 4, 14—16.

рода кажется самою гармониею, в бесчисленных движениях обнаруживающеюся и бесконечною оных разнообразностью поддерживаемою. Сорвать завесу, сокрывающую от нас пружины сей гармонической машины; открыть главную причину всех ее несметных движений и там — при самом начале деятельности природы, водрузить знамя истины, словом: образовать общую теорию природы... — вот цель наших исследований! К сему-то знанию, к сей-то истине стремится дух человека так постоянно во всех веках». Раскрывая в своей обширной статье эту «общую теорию природы», Павлов доказывал единство «трех царств природы, в прелестнейшей связи между собою состоящих», и, отвергая «атомистическую теорию, господствующую в эмпирических науках», признавал творческой первоосновой вселенной *«Идею вообще, в телах живых — идею жизни»* и утверждал *«начало всякого знания в самопознании»*¹.

Эта статья М. Г. Павлова была главным источником известного тезиса в «Литературных мечтаниях» (1834) В. Г. Белинского: «Весь беспредельный, прекрасный божий мир есть не что иное, как дыхание единой, вечной идеи, проявляющейся в бесчисленных формах, как великое зрелище абсолютного единства в бесконечном разнообразии... Для этой идеи нет покоя... Силы природы борются, враждуют и умиротворяются силами посредствующими, и гармония царствует в этом вечном брожении, в этой борьбе начал и веществ. Так, идея живет...» Теория природы, изложенная Белинским в статье спустя два года по выходе его из университета, усваивалась им на лекциях Павлова в то время, когда Лермонтов учился в пансионе. Эта теория природы была продумана поэтом и образно передана в его ранних стихах. Философские идеи насытили поэтическое творчество молодого Лермонтова. Лекции и статьи М. Г. Павлова пришлись по душе тому, кто рано приучился думать, «теряться мыслью послушной» в цепи вопросов о начале, причине явлений мира, и вызвали новый круг размышлений о вселенной, о бесконечности и пр.

На уроках естественной истории у молодого магистра физико-математических наук Михаила Александровича Максимовича², ученика М. Г. Павлова, Лермонтов услы-

¹ «Мнемозина», ч. IV, стр. 1—8, 11, 13, 15—16, 34.

² Начал преподавание в пансионе с февраля 1826 г.

шал тот же ход мысли, тот же умозрительный метод раскрытия эмпирических явлений, только с большей примесью поэтических сравнений, ссылок на художественные памятники, в особенности — на устную народную поэзию. М. А. Максимович был уже известен как издатель сборника «Малороссийских песен» (1827), с энтузиазмом записывал мелодии народных песен, печатал украинские песни в журналах, альманахах.

В его магистерской диссертации «Система растительного царства» (М., 1827) явственно звучит голос ученого, который не представляет себе наблюдений над природой без философского осмысления эмпирического опыта. «Подробности, частные описания только умножают запас сведений, — писал Максимович. — Но зато мало выигрывает система: одни слова не составляют языка, звуки без гармонии — не музыка, сведения без системы — не наука: *система есть нить Ариадны, без которой всякие знания есть хаос; — система есть душа науки,* — говаривал Линней...» (стр. 69—70). С 1827 по 1832 год он печатал из своей книги «Размышления о природе» (М., 1833) отдельные главы, которые представляют собою популярное изложение той «теории природы», которую излагал его учитель в университетских лекциях. М. А. Максимович говорил в этой книге в одиннадцати главах «О превращениях мотылька», «О жизни растений», «О цветке», «О степенях жизни в земном», «О разнообразии и единстве вещества», «О степенях жизни и смерти», «О человеке», — говорил так просто и увлекательно, что учащиеся с невольным интересом слушали своего преподавателя и заведующего кабинетом естествознания. Д. А. Милютин вспоминал о М. А. Максимовиче как об одном из «наиболее симпатичных» преподавателей пансиона. В этой книге с эпиграфами из Жуковского¹ и Линнея², со ссылками на «нашего натурфилософа» профессора Велланского (стр. 21), с цитатами из Веневитинова, из духовного стиха о «Голубиной книге» (стр. 74—75) молодой ученый ставил вопрос: «Можем ли полагать и верить, что вся природа произошла и происходит из единого всеобщего вещества, издавна называемого эфиром или огнем?» и отвечал утвердительно: «Это согласно с значением живой природы, с ее всегдаш-

¹ «О вечный сеятель, природа,
Даруешь всем ты сладостную жизнь!»

² «Все в мире живет и движется» (к VII главе).

нею производимостью, с постоянным исхождением разнообразия из единства и возвращением к одному». Эстетическое вчувствование в мир природы было присуще ученому, издавна любившему естественно-научные экскурсии (под Новгород-Северском, в Московской губернии)¹, и энтузиасту народной песни. Его рассуждения о красоте природы подкреплялись примерами из народного творчества: «Цветы по красоте близкая родня поэзии, — говорил М. А. Максимович. — Поэзия, одушевляясь ими, всегда любила одушевлять их. Следы такого одушевления представляет народная поэзия наша, в песнях, обрядах и поверьях. Еще и теперь под Иванов день, как талисмана, ищут огненных цветов бесцветного *папоротника*; еще верят в чудесную силу *разрыв-травы*; русские и украинские девицы гадают о судьбе своей по цветам *загадки* и вопрошают ее, как вещую Пифию. Самые имена цветов: *маткина душка, Иван да Марья, Анютины глазки* (*pensée*), *Плакун, дрёма, мать-и-мачеха* показывают поэтическое сближение чувства и мысли с природой» (стр. 73—74). Философически настроенный поэт-ученый заканчивал свою книгу высоким представлением о человеке, верой, что «*совершенствование* есть цель человечества» (стр. 123).

В том же направлении постановки философской проблематики проходили занятия по курсу логики на уроках в шестом классе у преподавателя Дубенского. В 1821 году для воспитанников пансиона было издано учебное руководство профессора И. И. Давыдова «Начальные основания логики».

Здесь Лермонтов встречал знакомое ему по лекциям Павлова и Максимовича философское обоснование пантеизма, представление об единстве вселенной и об искусстве как выражении «всеобщей гармонии», и таким образом на уроках логики в пансионе он вновь находил ту систему воззрений, которую одновременно с ним усваивали его старшие сверстники в Московском университете и перерабатывали, исходя из потребностей и опыта самой жизни.

После лекций Максимовича и Павлова, ставивших общие проблемы, толкавших к поискам мировоззрения, Лермонтову было скучно сидеть на уроках профессора

¹ В 1826 г. был напечатан им «Список растений Московской флоры».

Д. Е. Василевского, который читал новую всеобщую историю и дипломатику¹. Он читал лекции неохотно, «как бы только поневоле, не развивал вполне своего предмета, да же старался как можно скорее, по тетрадке, прочитать лекцию»².

Лермонтов начал конспектировать его лекции, но на десятой лекции бросил. Эти конспекты дошли до нас в его общей тетради 1829 года. Василевский читал о французской революции, о Наполеоне, об Отечественной войне, наполеоновской империи, — о том, что волновало поэта, рассказах Капэ, Жандро, о чем с пристальным вниманием читал он в журналах³, отражения чего находил в стихотворениях Пушкина, Тютчева и других современных поэтов⁴. Перечень фактов без углубленного анализа внутренней связи между ними, преобладающий интерес к военным событиям, нередкое повторение одного и того же не вызвали у Лермонтова интереса к урокам профессора Василевского. Я приведу конспект первой его лекции, составленный поэтом; он четко показывает, какой значительный хронологический период был охвачен наставником Лермонтова в течение одного урока и как бегло вынужден был поэт касаться важнейших исторических событий.

ЛЕКЦИЯ I

ИСТОРИЯ ВСЕОБЩАЯ (от революции 1789)

20 депутатов, рассуждавшие об долгах государственных, хотели продат(ь) земли. За что на место нотаблей Некер созвал все состояния, или *национальный конвент*, который по неудовольствиям был перенесен в Версаль. Следился бунт. Бастилия разрушена. Собрание уничтожили

¹ Древнюю историю в четвертом классе читал А. З. Зинковьев.

² Из воспоминаний Я. И. Костенецкого. — «Русский архив», 1887 г. кн. I, стр. 233.

³ Переводные статьи: «Пожар в Москве при Наполеоне» («Галлея», 1829, ч. VI, № 27), «Свидание капитана Галля с Наполеоном на острове св. Елены» (там же, ч. II, № 8), «Жизнь Наполеона» В. Скотта (отрывки; там же, ч. XVI, № 27) и т. п.

⁴ «Андрей Шенье» Пушкина, «Могила Наполеона» Тютчева (1829), «Наполеон» М. Дмитриева (М. 1828), «Лирические поэмы» Николая Неведомского (П. 1828).

все цепи общества, провозгласило равенство и проч., ибо оно было заперто. Лудовик 16 был взят и посажен в тюрьму с семейством по небезопасности. Некоторые державы: Австрия и Пруссия отправили 90 000 во Францию. И полководец Герцог Брауншвейгский манифестом его раздражил народ, который обвинил короля, кот(орый) был казнен 1793, 21 января. — Снова национальный конвент вооружил всю Францию. *Гушак* и *Журдан* поддержал Дюмурье, противу Голландии *Пишегрю* и Австрию пруссов поразил. Другие державы раздражились. Англичане с храбростью сражались на море. — Республика Штатов соединенных названа *Батавскою* она уступ(ила) Франц(ии) свои земли. — Англичане зато объявили Батав(ии) войну. — Испания зак(лючила) мир с Франц(ией). Пруссия также. И прочие тоже рассоединились. В 1795 Франция сделалась *директориею*, то есть под правлением *Директора*.

Французское королевство объявило себя республикою. Роялисты собрались в Вандее и с Австр(ией) и Пруссией объявили войну Франции, но они были побеждены. Генерал Наполеон завоевал Италию, и отправ(ился) в Египет. Павел I послал Суворова в Италию, но скоро Павел I переменил свое намерение, и Суворов, с остатками армии перейдя Альпы, возвратился. Наполеон тоже. Александр I по смерти отца принял сторону Австрии. Наполеон не только был консулом, но и Императором. Произошла война. Русские и Австрийцы были поражены, и по Тильзитскому миру *Наполеон* признан императором. Наполеон возбудил негодование держав поступком в Италии. Он везде ставил своих братьев. Ему был отказан союз с нашей принцессой, но он принудил Австр(ийский) двор дать ему в за^мужество — Марию Луизу. [Он обидел]. И Наполеон подсылая свои войска к пределам России, и началась война под наз(ванием) Польской, ибо война началась за Нем(аном). Он перешел Неман. Три армии взошли в Россию. Первая взяла Смоленск, и при Бородине решилась сдача Москвы. Через три месяца тамошнего пребывания принужденный голодом и зимой Наполеон ретировался с потерю ужасною, преследуемый партизанами и великодушием народа. Пруссия перешла на нашу сторону с Лейпцигского сражения. Наполеон совершенно потерялся. Он заключил мир, но его не приняли. Наконец, был занят Париж, и Наполеон должен был назваться императором острова Эльба. Он бежал и разбитый при Ватерлоо сослан

в остров Елены. Так восстановился настоящий образ вещей.

Начиная со второй лекции конспект сокращался все более, хотя профессор Василевский говорил о «партии террористов (Робеспьер)», о том, как «испанцы взбунтовались и решительно изгнали французов из отечества». Конспект девятой лекции кончался фразой: *но все это было сказано*.

В самом деле, преподаватель то и дело возвращался к содержанию первой лекции: во второй лекции опять говорилось о Людовике Шестнадцатом, в четвертой — об отозвании Павлом Суворова из Италии, в шестой — о Тильзитском мире, в седьмой — о войне 1812 года... Лермонтову, наконец, надоело записывать; конспект десятой лекции состоял всего из нескольких строк, заканчивавшихся характерным выражением: «и проч.».

Перед записью событий — «Наполеон признан *Протектором* союза Германского» — поэт написал: «*О а когда*», — очевидно, те междометия, которые надоедливо сопровождали лекцию профессора Василевского, свидетельствуя о нудной манере его речеведения.

По воспоминанию Д. А. Милютина, магистр А. М. Кубарев¹, заставлявший переводить Корнелия Непота и объяснявший (ученикам) жизнь древнего мира; адъюнкт И. А. Щедритский, читавший статистику, и другие преподаватели «оставили мало впечатления в молодежи»². К этим «другим» надо отнести профессора М. Я. Малова, читавшего римское право. По словам М. Назимова, «он был, как говорится, речист, но весьма осторожен и робок в каких-либо теоретических суждениях... Ученого образования по предметам его кафедры в нем не было заметно». В университете «студенты презирали его, смеялись над ним». Герцен привел анекдот о нем: «Сколько у вас профессоров в отделении?» — спросил как-то попечитель у

¹ Преподавал латинскую словесность в пятом и шестом классах.

² О первом К. С. Аксаков в своих «Воспоминаниях студенчества 1832—1835 годов» (П. 1911) писал: «Кубарев, с кругленькой головой вообще весь кругленький, переводил с нами медленно и вятно, выговаривая слова тихоньким голоском своим, Тита Ливия — и только» (стр. 13).

студента в политической аудитории. «Без Малова — де-
вать», — отвечал студент.

Учителем закона божия (и греческого языка) был священник пансионской церкви профессор П. М. Терновский, университетские лекции которого, по словам К. Аксакова, читались самым схоластическим образом.

Географию (в четвертом классе) преподавал И. Н. Данилевский. Об уроках географии Лермонтов писал осенью 1828 года М. А. Шан-Гирей: «В географии я учу математическую по небесному глобусу, градусы, планеты, ход их и проч.». Эти сведения точно соответствуют пансионской программе курса географии в четвертом классе, что позволяет датировать это письмо Лермонтова 1828 годом, вместо предполагаемого всеми комментаторами 1827 года. Данилевский следил за новейшей наукой, перевел несколько статей из Гердера и Малте-Брюна¹.

С ним в 1829/30 учебном году Лермонтов встречался как с заведующим библиотекой пансиона². Д. А. Милютин относил его к числу «весьма порядочных людей». Преподавателями иностранных языков были: в четвертом и шестом классах лектор французского языка и словесности М. Н. Аларт, автор учебника; в пятом классе французский язык преподавали, чередуясь по полугодью, Кюри³ и Рэми; немецкий язык воспитанники пансиона изучали в четвертом классе у Карла Месса, в пятом классе у Готлиба Траутмана, в шестом классе у Ф. И. Кистера (1772—1849) — лектора немецкого языка и словесности в университете, основателя известного в Москве пансиона, в котором, между прочим, в 1826—1828 годах учился Т. Н. Грановский. Карл Иванович Месс давал уроки Герцену; об этом учителе Лермонтова узнаем из письма Герцена к Т. П. Кучиной в октябре 1828 года: «Месс ужасно пахнет водкой: может быть, оттого, что издал немецко-рус-

¹ Путешествия Асцелина, Карпини, Рубруквиса и Марко Поло. «Вестник Европы», 1829, № 15—16; Об организации народов, обитающих близ Северного полюса (из Гердера). — «Атеней», 1828, октябрь, № 20; «Панорама Афин» (из Малте-Брюна). — «Атеней», 1829, июль (за подписью И. Д.).

² С 16 мая 1829 г. Данилевский заменил А. Зиновьева в должности смотрителя пансионской библиотеки и раздачи классных книг.

³ Учитель французского языка у Огарева, бывший воспитатель декабриста Васильчикова.

ский лексикон, очень плохой, и до того близорук, что всегда ездит по тетрадке, когда поправляет перевод»¹.

В учебную программу входили также рисование², фехтование³, музыка и танцы. В старших классах танцам обучал известный Иогель, о котором в журналах печатались хвалебные статьи⁴.

Таковы были пансионские преподаватели Лермонтова. В основном это были лучшие представители тогдашней школы: Зиновьев, Дубенский, Мерзляков, Раич, Перевощиков, Сандунов, Павлов, Максимович, — каждый по-своему, или поддерживая друг друга, содействовали развитию поэта. Его выдающиеся многосторонние способности и интересы получили возможность глубже развернуться на уроках крупных специалистов, которые или сообщали неизвестные ему факты, или заряжали горячим сочувствием к искусству классиков и народной поэзии⁵, или углубляли интерес к теоретическому мышлению и помогали философскому осмыслению мира.

¹ А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. I, стр. 27.

² В четвертом классе преподавателем был П. П. Цвилленев, в пятом классе К. П. Геркен, в шестом А. С. Ястребилов. Последние два окончили Петербургскую Академию художеств.

³ Преподаватель М. Севенард.

⁴ См., например, «Молву», 1831, № 6.

⁵ В руках учащихся пансиона, по свидетельству Н. В. Сушкова, находились «Нравоучительные мысли» — сборник пословиц, латинских, французских, немецких, английских и русских. Среди русских пословиц, наряду с общеизвестными, встречались малоупотребительные и любопытные по своему социальному содержанию, например:

Береги платье снова, а имя смолода.

В чужих руках ломоть велик.

Всякому свое и не мыто бело.

Говори с другими поменьше, а с собою побольше.

Дерево хорошо по плодам, а человек по делам.

Доброе братство лучше богатства.

Друга в верности без беды не узнаешь.

Кто спит долго, тот живет с долгом.

На правду слов не много.

Молодому резвость, а старому трезвость.

Не тот умен, кто красно наряжен.

Солнце тем не будет хуже, что лучи пускает к луже.

Чужим умом в люди не выйдешь.

Чужая сторона прибавит ума.

Спасибо тому, что поит да кормит, а вдвое тому, кто хлеб,
соль помнит.

Щеголять смолоду, а под старость с голоду.

Лермонтов занимался с увлечением и усердно. Весной 1829 года он писал М. А. Шан-Гирей: «ваканции приближаются и... прости достопочтенный пансион! Но не думайте, чтобы я был рад оставить его, потому учение прекратится; нет! дома я заниматься буду еще более, нежели там». Кроме пансионских преподавателей, поэт занимался дома с гувернерами. Одновременно с Жандро к нему был приглашен преподаватель немецкой литературы, прусский подданный Винсон. Лермонтов в несколько месяцев выучился английскому языку и стал читать в оригинале Шекспира, Вальтер Скотта, Байрона и Т. Мура. Дополнительные уроки по рисованию он брал у А. П. Солоницкого; в знак уважения подарил ему тетрадь со своими стихотворениями. Мы уже говорили, что А. Ф. Мерзляков также занимался с ним на дому. За успешные занятия Лермонтов при переходе из четвертого в пятый класс получил два приза — книгу и картину¹, при переходе из пятого в шестой награжден был книгами². Лермонтов выделялся среди воспитанников пансиона своими рисунками: из класса рисования его картины были признаны лучшими во время испытаний по искусствам (21 декабря 1829 года)³. В тот же день на испытаниях из класса музыки Лермонтов сыграл на скрипке аллегро из Маурерова концерта⁴. На одном из собраний он прочитал элегию Жуковского «Море» и, по свидетельству А. Зиновьева, обучавшего декламации старших

¹ Ту же награду получили Николай Венкстерн и Григорий Безгин. Для перехода в следующий класс требовалось двадцать четыре балла, Лермонтов получил тридцать, что сделало его вторым учеником (первым был Н. Венкстерн). С одним призом перешли в пятый класс одноклассники Лермонтова Михаил Сабуров, Дмитрий Дурнов, Андрей Миклашевский и Дмитрий Петерсон. Воспитанник пятого класса Владимир Мещеринов получил картину в результате декабрьских испытаний 1828 г. («Московские ведомости», 1829, № 33). Таким образом, Лермонтов догнал В. Мещеринова и только с 1829 г. стал учиться с ним в одних классах, а не поступил вместе с ним в четвертый класс, как указано В. Мануйловым в хронологической канве жизни М. Ю. Лермонтова (пятый том сочинений Лермонтова, изд. «Academia», стр. 580).

² Тот же приз получили его одноклассники Михаил Сабуров, Дмитрий Дурнов, Дмитрий Петерсон, Андрей Миклашевский и многие другие; В. Мещеринов был награжден математическими инструментами («Московские ведомости», 1830, № 36).

³ Лучшими были признаны также картины М. Сабурова, К. Булгакова, Н. Венкстерна.

⁴ «Московские ведомости», 1830, № 5, стр. 212. Тогда же на фортепиано играли М. Сабуров (концерт Гуммеля), Афанасий Мещеринов (концерт Черни) и др.

воспитанников, заслужил громкие рукоплескания. Публичные испытания в науках и особенно в искусствах происходили в пансионе всегда в особо торжественной обстановке. Много бывало приглашенных гостей, помимо родителей и родственников учащихся. На собрании присутствовали московский генерал-губернатор князь Д. В. Голицын, попечитель учебного округа генерал А. А. Писарев, епископ Иннокентий, писатель И. И. Дмитриев, профессора университета, «многие сенаторы» и другие «знаменитые обоюдопола особы». Об этих испытаниях, «всегда, по словам «Дамского журнала», привлекающих бесчисленную публику», печатались подробные отчеты в московской прессе. Университетский благородный пансион издавал «Речи, разговоры и стихи», читанные воспитанниками на публичных актах. К ним в пансионе задолго готовились; администрация производила значительные денежные траты на угощение посетителей, освещение зала, за прокат кресел, стульев, инструментов и пр. Испытания происходили по определенной, издавна установленной программе: оканчивающие пансион «читали посетителям письменные ответы на вопросы, доставшиеся им по жребию и тут же решенные»¹, ученики читали речи на литературные, исторические, философские темы, декламировали, играли на инструментах, фехтовали на саблях и шпагах², показывали свое искусство в танцах. На длинном столе были разложены фортификационные чертежи, прописи, картины отличившихся учащихся. Зал, в котором происходили испытания, напоминал о славных питомцах пансиона: на доске золотыми буквами в два столбца были обозначены имена Василия Жуковского, Владимира Одоевского, Николая Тургенева и многих других, получивших золотые медали и одобрительные листы при окончании пансиона. Среди окончивших пансион с отличием Лермонтов встречал фамилии писателей, знакомых ему по журналам (Шевырев, Воейков, Писарев, Титов), государственных деятелей (Дашков), наконец, своих родных (Д. Столыпин)³.

Испытания в науках происходили несколько дней, с десяти часов утра и с пяти часов пополудни, испытания в

¹ «Московские ведомости», 1830 г. № 36.

² 21 декабря 1829 г. «мастерски дрались» Сергей Сабуров. Константин Булгаков и др.

³ Пансион окончили А. Грибоедов, А. Шаховской, А. Тургенев, А. П. Ермолов, И. Н. Инзов, А. А. Столыпин, Д. П. Сушков и многие другие.

искусствах начинались в семь часов вечера и кончались обычным балом в двенадцать часов ночи... Лермонтов участвовал в испытаниях 13—20 декабря 1828 года¹, 16—21 декабря 1829 года² и присутствовал на торжественных собраниях по случаю девятого выпуска — 6 апреля 1829 года и по случаю десятого выпуска — 29 марта 1830 года³.

Испытания из искусств и программы актовых заседаний отчетливо характеризуют идейную атмосферу, в которой воспитывались учащиеся. Литературные, эстетические интересы поощрялись прежде всего. Разумеется, речи учеников контролировались преподавателями, которые не только давали темы, но и приносили в ученические сочинения свои формулировки; воспитанники высказывались в стихах и прозе сообразно господствовавшим в пансионе воззрениям на поэтическое искусство и общим историко-культурным теориям. Политические мотивы в произведениях учеников, написанных для публичных выступлений, звучали лишь в откликах на исторические события прошлого. Герои Киевской Руси⁴, Куликово поле⁵, Полтава⁶, Бородино⁷ — таковы были темы отечественной истории, рекомендованные А. Ф. Мерзляковым и написанные его учениками преимущественно в высоком стиле классической школы⁸. Вы-

¹ См. второе письмо Лермонтова к М. А. Шан-Гирей.

² «12, 13 и 14 декабря 1829 г. происходили открытые испытания воспитанникам высшего класса, а 16, 17, 18 и 20 декабря испытания прочим классам; 21 декабря были испытания из искусства» («Московские ведомости», 1830, № 5).

³ «Московские ведомости», 1829, № 33, 1830, № 36.

⁴ «Владимир Великий», стихотворение В. Быкова, на собрании 21 марта 1827 г. См. «Смерть Игоря», в сборнике «В удовольствие и пользу. Труды воспитанников Университетского благородного пансиона», кн. I, М., 1810.

⁵ Читал В. Григорьев 10 апреля 1826 г. В том же году «лучшее рассуждение» было написано А. Быковым на тему: «Об освобождении России от татарского ига».

⁶ Стихотворение Н. Писарева (2 марта 1825).

⁷ Лирическая «Песнь к Кутузову-Смоленскому», стихотворение В. Чюрикова (на публичном акте 28 декабря 1815 г.), и «Бородино», стихотворение А. Быкова (26 марта 1827 г.).

⁸ Ср. в стихотворении А. Быкова:

...Я зрел поля Бородина —
Сей памятник Российской Славы!
Благоговейте времена,
Цари, народы и Державы.
На сих полях кровавый бой
Решил судьбу полувселенной,
На них пал Галлов грозный строй
Перед тобой, Благословенный!..

бор тем для прозаических речей соответствовал широким литературным интересам, имевшим место в университетском пансионе. Если на испытаниях из искусств ученики обычно декламировали не свои стихотворения¹, то на публичных актах, как правило, речи и стихи были оригинальным творчеством учащихся; редакторская рука инспектора Павлова, преподавателей Мерзлякова и Райча не могла, конечно, совсем стереть индивидуальность выступавших молодых ораторов.

Осенью 1828 года Лермонтов, только что вступивший в пансион, перелистывал печатный отчет торжественного собрания 17 марта 1828 года. Воспитанник старшего отделения высшего класса Владимир Строев, награжденный золотой медалью за рассуждение на итальянском языке об итальянской трагедии, произнес две речи: одну по-итальянски — «Боккаччо у гроба Вергилия», другую на французском языке — «О поэзии и о границах, которые отличают ее от красноречия».

Этого В. М. Строева Лермонтов услышал на собрании 6 апреля 1829 года. Он произнес сначала речь об истине, потом, по-итальянски, о поэте Алфиери. Оратор патетически восклицал: «Поклянемся исполнять и словом и делом благие советы и наставления (начальников и наставников). Они всегда говорили нам: начало и конец всех наших мыслей и чувствований, всех дел ваших да будет немерцающая, вечная истина. Так! Истина должна быть единственным предметом наших изысканий, наших трудов, нашего благоговения, — нашею честью и славой!»

Следуя своему учителю, профессору М. Г. Павлову, Строев давал такое определение истине: «Истина есть сходство наших понятий с предметом — наше знание; ибо *знаем* можно сказать о предмете, с коими наши понятия согласны, который представляем себе точно так, как он есть, как бывает или как быть должен»². Истине оратор противопоставлял ее «вечного врага» — заблуждение. Ученик М. Г. Павлова освещал вопросы о существе искусства, о союзе философии и поэзии, о гармоническом единстве природы.

¹ Так, 21 декабря 1829 г. читались произведения В. А. Жуковского («Песнь русскому царю»). И. А. Крылова (басня «Колос») и др. (см. «Дамский журнал», 1830, № 2, стр. 30—31).

² Ср. в статье М. Павлова «О способах исследования природы» («Мнемозина», 1825 г., ч. IV, стр. 9): «сходство понятий с познаваемым предметом называется истинною, это же есть и знание; ибо *«знаем»* можем только сказать о том предмете, с которым наши понятия сходны, в противном случае мы его не знаем».

«Изящные искусства, представляя видимую, вещественную природу, не изображают ли человеку природы таинственной, для него еще неприступной, не представляют ли того отечества небесного и вечного, к которому он беспременно стремится на крылах надежды всеми силами души, всеми своими желаниями и помышлениями, — одним словом: царство торжествующей истины? — Все вообще науки, утешительные спутницы человека на опасном пути сем, подкрепляют наши средства, услаждают горестное существование, отверзая пред нами хранилище всего чудесного и тайного, срывая мрачную оболочку с величественных красок природы, обнаруживая внутренний, удивительный ход ее. Но что же все науки, как не собрания истин, опытом дознанных и в строгом порядке расположенных для удобнейшего достижения одной основной истины? — Что все изящные художества, как не подражания той же истине? — Она душа их, она их основание, она — та главнейшая принадлежность, которая придает наиболее блеска всякому произведению творческого гения; и к чему бы служили все наши наблюдения и опыты, если бы они вводили нас в заблуждение, если бы распространяли понятия ложные, мысли несправедливые, мечты несбыточные? — Скажут, что поэт изобретает, вымышляет то, чего нет в природе. — Пусть так! — Но что его вымыслы? — Видимые, многообразные формы той же истины, которую он ни создать, ни изменить не может. — Самое пылкое воображение юродствует в своем творении, производит нелепости, если чувство и разум не видят, к чему приложить его вымышленные формы, если чрез одежду поэзии не проникает сияние, родное душам нашим — сияние истины! — Какие вымыслы наиболее нас трогают? — Те, которые почерпнуты из философии, в которых аллегорически изображаются действия природы, способности человека, правила жизни, движение страстей, и наконец связь между небом и землей! — Как располагаются вымыслы стихотворные? Не по тем ли же законам, коим следует сама природа? — Откуда берутся материалы для вымысла? Не из той ли же природы? — Одним словом: что они сами по себе? — Природа высшая, совершеннейшая: — следовательно, блистательнейший храм той же великой истины!..»

В. Строев далее перечислял многочисленных друзей истины, их благодетельную роль на разнообразных поприщах жизни. Тут были названы: Гиббон, Робертсон, Карамзин и Плиний; Линней, Кювье, и Платон с Кантом, и Нью-

тон, Гершель, Лаплас; и Архимед, Евклид, Эйлер, Лавранж, Монтескье с Беккариа, Сократ, Галилей и другие мыслители. В конце длинного рассуждения оратор обратился к своим слушателям с призывом не уклоняться от ничтожных выгод жизни, для приобретения корысти с пути истины. Молодой друг истины особенно призывал быть верным ей тех, кто избрал целью своей жизни поэзию, служение музам: «Горе таланту, отвергающему свет ее благотворный, — говорил В. Строев, — как знаменитый исполин времен баснословных лишился могущественных сил по мере удаления от земли, так гений теряет свои силы по мере устранения от истины: — чем выше возносится он, враждующий с нею, тем быстрее и глубже отвергается в мрачную бездну бесславия. — Его покидают правдивые музы; творение его остается холодным, бездейственным, не трогает души читателя и не производит в нем впечатлений сильных, неизгладимых; — не ему пленять и возбуждать сердца, не ему парить на крылах возвышенных мыслей, не для него божественное вдохновение: оно никогда не слетает в обитель оскверненной души! — Нежный, тонкий вкус отвергает его произведения, и никто не внемлет его песнопениям: — они гибнут, как вопли несчастного в глухой пустыне!..»¹

На этом же собрании выступали А. Давыдов с рассуждением о поэзии и живописи (на французском языке) З. Алферов с речью о Клопштоке (по-немецки)², С. Храповицкий об Оссиане (на английском языке). Авгерино говорил по-гречески на тему моралистического характера. Воспитанник Степан Жиров³ прочитал свое стихотворение «Минин». Патриотическая тема звучала в традиции волебно-любовной поэзии двадцатых годов с каноническими темами: «ярем рабства», «тягостные цепи» и т. п.

Молодой поэт нарисовал печальную картину России, которую вторглась «врагов свирепых рать»:

Внутри — разбой, мятеж, крамолы,
Расстройство общее — везде!
Оделись скорбью холмы, доли;

¹ «Речи и стихи... 1829 г., апреля 6 дня». М., 1829, стр. 4, 5—8—9, 25.

² В 1827 году написал рассуждение «Об отличии историка-повествователя от историка прагматического».

³ 17 марта 1828 г. произнес стихотворение «Слава». Написал рассуждение «О литературных заслугах Батюшкова».

В бесплодном замерли труде
И ум, и чувства, и руки...
Москва — великая столица,
Готова преклонить главу...

Новгородский гражданин Минин обратился с пламенным призывом к «сынам отчизны»:

Россия, мать наша страждет,
Москва в плену и празден трон.
Злодейство крови, смерти жаждет;
Попраны вера и закон. —
Мы здесь спокойно пребываем; —
Все гибнет вокруг — мы торг ведем!
В беспечных думах ожидаем
Готовый рабства нам ярем!..
Сыны отчизны! час медленья —
И более надежды нет! —
Ах, братья, свергните скорей.
Позора тягостные цепи!
Пусть наши трупы, наши степи
Возьмет недаром хищник сей!
Пойдем! За нас отцов молитвы,
За нас земля и небеса!..
Не покоримся полякам!
От нас умчатся в страхе шведы!..
Стекайтесь, юноши, на брань;
Наш князь *Пожарский* — воевода!
Скорее меч булатный в длань.
И возвратится к нам свобода!

После Жирова Семен Стромиллов, известный в пансионе, кроме влечения к поэзии, своими каллиграфическими опытами, прочитал стихотворение «Великая княгиня Ольга». Поэт избрал темой принятие христианской веры «Ольгой мудрой» и раскрыл ее в типичной форме классической оды; ученик Мерзлякова хорошо усвоил приемы реторики, запомнил лексический строй архаического жанра:

Я зрю: белеет Понт, кипят валы Евксина,
Стремятся корабли, как стая лебедей. —
Куда летит сия Славянская дружина?
Еще ли грады братья и в плен влеши царей?..
Спокойся, *Константин*! Не бойся, *Византия*!
То гости мирные к брегам твоим текут,
Не брани, не вражды, не плен, не козни злые, —
Софии к алтарю смирение в дар несут...

29 марта 1830 года Лермонтов на торжественном акте слышал речи: А. Малыгин произнес сочиненную воспитанником Токаревым речь «О важности изучения истории и о влиянии оной на словесность»; В. Дубровин выступил с речью на латинском языке «О превосходных качествах

лирических стихотворений Горация»; А. Авгерино прочитал на греческом языке «Морское сражение при Наварине»; А. Штейн по-французски произнес речь — «Ломоносов и Жан-Батист Руссо», которая рецензенту «Московского телеграфа» показалась по принципам литературного анализа сходной со статьей Раича о Петрарке и Ломоносове¹. Д. Протасьев прочитал (по-немецки) рассуждение «О постоянном усовершенствовании древней классической литературы между немцами»; М. Иваненко произнес речь на английском языке: «Характер сочинений и слога Т. Мора» и, наконец, А. Малыгин, имя которого было постановлено занести на золотую доску, закончил затянувшееся заседание речью на итальянском языке об «Освобожденном Иерусалиме» Тассо².

Речи, посвященные крупнейшим представителям мировой литературы, были насыщены восторженными похвалами. Поэты античного мира (Виргилий и Гораций), классики итальянской поэзии (Боккаччо, Тассо, Алфиери, Данте³, Шекспир⁴, Мильтон⁵, французские писатели (Расин и др.), немецкие классики (Лессинг, Шиллер и Гете), Оссиан и Т. Мур — все нашли горячее признание в речах учащихся. В частности можно говорить о культе Шекспира, Шиллера, Гете среди питомцев пансиона.

Лукиян Якубович, окончивший пансион в декабре 1826 года, в обращении «К Липецкому знакомому» восклицал:

Ты помнишь ли, товарищ юный мой,

Когда исполненный заветных, сладких дум
Ты Шиллером и Гете восхищался
И, окрылив свой юный, смелый ум,
Мечтам отрадным предавался?⁷

¹ «Московский телеграф», 1830, ч. XXXII, 8, стр. 366.

² «Московские ведомости», 1830, 3 мая, № 36.

³ О нем говорил речь на итальянском языке В. Строев на акте 26 марта 1827 г. (Тема речи «Смерть Данте»).

⁴ Речь П. Бабкина на английском языке, тогда же.

⁵ Речь Алферова о «Потерянном рае» на акте 17 марта 1828 г.

⁶ Речь «Озеров и Расин» (произнесенная по-французски В. Давыдовым 26 марта 1827 г. О речах на заседании в 1827 г. Лермонтов мог прочитать в отчете или услышать от В. Мещеринова еще до поступления в пансион.

⁷ «Атеней», 1830, ч. III, стр. 391. На акте 17 марта 1828 г. П. Вистенгоф прочел на немецком языке речь «История немецкой драматической поэзии вообще и трагедии в частности» с оценкой Лессинга, Шиллера и Гете.

Тот же Л. Якубович в стихотворении «Шекспир» пропел
настоящий гимн английскому драматургу:

Мир внутренний и внешний отразился
В его созданиях, как в море небосклон,
И отблеском души всемирной озарился,
Как в древности торжественный Сион.
Почти, о человек, поэта преклонением:
В нем проявился бог небесным вдохновением¹.

Переводы Лермонтова из Шиллера, относящиеся к 1829 году², и из «Страданий молодого Вертера» Гете, эниграф из «Отелло» в поэме «Две невольницы» (1830) и реминисценции в ранних произведениях поэта из Шекспира³, Мильтона⁴, Горация⁵, Тассо, Данте (в «Вадиме»), мотивы Оссиана в лирике — все это отзвуки чтения Лермонтовым европейских поэтов в пансионский период. Отчеты о публичных актах пансиона все же недостаточны для того, чтобы представить себе интенсивную литературную деятельность воспитанников этого учебного заведения. Воспоминания Д. А. Милютина очень живо раскрывают внутреннюю жизнь пансиона.

«Преобладающею стороною наших учебных занятий была русская словесность. Московский университетский пансион сохранил с прежних времен направление, так ска-

¹ «Стихотворения Лукьяна Якубовича», СПб, 1837. Стихотворение «Шекспир» помечено 1833 годом.

² «Три ведьмы», «К Нине», «Встреча», «Баллада», «Перчатка», «Дитя в люльке» и др.

³ Трагедия «Гамлет» в «Испанцах», «Макбет» в «Вадиме».

⁴ Из «Потерянного рая» в повести «Вадим» (Л. Семенов, М. Ю. Лермонтов, М., 1915, стр. 251—252).

⁵ «Джюлио» (1830):

...Так печаль,
В одну и ту же с нами сев ладью.
Не отстает ни в куще, ни в бою.
Так римский говорит поэт-мудрец.

Ср.: Но совесть грозная и страх спешат туда же,
Где он, и с корабля, одетого броней,
Забота мрачная не сходит, и она же
У всадника в седле таится за спиной.

(Гораций, «Оды» кн. 3 и 4. Перевод в стихах П. Порфиорова, СПб, 1902, стр. 8). Античные поэты — Гораций, Тибулл — внесли в память Лермонтова имя Неэры (в стихотворении «К Неэре»); см. переводы «К Неэре» Мерзлякова («Вестник Европы», 1811, № 10); В. Орлов. Опыты перевода Горациевых од: СПб, 1830, ода XV; К. Неэре — «Из Тибулла», перевод А. Киреева в «Московском телеграфе», 1829, № 12, стр. 452—453. Содержание лермонтовского стихотворения с традиционным именем возлюбленной совершенно оригинально.

зять, литературное. Начальство поощряло занятия воспитанников сочинениями и переводами вне обязательных классных работ. В высших классах ученики много читали и были довольно знакомы с тогдашнею русскою литературой — тогда еще очень необширной. Мы зачитывались переводами исторических романов Вальтер-Скотта, новыми романами Загоскина, бредили романтической школою того времени, знали наизусть многие из лучших произведений наших поэтов. Например, я знал твердо целые поэмы Пушкина, Жуковского, Козлова, Рылеева («Войнаровский»). В известные сроки происходили по вечерам литературные собрания, на которых читались сочинения воспитанников в присутствии начальства и преподавателей. Некоторыми из учеников старших классов составлялись, с ведома начальства, рукописные сборники статей в виде альманахов (бывших в большом ходу в ту эпоху) или даже ежемесячных журналов, ходивших по рукам между товарищами, родителями и знакомыми. Так и я был одно время «редактором» рукописного журнала «Улей», в котором помещались некоторые из первых стихотворений Лермонтова, один из моих товарищей издавал другой журнал: «Маяк» и т. д. Мы щеголяли изящною внешностью рукописного издания. Некоторые из товарищей, отличавшиеся своим искусством в каллиграфии (Шенгелидзе, Семенюты и др.), мастерски отделявали заглавные листки, обложки и т. д. Кроме этих литературных занятий, в зимние каникулы устраивались в зале пансиона театральные представления.

Все эти внеклассные занятия, конечно, отнимали много времени от уроков; зато чрезвычайно способствовали общему умственному развитию, любви к науке, литературе, чтению».

Необходимо более детально остановиться на некоторых фактах, указанных в воспоминаниях Д. А. Милютина. Пансион недаром считался «древним святилищем муз»¹. Многие из юных любителей поэзии не могли проявить себя на публичных актах, так как число участников в испытаниях из искусств было ограничено.

Рукописные журналы были одним из источников, куда направлялось литературное творчество учащихся. Мы видели, что Лермонтов выступал в открытых пансионских собраниях в качестве декламатора, музыканта, художника.

¹ «Дамский журнал», 1830, ч. XXIX, № 2, стр. 30.

рисовальщика. Он был энергичным вкладчиком также в ученические рукописные журналы.

В 1830 году в пансионе издавалось четыре журнала: «Арион», «Улей», «Пчелка» и «Маяк». Об участии Лермонтова в «Улье» (к сожалению, не сохранившемся в архиве Д. А. Милютина, который дорожил своим журналом и по выходе из пансиона) кратко сообщил его младший товарищ¹.

О редакторе «Маяка», однокласснике Д. Милютина, сохранилось ценное свидетельство бывшего студента Московского университета В. С. Межевича, напечатанное, между прочим, при жизни Лермонтова в конце 1840 года. Вот что писал он, вспоминая свои студенческие годы: «Между воспитанниками Университетского пансиона было у меня несколько добрых приятелей из числа их упомяну о покойном С. М. Строеве...² (Из рукописных журналов, издававшихся в пансионе) одну книжку *Ариона*, издававшегося покойным С. М. Строевым, и подаренного мне в знак дружбы, берегу я и по сие время, как драгоценное воспоминание юности. Из этих-то *детских журналов*. узнал я в первый раз имя *Лермонтова*, которое случилось мне встречать под стихотворениями, запечатленными живым поэтическим чувством и нередко зрелостью мысли не по летам. Не могу вспомнить теперь первых опытов Лермонтова; но, кажется, что ему принадлежат читанные мною отрывки из поэмы Томаса Мура *Лалла-Рук* и перевод некоторых мелодий того же поэта (из них я очень помню одну, под названием *Выстрел*)³. Нам не известно, какие стихотворения Лермонтова появились в «Улье» и в «Арионе», но чрезвычайно важно установить, что пансионские стихи поэта читались за стенами пансиона, что имя его было известно в студенческой среде, что стихи его поражали старшее поколение, резко выделяясь своим содержанием и поэтической формой из цикла произведений литературной молодежи.

Тот перевод из Т. Мура, который назван В. С. Межевичем, действительно относится к числу произведений боль-

¹ Д. Милютин был классом ниже Лермонтова.

² Брат упомянутого выше В. М. Строева. По поводу его выступления с чтением французского стихотворения на испытаниях 21 декабря 1829 г. в «Дамском журнале» (1830 г., № 2) было сказано: «Сей воспитанник-юноша заступил своими отличными успехами место родного брата, вышедшего в прошлом году из пансиона». ³ «Северная пчела», 1840, 16 декабря, № 284. «Русская литература. Стихотворения М. Лермонтова». СПб. (Письмо к Ф. В. Булгарину.) Л. Л.

шого поэтического мастерства. Этот перевод из английского поэта обычно считался оригинальным стихотворением Лермонтова, которое во всех собраниях его сочинений относили к 1841 году¹. Мы напомним этот вольный перевод «Вечернего выстрела» («The evening gun»), сделанный молодым поэтом, когда он находился в последнем классе пансиона:

Ты помнишь ли, как мы с тобою
Прощались поздно порою?
Вечерний выстрел загремел,
И мы с волнением внимали...
Тогда лучи уж догорали,
И на море туман густел;
Удар с усилием промчался
И вдруг за бездною скончался.
Окончив труд дневных работ,
Я часто о тебе мечтаю,
Бродя вблизи пустынных вод,
Вечерним выстрелам внимаю,
И между тем как чередой
Глушит волнами их седыми,
Я плачу, я томим тоской,
Я умереть желаю с ними...

Лермонтов не только активно участвовал в рукописных журналах, он собирался издавать свой журнал, но какие-то обстоятельства помешали ему сделаться редактором нового школьного журнала. Уже на первом году пребывания в пансионе он мечтал продолжить литературную традицию пансиона, выпустившего несколько книжек под названием «Каллиопа», в которых были собраны сочинения воспитанников². В декабре 1828 года он писал М. А. Шан-Гирей: «Я продолжал подавать сочинения мои Дубенскому, а Геркулеса и Прометея взял инспектор (М. Г. Павлов), который хочет издавать журнал Каллиопу (подражая мне! (?)).

¹ С·приурочением по деталям «пейзажа» к Геленджику. См. Лермонтовский пятитомник, под редакцией Б. М. Эйхенбаума, т. II, стр. 130 и 253. Необходимо отметить, что на близость стихотворения Лермонтова к стихотворению Томаса Мура было указано И. Х. в «Русском архиве», 1888, № 8, стр. 501. (Л. Семенов. «Лермонтов и Лев Толстой», М., 1914, стр. 406.)

² Сборники «Каллиопа» выходили в 1815, 1816, 1817 и 1820 гг. Участниками были В. Одоевский, Шевырев, Писарев, Ознобишин и другие. Пансион выпустил также следующие издания: 1) «Распускающийся цветок», 1787 г., «Полезное упражнение юношества», 1789 г. «Утренняя заря», 1800—1808; «И отдых в пользу», 1804; «В удовольствие и пользу», 1810, 1812; «Чертеж наук и искусств», М., 1814; «Избранные сочинения в прозе и стихах», 3 части, 1824—1825 гг.

где будут помещаться сочинения воспитанников. Каково вам покажется, Павлов мне подражает, перенимает у... меня! — стало быть... — но выводите заключения, какие вам угодно». Издание «Каллиопы» не состоялось¹, но у Лермонтова стал издаваться журнал дома. Очевидно, были темы, которые нельзя было провести через школьный орган. Поэт хотел быть свободным от цензуры школьного начальства.

А. П. Шан-Гирей рассказывает, что по приезде его из Апалихи в Москву «начал издаваться рукописный журнал «Утренняя заря»², на манер «Наблюдателя» или «Телеграфа», как следует, со стихотворениями и изящною словес-

¹ Не заменил ли «Каллиопу» альманах «Цефей», цензурное разрешение на издание которого было дано 8 января 1829 г.? В этом альманахе участвовали воспитанники пансиона, также и окончившие пансион, как В. Григорьев («Черкес», «Осада Чираха», «Набег горцев», «Сон любви», «Элегия»); К(олачевский), поместивший стихотворения «Видение Рафаэля», «Преступник», «Евгении» и отрывок из трагедии Шиллера «Мария Стюарт»; С. Жиров посвятил Н. Колачевскому отрывок из стихотворной повести «Взятие Азова»; ему же принадлежал другой отрывок из той же повести («Поход к Азову»), стихотворения «Пирр» и «Подражание Иову»; Степанов напечатал стихотворения «Сон», «Прощание молодого поэта с жизнью», «Песнь Фингала на развалинах Балкуты». Другие авторы скрылись за псевдонимами (Виктор Стройский; Ю. и др.). Загадочным представляется текстологическое сходство эпиграмм Лермонтова (1829 г.) с прозаическим произведением Н. Н. «Мысли, выписки и замечания»:

«Ц е ф е й»:

Некто очень хорошо заметил,
что тот самый пустой человек,
кто наполнен собой (стр. 157).
Есть престранные люди, которые
поступают с друзьями, как с платьем:
до тех пор употребляют, пока
износится, а там и кинут (стр. 157).
Стыдить лжеца, смеяться над
дураком, просить взаймы у скупца,
усовершенствовать игрока, учить
глупца математике, спорить с
женщиной — то же, что черпать
воду решетом. (стр. 149).

Э п и г р а м м ы:

Тот самый человек пустой,
Кто весь наполнен сам собой.
Есть люди странные, которые с
друзьями
Обходятся как с сертуками:
Покуда нов сертук: в чести, а там
Забут и подарен слугам.
Стыдить лжеца, шутить над дураком
И спорить с женщиной все то же,
Что черпать воду решетом: —
От сих троих избавь нас боже!

Судя по темам, по языку большинства «замечаний и выписок» неизвестный автор принадлежал к более старшему поколению, чем молодые участники альманаха. Не была ли дана в классе одним из преподавателей (например, Дубенским) задача придать стихотворную форму напечатанным в «Цефее» «Мыслям»?..

² Ср. пансионское издание под тем же заглавием. Ясно, что Лермонтов был знаком с пансионскими изданиями уже в 1828 г.

жостью, под редакцией Николая Гавриловича (Давыдова); журнала этого вышло несколько номеров; по счастью, пред отъездом в Петербург все это было сожжено, и многое другое, при разборе старых бумаг». Так как Н. Г. Давыдов, живший у Арсеньевой с 1828 года¹, не учился в пансионе и Аким Шан-Гирей, повидимому, приехавший в Москву в 1829 году², также не был воспитанником пансиона, то в рассказе младшего товарища Лермонтова речь о журнале «Утренняя заря» могла относиться только к домашнему изданию. Сожжение этого журнала явно было вызвано соображениями внелитературного характера.

3

Литературные увлечения воспитанников пансиона были окрашены политическим вольномыслием. Лермонтов учился в школе, где хранилась память о казненных декабристах и была в ходу, — как некогда в Царскосельском лицее, — запрещенная литература. Д. А. Милютин знал наизусть поэму Рылеева «Войнаровский». Эта же поэма была списана Ф. М. Протасьевым, который учился в шестом классе вместе с Лермонтовым. Таким образом, поэты-декабристы в пансионе читались и заучивались. По свидетельству Д. А. Милютина, он знал наизусть «целые поэмы Пушкина». Но, конечно, не только поэмы Пушкина волновали подростков: политическая лирика поэта декабристов была им хорошо известна. Недаром шеф жандармов доносил царю Николаю, что «кумиром» либеральной партии «является Пушкин, революционные стихи которого, как «Кинжал» (Занда), «Ода на вольность» и т. п., переписываются и раздаются направо и налево»³.

Друг Герцена, Т. П. Пассек писала о тех годах, когда формировался поэт: «Каждая строка (Пушкина) летала из рук в руки; его поэмы читали в списках, твердили наизусть... «Войнаровский» и «Дума» Рылеева возбуждали дух гражданственности. Козлов переводил Байрона. Типы его героев водворялись в жизнь общества, облагораживали его и отражались в поэмах и повестях. Шиллер передавался в прелестных переводах Жуковского».

¹ Он приехал в Москву вместе с Лермонтовым и Е. А. Арсеньевой.

² См. третье письмо Лермонтова к М. А. Шан-Гирей.

³ «Красный архив», т. 38, 1930, стр. 141—142.

Огарев, годом старше Лермонтова, вспоминал о том же времени:

Мы были отроки...
Везде шептались. Тетради
Ходили в списках по рукам.
Мы, дети, с робостью во взгляде,
Звучащий стих, свободы ради,
Таясь, твердили по ночам.

Стихи Рылеева тайно звучали в Университетском пансионе, тетради запрещенных стихотворений Лермонтов мог получать от своих товарищей.

От В. Мещерина и других лиц, учившихся в пансионе, когда разразилась катастрофа 1825 года, Лермонтов узнавал много интереснейших фактов.

В Университетском благородном пансионе училось немало участников декабрьского восстания и причастных к Южному обществу. Казненный Каховский, Бурцов И. Г., Вадковский Ф. Ф., Вальховский В. Д. (был переведен в Царскосельский лицей), Кривцов С. И., Якубович А. И., Рынкевич И. В., Семенов П. Н., Черкасов А. И., братья Юшневские (А. П. и С. П.), Полтиванов И. Ю. — все это были люди, которых помнили в пансионе. Декабристов и Лермонтова с его сверстниками учили одни и те же преподаватели, например, А. Ф. Мерзляков, у которого к тому же приватно брали уроки известный пансионерам по пушкинскому посланию П. Я. Чаадаев и М. П. Бестужев-Рюмин¹. Одноклассником поэта был Андрей Миклашевский, брат которого, Александр Михайлович, — женатый на сестре декабриста А. Ф. фон-дер Бриггеца, — за связи с Н. И. Тургеневым (тоже питомцем пансиона) в качестве «прикосновенного к делу о злоумышленных обществах» после крепостного заключения был сослан в 1826 году на Кавказ, где, командуя 42-м егерским полком, был убит при штурме Чумкескента в Северном Дагестане, 1 декабря 1831 года².

Многие пансионеры еще помнили своего надзирателя, студента Московского университета А. Леопольдова. В 1826 году он был арестован за распространение запрещенного цензурой отрывка из элегии Пушкина «Андрей Шенье», которому в рукописном списке он придал заглавие «На 14 декабря», причинившее Пушкину много хлопот

¹ «Восстание декабристов», т. VIII, Л. 1925 (по алфавиту).

² Е. Вейденбаум. «Декабристы на Кавказе». — «Русская старина», 1903, июнь, стр. 497—499.

в известном политическом процессе 1826—1828 годов¹. Арестованный Леопольдов заявил, что в Петербурге, где был взят полицией, среди оставшихся там его вещей (творения Тацита на латинском и французском языках, поэма Шатобриана «Аталия») находится «Полярная звезда» на 1824 год².

Вполне вероятно, что студент Леопольдов раздавал ученикам пансиона запрещенные стихи Пушкина, что он обращал их внимание на петербургский орган декабристов, где впервые появились «Исповедь Наливайки», «Стансы» Рылеева, отрывки из «Цыган» и «Разбойников» Пушкина, повести А. Бестужева («Ревельский турнир» и «Изменник»)³.

¹ П. Щеголев. Пушкин. Очерки, изд. 2-е, стр. 266—306.

² При обыске в чемодане Леопольдова оказались книги на русском, латинском, французском и английском языках; собственные его рукописи, трактующие о литературе и философии, переводы разных иностранных авторов и переписка с Станевичем (известным реакционным деятелем) по поводу религии. См. А. Слезкинский, «Преступный отрывок элегии «Андрей Шенье». (Из судебного процесса А. С. Пушкина, Леопольдова, Коноплева и др.) — «Русская старина», 1899.

25 октября 1825 г. студент Андрей Леопольдов вместе с А. Зиновьевым, И. Данилевским, М. Погодиным, Рожалиным, Линхониным и др., собравшись у А. Ф. Мерзлякова, изъявили желание участвовать в Обществе переводчиков. (Н. Барсуков. «Жизнь и труды М. П. Погодина», кн. I, стр. 314—315.) В «Московском телеграфе» 1830, ч. XXXVI, Леопольдов напечатал статью «Свадебные обряды крестьян в Саратовской губернии». В печати были и другие его работы. Леопольдов с 1826 г. был сотрудником Общества любителей российской словесности.

³ Об этом Леопольдове и его процессе Лермонтов мог узнать от Ивана Вадковского, сына вдовы генерал-майора Е. П. Вадковской, которые посещали бабушку поэта по приезду ее в Москву (с 1827 г.). Это знакомство Е. А. Арсеньевой и М. Ю. Лермонтова с Вадковскими засвидетельствовано А. З. Зиновьевым (см. «Литературный архив», изд. Академии наук. М. — Л., 1938, стр. 427). И. Вадковский также упомянут в записках Сушковой в связи с эпиграммой, написанной на него Лермонтовым в приятельском кружке. Леопольдов с племянником А. П. Вадковской, прапорщиком Молчановым, жил у нее на даче. Когда возник процесс по делу о распространении стихотворения «На 14 декабря», то, на основании показания Леопольдова, в комиссию вызывали крепостного человека Вадковской, Василия, которому будто бы Леопольдов дал экземпляр «На 14 декабря» для передачи Молчанову. Как только решилась судьба ее племянника, переведенного на Кавказ в Нижегородский драгунский полк, Е. П. Вадковская обратилась к генералу Н. Н. Раевскому 22 сентября 1827 г. с просьбой об ее пострадавшем молодом родственнике. См. П. Е. Щеголев. «Из жизни и творчества Пушкина», изд. 3-е, 1931, стр. 110 и В. Л. Модзалевский. «Архив Раевских» 1900, т. II, стр. 351—352.

Товарищ Лермонтова И. Р. Грузинов, оставивший пансион в 1829 году¹, был очевидцем въезда Николая в столицу на коронацию в сопровождении героев 1812 года — генералов Витгенштейна, Ермолова; с колокольни Ивана Великого видел торжественную церемонию в Кремле в день коронации; помнил, как после «беспрерывного ряда увеселений и праздников как двора, так и города», после маневров на Ходынке, народного угощения на Девичьем поле, театрального маскарада, с уходом гвардии и отъездом двора снова водворилась в Москве обычная тишина², внешне скрывавшая напряженную жизнь во многих домах, где оплакивали казненных и ссыльных, где с волнением слушали вести о страшных подробностях казни пяти декабристов. В пансионе Лермонтов узнавал от своих товарищей эти подробности, не известные ему в тархановской усадьбе; в итоге раздумий о недавних общественных событиях, около которых уже стала слагаться революционно-романтическая легенда, юноша-поэт восклицал:

В старинны годы люди были
Совсем не то, что в наши дни.

Мы уже говорили, что товарищи Лермонтова зачитывались стихами Рылеева. Посвящение А. А. Бестужеву в поэме «Войнаровский» звучало в сознании Лермонтова как поэтическая формула о жизненных утратах и радости, которую несет подлинная дружба.

Своему другу, однокласснику Д. Д. Дурнову, Лермонтов посвятил стихотворение:

Я пробегал страны России,
Как бедный странник меж людей,
Везде шипят коварства змий:
Я думал: в свете нет друзей! —
Нет дружбы нежно-постоянной,
И бескорыстной, и простой;
Но ты язился, гость незванный,
И вновь мне возвратил покой!
С тобою чувствами сливаюсь,
В речах веселых счастье пью;
Но дев коварных не терплю, —
И больше им не доверяюсь!..

¹ Учился с Лермонтовым в четвертом классе (был старше его на два года) и с января 1829 г. в пятом классе.

² И. Р. Грузинов. «Записки покойного Якова Васильевича Базлова», М., 1863, стр. 102, 103, 106, 108.

Невольно бросается в глаза, что, несмотря на самостоятельную обработку темы и своеобразную концовку, намекающую на ранние интимные тревоги, в этом стихотворении слышится отзвук Рылеева, как будто юный поэт строил в воображении свою дружбу похожей на союз двух декабристов.

Мотивы одиночества, странничества, неверия в «бескорыстную дружбу» и внезапный переход к другому чувству, вызванному встречей с близким по духу человеком, роднят послание Лермонтова со стихами Рылеева:

Как странник грустной, одинокой,
В степях Аравии пустой,
Из края в край с тоской глубокой
Бродил я в мире сиротой.
Уж к людям холод ненавистой
Приметно в душу проникал,
И я в безумии дерзал
Не верить дружбе бескорыстной.
Незапно ты явился мне:
Повязка с глаз моих упала,
Я разуверился вполне,
И вновь в небесной вышине
Звезда надежды засияла...

Университетский пансион, где была группа воспитанников, благоговевших перед людьми 14 декабря, содействовал вызреванию политического свободолюбия Лермонтова. Связи пансиона с университетом, в котором студенчество свято чтит память о казненных, усиливали проникновение в среду учащихся запретных идей, «потаенной литературы». Не случайно в доносах и официальных документах пансион и университет рассматривались заодно как рассадники вольнодумства.

17 апреля 1826 года начальник главного штаба Дибич, предписывая флигель-адъютанту полковнику графу Строганову «осмотреть Московский университет и принадлежащий к нему Благородный пансион», сообщал ему: «Дошло до сведения государя-императора, что между воспитанниками Московского университета, а *наипаче принадлежащего к оному Благородного пансиона, господствует неприличный образ мыслей*». Строганов должен был рассмотреть в особенности:

«1) Не кроется ли чего вредного для существующего порядка вещей и противного правилам гражданина и подданного в системе учебного преподавания наук?

2) Каково нравственное образование юных питомцев, и доказывает ли оно благонамеренность самих наставников, ибо молодые люди обыкновенно руководствуются внушаемыми от надзирателей своих правилами»¹.

Отчет Строганова, ревизовавшего Университетский пансион, известен из бумаги министра А. С. Шишкова (за № 880) от 21 июля 1826 года московскому попечителю округа А. Писареву, из которой видно, что в представленном государю донесении Строганов писал: «Благородный университетский пансион можно с бóльшей основательностью назвать школою разврата, нежели домом воспитания»; на официальном языке «разврат» и «дурной водворившийся (в пансионе) дух», как писал Строганов, обозначали отсутствие у молодежи благонамеренных чувств².

Отставной полковник И. П. Бибилов в это же время (в конце июля 1826 г.) послал в III Отделение донес, где писал, что «в Московском университете, а паче в Благородном пансионе Московского университета... профессеры знакомят юношей с пагубной философией нынешнего века, дают полную свободу их пылким страстям и способ заражать умы младших их сотоварищей. Вследствие такой необузданности, к несчастью общему видим мы, что сии воспитанники не уважают закона, не почитают своих родителей и не признают над собой никакой власти...»

Признание Университетского пансиона вредным с точки зрения III Отделения удержалось за ним до той поры, когда там обучался Лермонтов. Бенкендорф, давая в докладе царю обзор развития общественного мнения в 1830 году, сообщал: «среди молодых людей, воспитанных за границей или иноземцами в России, а так же воспитанников Лицея и Пансиона при Московском университете... встречаем многих, пропитанных либеральными идеями, мечтающих о революциях и верящих в возможность конституционного правления в России»³.

Шеф жандармов не ошибался в оценке политических настроений, бытовавших в пансионе. Когда два младших товарища Лермонтова, Н. Сатин и Н. Сазонов⁴, по выходе из пансиона встретились с Герценом, тот нашел их поли-

¹ «Русская старина», 1902, апрель, стр. 208.

² Д. М. Щепкин. «Московский университет в половине 20-х годов». — «Вестник Европы», 1903, т. IV.

³ «Красный архив», т. 38, стр. 141.

⁴ Они учились в четвертом классе, когда Лермонтов был в шестом.

тические симпатии родственными своим. «Мы вошли в аудиторию, — вспоминал Герцен, — с твердой целью в ней основать зерно общества по образу и подобию декабристов и потому искали прозелитов и последователей. Первым товарищ, ясно понявший нас, был Сазонов; мы *нашли его совсем готовым* и тотчас подружились. Он сознательно *поддал свою руку и на другой день привел нам* Н. М. Ситина, который, «с благородными стремлениями и полудекабристскими мечтами... *отдавался весь и нам и нашей идее...*»

Если б Герцен и его друг Огарев, считавшие 14 декабря одним из главных факторов, почему «первый (их) шаг в области мышления был столкновением с действительным обществом и пробудил жажду анализа и критики»; если б они знали, что ученик Университетского пансиона Лермонтов еще в 1829 году написал «Жалобы турка» и «Монолог», они бы сказали, что этот гениальный юноша не только «совсем готов» для столкновения с современным обществом, но что он нашел самые точные слова для выражения их чувств, их «анализа и критики» современной действительности, — того отчаяния, которое овладело лучшими людьми в стране после поражения декабрьского восстания.

4

Помимо рукописных журналов, литературные интересы учащихся находили применение в существовавшем в пансионе Обществе любителей словесности. Об его заседаниях, характере деятельности и составе участников рассказывал в своей автобиографии С. Е. Раич. «В последние годы существования Благородного пансиона, — писал в 1854 году, — под моим руководством вступили на литературное поприще некоторые из юношей, как то: г. Лермонтов, Стромиллов, Колачевский, Якубович, В. М. Стромиллов. Соображаясь с письменным уставом В. А. Жуковского, открыл я для воспитанников Благородного пансиона Общество любителей отечественной словесности; *каждую неделю по субботам*, собирались они в одном из куполов, служившем моею комнатою и пансионскою библиотекою. Здесь читались и обсуждались сочинения и переводы молодых словесников, *каждый месяц* происходили торжественные собрания в присутствии попечителя университета А. А.

¹ «Былое и думы. Русские тени, Н. И. Сазонов».

сарева, директора П. А. Курбатова, инспектора пансиона М. Г. Павлова и нескольких посторонних посетителей; в собрании читались предварительно одобренные переводы и сочинения воспитанников, разборы образцовых произведений отечественной словесности и решались изустно вопросы из области ифики, эстетики и пр., предлагавшиеся попечителем, директором или инспектором»¹.

Воспоминания учителя Лермонтова дают основание предполагать, что в пансионе был кружок Раича, собиравшийся по субботам, и существовало Общество любителей отечественной словесности, ежемесячные публичные заседания которого носили почти тот же характер, что и публичные торжественные акты. Раич не открывал нового литературного общества, так как в пансионе с конца XVIII века было *Собрание воспитанников Университетского благородного пансиона* — литературное объединение учащихся, которые избирали из своей среды председателя и секретаря. Оно имело свой устав, официально утвержденный, который отличался от устава *Дружеского литературного общества*, возникшего в 1801 году при участии Жуковского, Мерзлякова, Андрея и Александра Тургеневых, А. Ф. Воейкова и др.².

Раич, повидимому, только положил устав 1801 года в основу давно существовавшего в пансионе литературного общества³.

Присутствие на заседаниях официальных лиц суживало тематику докладов, речей, оригинальных произведений

¹ «Русский библиофил», 1913, кн. 8, стр. 32—33. (Курсив наш. — Н. Б.)

² В. И. Резанов. «Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского», П., 1906, стр. 120, 178—180.

³ «Законы Дружеского литературного общества» были напечатаны Н. С. Тихомировым в «Сборнике Общества любителей российской словесности на 1891 год». М., 1891; стр. 1—14. Предметами заседаний служили речь «чередного оратора», философические и политические сочинения (и переводы), беллетристические сочинения и переводы, причем «критика и опровержения должно приносить в следующее заседание, а опровержение философических пиес через две недели непременно и без всяких оговорок» (§ XIII и XIX).

См. описание этого общества в книге «Москва, или исторический путеводитель» (ч. III. М., 1831): «К чести начальствующих и снисхождению учащихся основано при сем пансионе собственное Общество любителей словесности, составленное из воспитанников, — один из них занимает место председателя. В сем обществе читаются сочинения в прозе и стихах; многие из профессоров принимают на себя звание почетных членов сего общества» (стр. 84).

учащихся: Лермонтов, конечно, не мог выступить с лобами турка» перед генералом Писаревым, который зался молодежи прообразом Скалозуба. Более свободный характер должны были носить собрания кружка Раича. То, что Раич среди своих учеников на первом месте ставил Лермонтова, вполне понятно, так как его воспоминания писались тогда, когда Лермонтов, по общему мнению, занял первое место среди поэтов после Пушкина. Но что многие стихотворения Лермонтова пансионского периода считались Раичем неудобными к печати и Лермонтов не находил нужным стремиться к печатанию своих стихов в органе Раича, доказывается тем, что в «Галатее» нет ни одного стихотворения Лермонтова тогда как стихи Якубовича, и особенно Колачевского, поэтов, названных Раичем после Лермонтова, — нередко появлялись на страницах журнала их пансионского учителя. Правда, позднейшие, зрелые стихотворения Лермонтова в журнале Раича («Галатее», 1839, № 10) были названы «прелестными», но зато Раич не защищал Лермонтова, когда тот подвергался нападкам со стороны журнальной критики, и энергично выступал в защиту Якубовича и особенно Стромиллова, когда Белинский называл произведения этих поэтов «стишками»¹.

Раичем были названы только пять воспитанников пансиона, которые, по его словам, «под его руководством вступили на литературное поприще». Все эти лица, не считая Лермонтова, действительно стали писателями, имена которых долгие годы появлялись на страницах журна-

¹ В № 11 «Галатеи» (1839) по поводу заметки «Сына отечества» редактор заявил, что «г. Стромиллов дурных стихов никогда не пишет». Замечание же Белинского в «Московском наблюдателе» по поводу «Отечественных записок», где среди «множества прекрасных стихотворений есть и стишки гг. Якубовича, Стромиллова», вызвало возмущенную реплику Раича: «Спрашивается, есть ли у Белинского здравый смысл эстетической или, что все равно, наделила ли природа вкусом? — Назвать стихи Якубовича, особенно Стромиллова стишками! Нет, это уж чересчур. Что стихотворения Стромиллова прелестны, что он, так сказать, не умеет писать дурных стихов, ясно, как дважды два четыре, ясно, по крайней мере, для того кто наделен хоть малейшим участком вкуса. Нет, г. Белинский, не вам судить о произведениях фантазии. И притом, что вам право называть стишками стихотворения поэта, кого литературная слава ни разу никем не запятнана. Это и совестно и грешно ветоим вам впредь быть осмотнительнее в рецензиях; иначе скажем, что вы судья непризванный» («Галатее», 1839, № 27—67—68).

налов»¹; они выпускали свои произведения сборника-ми»²; их пьесы ставились в театрах³. Но, конечно, заседания пансионского литературного кружка далеко не исчерпывались выступлениями отмеченных Раичем юношей (В. Строева, Якубовича, Стромиллова, Колачевского), из которых двое окончили пансион еще до поступления Лермонтова⁴. В числе участников кружка надо считать как тех, кто выступал с речами, произносил свои стихотворения на испытаниях в искусствах, так и тех стихотворцев или вообще интересовался литературой. А таковых в пансионе было немало. Среди одноклассников Лермонтова можно отметить в числе поэтов, переводчиков, критиков — В. П. Мещеринова⁵, Д. М. Протасьева 1-го и Д. Протасьева 2-го, Моисея Иваненко, Петра Степанова, стихотворение которого «Дунай» с отзвуком языковского «Пловца» было прочитано на акте 6 ноября

¹ Л. Якубович и С. Стромиллов в пушкинском «Современнике» (1836, ч. III, ч. IV; 1838, ч. XI); Л. Якубович в «Телескопе» (1831—1832 гг.), в «Молве» (1832—1833 гг.), «Отечественных записках» (1839, т. III, IV), также в «Библиотеке для чтения» (1834, т. III; 1835, т. VIII, т. XII, и др.). С. Стромиллов много печатался в «Московском наблюдателе»: 1836 — сентябрь, октябрь, декабрь; 1837 — июль. В 1839 г. вышел сборник «застольных русских песен», положенных на музыку Алябьевым; в их числе была песня Стромиллова «Сем польем, сем погуляем». Одна из его песен завоевала популярность и дожила до наших дней: «То не ветер ветку клонит» (музыка Варламова). См. «Песни русских поэтов» под ред. И. Н. Розанова, стр. 594.

² С. Стромиллов, «Двенадцать сонетов» (цензурное разрешение 1 ноября 1835 г.), М., 1837 (Монумент Петра Великого. Царское Село, Александрия, Кронштадт, Александровская колонна, Коломенское, Бородино, Киев, Ломоносов, Державин, Пушкин, Брюллов). — Л. Якубович. Стихотворения. П., 1837. — В. М. Строев. «Сцены из петербургской жизни». Соч. В. В., ч. I, П., 1835, ч. II, 1837 г. (в рассказе «Вот почему я не пью шампанского» подробности из жизни Пушкина и московской семьи Ушаковых). В. М. Строев был известен как переводчик французских романов. Вероятно, ему принадлежал перевод с немецкого «Отрывки из Олеариева Путешествия по России» за подписью В. С. в «Русском зрителе», 1828, № 15—16 (книга Олеария могла быть указана ученику пансиона В. М. Строеву его братом, известным историком П. М. Строевым).

³ 15 декабря 1839 г. в Московском театре была представлена пьеса С. И. Стромиллова «Русский инвалид на Бородинском поле» (музыка А. А. Алябьева).

⁴ Н. Колачевский окончил в декабре 1827 г.

⁵ Произнес 6 ноября 1831 г. заключительную речь по-французски на тему об ожидающей его жизненной карьере с оценками крупнейших русских писателей (включая Пушкина). См. «Речи, разговор и стихи, произнесенные в торжественном собрании 1-й московской гимназии». М., 1831, стр. 27—31.

1831 г.¹, и А. П. Бабкина, автора стихотворения «Звезное небо» в романтическом стиле Жуковского:

День угасший заменил
Сумрак тихой ночи;
Мирный путник опочил,
Сон налег на очи.
Всюду царство тишины,
Мертвое молчанье,
Льет сребристый рог луны
Томное сиянье...²

Был поэт-неудачник Иосиф Романович Грузинов, «м. прилежный обожатель». К нему в 1829 году Лермонтов обратился с посланием:

Скажу, любезный мой приятель,
Ты для меня такой смешной...

Как ни старался «милый друг» Лермонтова привлечь его внимание к своим стихам, тот упорно отказывал ему в даре поэзии. Через год после выхода из пансиона Грузинов издал свои опыты в виде сборника «Цитра, и мелкие стихотворения» (М., 1830), которых набралось двадцать номеров — элегий, эпиграмм, песен, посвященные (А. С. Поляксову, М. А. Б-вой) под заглавиями: «Козак», «Поселянка», «Песнь русского наездника», «Бой спартак» и т. п. В манере псевдонародной песни, с перебоями книжной литературной традиции и с явным нарушением психологической правды, он писал в стихотворении «Тоска»:

Светла волна,
Хладна она,
Покоем взор,

1

Шуми, Дунай! несися в море;
Ты не впервые видишь нас;
На роковом твоём просторе
Уж мы сражались не раз...

(«Речи, разговор...», М., 1831, стр. 22). Впоследствии писал повести драмы из народной жизни. В 1869 г. издал два тома своих рассказов: «Правые и виноватые. Записки следователя сороковых годов». Оставил воспоминания о Лермонтове, до сих пор неизвестные. Р. в статье памяти П. И. Степанова, умершего 1 марта 1876 г., писал: «Его воспоминания о Пушкине, Лермонтове и др. деятелях будут бесполезны, когда появятся в печати («Петербургская газета», 1876 № 47, стр. 2).

² Там же.

Но тайный сбор
Печальных дум
Волнует ум
У добра-молдца...
(стр. 28—29)

Или, жалуясь на судьбу, соединял с печальными размышлениями душевную легкость, какую-то поверхностность своих переживаний, к тому же явно вскрывая отсутствие индивидуального поэтического стиля, замененного штампованной фразеологией с неудачными неологизмами:

Прошли, прошли мои мечты,
Их миновался легкий сон,
Я жертва чудная судьбы,
И жизнь моя — надгробный стон...

...Теперь я пленник безотрадной,
У ног красавицы своей,
У ног красавицы бесчадной
Унижен я, как прах полей.

Но из неволи я воспряну,
С свободой снова заживу,
От сна любви, сказал, восстану...
И что ж? Опять склонил главу!
(стр. 11—12)

Когда в «Литературной газете» 1830 года появилась рецензия на «Цитру» в связи с чьей-то книжонкой в стихах — «Два послания Выпивалова к водке и к бутылке» (М., 1830), — где авторам рекомендовалось своих изданий «не показывать никому, а просто держать их взаперти, пока они не пригодятся закурить трубку или затопить камин», Лермонтов мог убедиться, что его строгий отзыв о стихах приятеля разделяла редакция пушкинского органа. Непризнание Грузинова поэтом не мешало Лермонтову считать его в числе своих друзей, так как тот, меланхолически настроенный, был способен понимать автора элегий, когда он читал такие свои стихотворения, как «Песня», «Романс», «Ответ» и др.» (1829 г.)¹.

¹ И. Р. Грузинов одним из эпиграфов к своему роману «Записки воякойного Я. В. Базлова» (1863) взял лермонтовское «И скушно и грустно».

Самой заметной фигурой в кружке Раича был Николай Колачевский, рано ставший членом-сотрудником Общества любителей российской словесности при Московском университете¹. Его стихотворения и переводы печатались в «Русском зрителе», «Московском телеграфе», «Галатее» и «Атенее». Его стихотворение «Гений» Лермонтова мог прочитать осенью 1828 года в изданной пансионом книжке «речей и стихов», произнесенных учениками на торжественном собрании 17 марта 1828 года. Питомец Мерзлякова не отказывался от державинского парения, с традиционного представления гения в образе орла, но романтическая настроенность современной ему русской европейской поэзии подсказывала ему и воззрение на поэта как на «друга богов», «жильца небес», и характерную фразеологию: «огонь небесный», «беспредельность жажда неземная» и т. п. Ликующий гимн поэту звучит в стихах Колачевского:

Вотще стремятся годы, веки;
Вотще племен кипящи реки
Текут в неведомый предел;
Вотще вражда; вотще боренье
Слепых, неистовых страстей
И громозвучное паденье
Престолов, царств и алтарей, —
Ты жив, в красе бессмертно-юной,
Под сокрушительной грозой,
Как рокот арфы златострунной
Под ревом бури роковой!
От первых лет огонь небесный
Глубоко в грудь твою запал,
И, в ней таясь, предел свой тесный
Во храм бессмертный расширял;
От первых лет душа томилась,
Пылала жаждой неземной
И в беспредельность уносилась
За отуманенной звездой.

Молодой автор далее говорит об одиночестве, нищете, тибели великих поэтов. Вслед за античным певцом геро-

¹ По предложению А. Ф. Мерзлякова, был избран единогласно в сотрудники О. Л. Р. С. 18 октября 1827 г. («Сочинения в прозе и стихах», 1828, ч. VII, кн. 21, стр. 218). См. «Словарь членов Общества любителей российской словесности при Московском университете». М., 1911, стр. 131.

■ царей, слепым Гомером, он рисует другой величествен-
ный образ Греции, привлекавший незадолго перед тем
внимание студента А. Полежаева: ¹

Другая тень за тенью вслед,
В темничной мгле чуть блещет свет
И, трепеща, с лампы льется
Он на помост, покрытый мглой,
И светлый дым, струясь, вьется
Над поссделою главой.
С челом спокойным, взором ясным
Стоит могущий: перед ним
Его друзья; они безгласны —
Они в слезах; но неземным
Душа великая пылает:
Пред ним бокал, и в нем сверкает
Не гроздий сок — сверкает яд;
И устремив на скорбных взгляд:
«Друзья, друзья! напрасны вопли!
Взгляните! Светлый пар из тьмы
Несется в скважину тюрьмы —
Он рвется к родине!.. И гроб ли
Предел последний бытия?
Минутна, дети, скорбь земная!
Есть лучший мир, есть жизнь другая —
Мы в ней увидимся, друзья!»
Сказал и выпил. Разрывает,
Сжигает грудь палаящий яд;
Но тих, бесскорбен, отлетает
К туманной родине Сократ.

Колачевский переводил Шиллера и Гете. В июне 1827 года он закончил перевод 2-го явления 1-го действия драматической поэмы «Дон-Карлос», появившийся в редактированном Раичем № 15—16 «Русского зрителя», (1828) ². Ему также принадлежат переводы из Шиллера:

¹ Орывок из поэмы «Смерть Сократа» (из Ламартина). «Сочинения в стихах и прозе. Труды Общества любителей российской словесности», ч. V, 1826, стр. 211—220. Вспоминая судьбу Полежаева, Лермонтов применил к погибшему поэту тему Сократа:

Ты не хотел насмешки выпить яд
С улыбкою притворной, как Сократ..
(«Сашка», СХХ XVII).

² Два первые явления из второго действия той же драматической поэмы Шиллера в переводе Колачевского были напечатаны в «Московском телеграфе», 1829, ч. XXV, № 4.

«Четыре века»¹, «Стон Цереры»² и из Гете: «Безветренный и попутный ветер»³, «Рыбак»⁴. Но первые шаги Колачевского не были работой переводчика, — он начал писать оригинальные произведения в пансионе еще до прихода Раича: 17 января 1826 года он написал стихотворение «К Мечте», которое и было его первым печатным выступлением⁵. Поэт, ученик М. Г. Павлова, обнаруживает наклонность к философскому раздумью; он любит сумрачный пейзаж, когда «природа в сон погружена»⁶; звездное небо, отраженное в воде, символизирует для него смысл человеческой жизни, служит намеком на связь смертного с вечным:

Пылает яркими звездами
Лазурно-светлый небосклон
И, отражаясь в бездне волн,
Сливает землю с небесами. —

Вот, человек, вот образ твой!
Не так ли бог в тебе сияет?
Не так ли Вечного с землей
Твой вечный дух соединяет?..

Поэт взывает к мечте спасти его в «сем мире печале и порока» и избирает своими образцами на поэтический путь Гомера, Оссиана и Тассо:

...Парите, гении веков,
С моим задумчивым мечтаньем,
Как мчатся пещера дыханьем
Воздушны хоры облаков!
Сливайтесь легким сновиденьем
В один небесный идеал,
Как с вашим гордым песнопеньем
Сливался гул, питомец скал...

¹ «Галатей», 1829, ч. VII, стр. 91—93:

Струится в бокалах, как пурпур, вино;
Их гость осушает согласней.
Вот входит певец — а певцам суждено
Прекрасное деять прекрасней...

² «Московский телеграф», 1829, ч. XXVIII, № 13, стр. 57—61.

³ «Московский телеграф», 1831, ч. XXXVIII, № 6.

⁴ «Московский телеграф», 1831, ч. XXXIX, № 12.

⁵ «Сочинения в прозе и стихах. Труды Общества любителей славянской словесности», ч. VII, М., 1828, стр. 163—165.

⁶ См. там же, написанное 17 июля 1827 г. стихотворение «Вечность» с концовкой:

Сладко, сладко мне с тобой,
Мирная природа!
Уголок пустынный мой!
Здесь моя свобода,
Здесь и радость и покой!

Размышления над жизнью преобладают в поэзии Колачевского над описанием объективного мира в его конкретном многообразии. Стихотворение «Волна» — подражание Тидге, поэту, которого переводил Жуковский и которого, будучи за границей, считал нужным навестить Кюхельбекер¹, — одно из типичных для бывшего воспитанника пансиона:

«Куда, Волна, с такою
Ты мчишься быстротою,
Как облако, темна?»
— Я дней твоих Волна.
Брегов покрыта прахом,
Я мчуся сквозь туман,
С доверием и страхом,
Бессмертья в Океан.
Там все струи кристальны:
Там смою прах и я,
И кончу бег мой дальний
Пучиной бытия².

Звезда на небе — символ беспредельного, таинственный знак высших сил, требующий от человека отрешения от повседневных забот для особого душевного напряжения. Эта романтическая тема раскрыта Колачевским в стихотворении «Моя звезда»:

В лазури горит золотая звезда —
О, дайте мне крил,
Полетел бы туда!
Высока, далека,
В беспредельной горит;
То тускла, то ярка
Взор томит и живит.
Я ночи гляжу на звезду, на красу,
В дар светлой души благовонья несусь:
И мечты, и любовь,
И былые года...
Хоть умчались, но вновь
Весь я с ними тогда.
На ту на звезду не гляди, не гляди
С весельем земным, с суетою в груди!
Яркий луч неземной
В грудь заронит укор
И невольной слезой
Отуманит твой взор.
Гляди на звезду, бури света забыв,
Как челн, бытие в море дум устремив,

¹ «Мнемозина», 1824, ч. II, стр. 56—58.

² «Галатей», 1829, ч. X, № 45, стр. 313.

И воспрянешь, как конь,
Грудь легка и свежа,
И созвучий в огонь
Перельется душа ¹.

Тема мгновенности радостей жизни и обретение покоя при мысли о «Звезде желанной» — неотвратимом конце — развернута в стихотворении «Три возраста» ².

Судьба человека — тема большого и мрачно окрашенного стихотворения «Духи рока» ³; мир как арена действий демона, разрушающего все надежды, мечты и планы человека — прекрасные и корыстные, — тема стихотворения «Демон-разрушитель»:

Есть в мире Демон, грозный вид,
Как тучей, Гайною закрыт...
Вот над обычею нависнув,
Он сторожит мгновенье пасть.
И вдруг, когтями жертву стиснув,
Стремит в зияющую пасть.
Вотще она избежать хочет —
Он дико, яростью, хохочет,
...Есть в мире Демон: пусть мечтой
Его считают; но ничто
Не избежит когтей нависших
Над обреченной жертвой им.
Он и властителей и нищих,
Кровавой лютостью томим,
Равно разит — едва захочет, —
Разит — и падшим вслед хохочет ⁴.

Едва ли не единственный раз Колачевский изменил излюбленному им жанру медитаций и апологсв моралистического характера, написав балладу с типичными для школы Жуковского деталями сюжета, пейзажной зарисовки, лексики (образ «чистой красоты») ⁵.

Если Колачевский читал в Обществе любителей отечественной словесности свои переводы и оригинальные стихотворения, он должен был производить впечатление на молодежь как тематикой своей лирики, так и образной системой (не говоря уже о том, что перед слушателями стоял юноша, печатавшийся в журналах наряду с Тютчевым, Шевыревым, Ознобишиным, Раичем и другими поэтами, пользовавшимися тогда популярностью). Колачевский развивался главным образом под воздействием той поэтиче-

¹ «Московский телеграф», 1830, № 8, апрель.

² «Галатей», 1830, ч. XIII, № 17, стр. 39—40.

³ «Московский телеграф», 1830, ч. XXXII, стр. 291—298.

⁴ «Галатей», 1829, ч. VII, стр. 257—259.

⁵ «Месяц. Баллада». — «Галатей», 1830, ч. XIII, № 12, стр. 33—34.

ской школы лириков, которая, следуя романтической немецкой поэзии и французской (Ламартин), культивировала искусство, отрешенное от вмешательства в общественную борьбу. Идейное родство Колачевского с указанными выше поэтами отразилось уже в стилистике его лирики: «стихия жизни», «океан бессмертья», «духи рока», «бездна тьмы», «бездна волн», «бури роковые», «слепые страсти», образ «мира-океана» и т. п.

Тематически более разнообразно творчество Лукьяна Андреевича Якубовича, печатавшегося в 1828—1830 годах преимущественно в «Атенее» М. Г. Павлова. Подобно Колачевскому, в явлениях природы он видел символы, мир представлялся ему вещим знаком инобытия. Таково по смыслу его стихотворение «Зима» (1830):

Смотрю на снежные пустыни:
Лежит, как в саване, земля;
То смерти вид, символ святыни,
Символ другого бытия...

Сорванный цветок вызывает у поэта размышления о скоротечности жизни:

...Цветок! цветок! Не ты ль эмблема
Непостоянных дней?
Мне жизнь — счастливый сад Эдема,
Но миг — и в царстве я теней.
Бесплодно дружество с любовью
Свою мне помощь подадут, —
Покорный вечному условию,
И я умру, как все умрут¹.

Якубович пытался раскрыть свою философию природы: мировая жизнь и человек при кажущемся тождестве различны, так как человек обречен на муки, которые чужды «вечному маятнику» вселенной:

Взглянь на небо: словно тени,
В нем мелькают облака!
Взглянь на землю: поколений
Мчится бурная река!
Что ж земля и небо полны
Треволнений бытия?
То вселенной жизни волны,
Вечный маятник ея!
И в душе стихии те же:
В ней вселенная сполна.
И, как рыбка бьется в мреже,
В мире мучится она².

¹ «Галатее», 1829, ч. VIII, № 39, стр. 100.

² «Волнение», 1832.

Но наряду с произведениями, где природа сама по себе не привлекает внимания поэта, а является лишь поводом для размышлений, у Якубовича есть стихотворения, в которых он обнаруживает свое умение наблюдать конкретные явления, интересоваться ими, окрашивая виденное лирическими настроениями. Таково, например, «Утро на юге», написанное в 1829 году, или стихотворение «Море», написанное в 1828 году в Одессе:

Шумят валы, идут валы
Один другому вслед,
И, разбиваясь о скалы, —
Их пенится хребет.
Лазурь вдали, валы вдали
Кой-где мелькнут серебром
И вот равниною легли,
И вот встают бугром.
Вдали туман, вдали темно,
Темнеют небеса;
Дрожит поверхность, тихо дно;
Яснеет полоса...¹

Заметное место в стихотворениях Якубовича занимает раскрытая в духе романтической школы тема *поэта*: поэт — это «орган небес, пророк избранный»².

Эстетическая теория Л. Якубовича, подсказанная молодому лирику многочисленным хором его романтически настроенных современников — старшего и младшего поколения — поэтов и критиков, наиболее характерно выражена в стихотворении «Звуки»:

Лирные звуки —
Сладость души,
Веселья иль муки
Вы вестник в тиши?
И что знаменует
Сей сладостный звук,
Что сердце тоскует,
Что мучит без мук?
То вестники неба
Об лучшей стране,
Нам в мраке Эреба
На радость оне.
Они знаменуют
Надежду — не страх,
И ясно толкуют

¹ «Атеней», 1830, ч. I, № 5, стр. 402—403.

² «Поэту». — «Атеней», 1829, ч. IV, № 19, стр. 86.

Об родине нашей —
Родных небесах.
О родины звуки!
Неситесь ко мне,
И в горе и в скуке
Бы сладостны мне¹.

Круг литературных интересов Л. Якубовича был довольно разносторонен. Писатели античного мира — Федр², Феокрит («Феокриту», 1832); персидские поэты — Саади («Птичка», 1832), Гафиз («Гробница Гафиза», 1831); Камюэнс (1829), Шекспир (1833), Гете («Филомела», 1831) сочетались у него с влечениями к поэзии корана и к фольклору разных народов. Вслед за Пушкиным и почти одновременно со своим товарищем, студентом Московского университета, А. Ротчевым, сотрудником «Атеней» и «Галатеи», Л. Якубович явился пропагандистом священной поэзии мусульманского Востока. В «Атенее» (1829, июль, № 12) появился его перевод «ХСІ главы из Ат-Корана»:

Клянусь солнцем и луною,
Клянусь ночью и днем,
Клянусь небом и землею,
Клянусь ослицей и конем;
Клянусь Тем, Кто нам от века
Способность умственную дал,
Кто создал все — и человека
Для наслаждения создал...³

Из подражаний народным песням отметим у Л. Яку-

¹ «Атеней», 1830, ч. I, № 4, стр. 393. Как и у Колачевского, у Якубовича нередко употребление слова «бытие»: см. в стихотворении «Ропщущему» — «чаша бытия» («Атеней», 1829, август, № 16).

² «Атеней», 1829, ч. IV, стр. 87. Басня Федра переиздана с небольшими вариантами в «Стихотворениях» Л. Якубовича, 1837.

В той же книжке «Атеней» было напечатано стихотворение Ротчева «Из Соломона» (стр. 559—560). В 1828 г. вышли «Подражания корану» А. Ротчева (цензурное разрешение книги 12 ноября 1827 г.); книга посвящена княжне Елене Павловне Гагариной, в ней 12 стихотворений; первое начинается в колоритном восточном стиле:

Клянусь коня волнистой гривой
И брызгом искр его копыт,
Что голос бога справедливый
Над миром скоро пролетит.
Клянусь вечернею зарею
И утра блеском золотым:
Он семь небес своей рукою
Одно воздвигнул над другим!..

бовича грузинскую песню, венгерскую песню и «украинские мелодии» (1831) ¹.

Якубович был на Кавказе:

Я видел Кавказа седые вершины;
Цветущие вечно, как в мае, долины;
Вершину Казбека и царство зимы.
Я видел долины: эмблемы там мира,
Оливы и мирты бессменно цветут.
О край вдохновений! страна Кашемира;
Там в счастье, неге дни смертных текут.
Но все, что я видел, меня не прельстило, —

восклидал он в стихотворении «Возвращение». «Мысленно стремясь на север залететь», он испытывал «горечь и скуку» на берегу «южного моря» и даже сравнивал себя с Прометеем:

...У моря, у пустынной скалы,
Казалось, надолго судьба приковала
Меня, как Юпитер во гневе, казня,
Как хищная птица, страдальца терзала... ²

Однако Якубовича привлекла тема искренней, бескорыстной любви горянки, — он назвал свое стихотворение «народной грузинской песнью»:

Плачет, плачет дева гор:
Русской, дай твой встретить взор.
Там, где давят виноград,
Первый встретила я взгляд;
Там меня ты полюбил,
Много золота сулил.
Не хочу я денег, злата:
Я с тобой всегда богата,
А без милого, одна,
Я и в золоте бедна.
Ты сулил мне, дорогой,
Ценный перстень золотой,
Не дари меня ты им, —
Ценным перстнем золотым;
Не дари меня нарядом,
Подари улыбкой, взглядом,
Поцелуем подари —
Знаком пламенной любви ³.

В «Венгерской песне» Якубович эпиграфом взял начало где-то прочитанной им песни: *Sniko mi se ieto posi...* принявшей в его обработке следующий вид:

¹ См. еще «Расставание» (1832). В позднейшем стихотворении «Русская сабля» (1836), также образы народной поэзии; «До Гермаицины» напечатано было по-украински в «Телескопе», 1835, № 12.

² «Атеней», 1830, ч. II, апрель, стр. 217—218.

³ «Атеней», 1828, т. VI, № 22, стр. 142.

Снилось мне в эту ночь,
 На яву точь-в-точь,
 Что томна и больна
 Молодая жена,
 И другой видел сон,
 Был печальнее он,
 И в очах тмится свет,
 Мой увял милый цвет.
 А едва день настал,
 Я ее потерял.
 Я ее пережил,
 Я с ней все погубил.
 Потемнел в очах свет:
 Мой увял милый цвет¹.

Повторение образа увядшего цветка, с применением к судьбе человека, и другие печальные иносказания в лирике Якубовича придают ей пессимистический оттенок. Лирическое «я» поэта звенит надтреснуто, скорбно; poeta не радуется то, что его окружает; он дружен с печалью, но не с утехами жизни. Одно из его стихотворений так и названо — «Печаль»:

Печален я; печаль, как камень,
 На сердце налегла,
 А душу жжет жестокий пламень,
 И скука и тоска.
 Судьба железною рукой
 Преследует меня².

Другое его стихотворение — «Распутье» (1831) — начинается печальным мотивом:

Как юный путник пред грозой,
 Стою печально-мрачен я:
 Куда идти, какой стезею,
 Куда влечет судьба моя?..³

Лишь надежды на будущее освещали поэту мрачную дорогу его настоящего. В стихотворении «Надежда» он взывал:

Молю, отрадная надежда,
 Молю, меня не оставляй!⁴

¹ «Атеней», 1829, ч. III, № 8, стр. 551.

² «Атеней», 1830, № 10, стр. 268.

³ И в 1834 г. он признавался:

Бывают дни, дни черныя печали,
 Когда, не отживя, — вы жизнь уже познали,
 Когда на сердце вам, как аспид, налегла
 Суровых опытов безжизненная мгла.
 Те страшны дни! — они с безумием граничат,
 Друзья вас не поймут иль муки увеличат,
 Ты понял, друг, меня, ты сердцем отгадал.
 Как много я терпел, как молча я страдал!..

⁴ «Атеней», 1828, ч. V, № 17, стр. 23.

В другом стихотворении, «Три века» (1831), он выражал уверенность, что хоть и не скоро, но должно наступить время счастья для человечества:

...Но в третий век прошла невзгода,
Затихла буря, свет проник:
И процвела опять природа,
И лучший мир опять возник...

Менее продуктивен, чем Колачевский и Якубович, был в первые годы после окончания пансиона третий указанный Раичем поэт — С. И. Стромилов¹. В «Атенее» он напечатал только одно стихотворение «Орел», вызванное турецкой кампанией (1828—1829 гг.). Патриотический пафос был облечен в общие формулы, лишённые подлинно творческого настроения поэта. Образ парящего орла, несущего гибель добыче, которую увидел он с вышины, вызывает у поэта мысли о русском оружии, военных победах на востоке:

Недавно ты на верх Балкана
С птенцами мощными летал;
Твердыни, царство Мусульмана
Единым взором пожирал! —
Ты пожирал! — и на Царь-Граде
Свой быстрый взгляд остановил
И пробудившейся Элладе
Оливу мира подарил².

На весеннем акте 1830 года С. Стромилов прочитал стихотворение «Смерть Сократа»³ — тема после Колачевского уже не новая в Университетском пансионе. Лирика Стромилова — преимущественно риторические воспоминания об исторических событиях, государственных деятелях, вещественных реликвиях прошлого, иногда — о крупнейших представителях литературы и искусства. То, что Стромилов, говоря в одном из позднейших сонетов о Пушкине, не вспомнил об «Евгении Онегине» и «Борисе Годунове» — произведениях, начинавших новый, реалистический период в русской литературе, — показывает, что этот питомец пансиона был чужд идейным исканиям молодежи, которая была застрельщицей в разного рода литературных начинаниях.

В журналах той поры, когда учился Лермонтов, нередко можно встретить фамилии воспитанников пансиона:

¹ Окончил пансион в декабре 1829 г.

² «Атеней», 1830, ч. III, август, стр. 196—197.

³ «Дамский журнал», 1830, апрель, № 17.

В. Мещеринов напечатал в «Дамском журнале» 1829 года (№ 35) переведенную с французского статейку о военном деятеле революции XVIII века — Марсё, который спас девушку из Вандеи, впоследствии все-таки казненную. В том же журнале 1830 года (№ 10) он поместил переведенную с французского статью «Ангелика Кауфман» («Дамский журнал», 1830, № 45—46)¹. Младший брат В. Мещеринова, Петр, в той же книжке «Дамского журнала» напечатал «Анекдот» (перевод с французского). В возрасте четырнадцати лет (в 1829 г.) стал печататься Сергей Строев; в «Атенее» 1830 года он напечатал главу «Галилей» — перевод с итальянского «из составляемого курса итальянской литературы лектором итальянского языка при Московском университете г. Рубини»².

Дмитрий Милютин, любивший рыться в отцовской библиотеке, делать выписки, переводы (роман «Якарей Уасу»), весной 1831 года издал две книжки: «Руководство к съемке планов» и «Опыт литературного словаря» (Соч. Д. М.)³. Эта объемистая книга быстро получила отзыв в «Московском телеграфе»; рецензент, указав, что руководителями автора были Мерзляков и Дубенский — теоретики старой школы⁴, — что в книге нет нового, а новое, по его мнению, — в Шлегелях, г-же Сталь, Жан-Поле, Шиллере, в новых французах — (Гюго, Сент-Бев) и пр., все же заключал свой отзыв похвалой: «приятно видеть молодого человека, ищущего истины и просвещения, хотя бы и не по прямой дороге к их храму»⁵. Словарь Д. Милютина очень показателен для характеристики той ступени литературного образования, на которой стояли талантливые ученики пансиона. В определении литера-

¹ См. в «Атенее», 1828, ч. V, № 17, обширное примечание А. Зиньковского о художнице Кауфман с цитатой из стихотворения Державина:

Живописица преславна,
Кауфман, подруга муз!

² Часть IV, стр. 97—100. Сергей Строев подписался под своим переводом «С'рг'й Стр. в» (Москва). В статье были ссылки на Бэкона, Декарта и других философов.

³ Цензурное разрешение 9 марта 1831 г. Цензором словаря был С. Т. Аксаков, с которым Д. А. Милютин познакомился летом 1831 г.

⁴ Д. Милютин в предисловии отметил, что руководством для него служила «Пинтика» Мерзлякова и «Опыт о народном русском стихосложении» Дубенского. В тексте книги он указывал также на «Риторикку» Мерзлякова.

⁵ «Московский телеграф», 1831, ч. 42, стр. 325—326.

турных терминов и грамматических категорий Милютин конечно, следовал своим учителям, пользуясь также энциклопедическими словарями: так, например, по Мерзлякову, он писал, что «поэзия есть гармоническое, мерною речью выраженное описание изящного в природе или чувств высоких и нежных. Главная цель поэзии есть нравственное убеждение, удовольствие и приятность. Сущность состоит не в наружном виде, располагаемом отдельными и мерными строками, на известных правилах основанными и называемыми стихами, но на внутреннем жаре, порывах воображения и фантазии; одним словом в мыслях» (стр. 117). Знаменательно в этой формуле убеждение юного автора в том, что существо поэзии — *мысль*, идейная содержательность. С этим мерилom прежде всего подходили ученики пансиона к писателям, — особенно современным, — и к своим товарищам, выступавшим перед ними в литературном кружке. Немалые трудности возникали перед Милютиным, когда приходилось относить сочинения любимых поэтов к тому или иному литературному виду. О «Руслане и Людмиле» он, например, писал: «отличнейшее произведение Пушкина, названное поэмою, в некотором отношении могло бы относиться к балладе» (стр. 25). Давая сжатые определения поэтическим жанрам, разнообразным видам прозаических сочинений, Милютин приводил примеры из русской, античной и многонациональных литератур Запада. Под дидактическими стихотворениями мы встречаем в его книге Пифагора, Солона, Гезиода, Дионисия, Катона, Лукреция, Виргилия, Горация, Роллена, Вольтера, Делиля, Попа, Юнга, Виланда, Ломоносова, Хераскова, Державина, Батюшкова, Жуковского, Капниста и многих других (стр. 55). К известнейшим писателям истории он относит Саллюстия, Тита Ливия, Геродота, Роллена, Боссюэта, Миллота, Вольтера, Рейналя, Юма, Голдсмита, Гиббона, Гереня, Шрека, Шлецера, Миллера, Ломоносова; «в наше время: Гизо, Нибур (скончавшийся в прошедшем году) и проч.» «Русскую историю писали: Карамзин, Глинка, Полевой, Строев и проч.» (стр. 81). Милютин цитировал не только известнейших русских поэтов XVIII и начала XIX века, но делал ссылки на Рубана и Хомякова; ссылался на стихотворения «незабвенного Веневитинова», на вышедшую в 1829 году поэму Козлова («Безумная»), роман Булгарина «Дмитрий Самозванец», напечатанный в 1830 году, эпиграмму Пушкина по «Московскому вестнику» (1827,

№ 6); о романе Загоскина писал: «Юрий Милославский» есть только один зачаток (русского романа) — и зачаток, поразивший и обнадеживший русскую литературу... Впрочем, это поле у нас еще не обработано» (стр. 138 — 139). Образцы *легкости* в прозе автор видел в Карамзине, Батюшкове; в стихотворениях — в Батюшкове, Пушкине (стр. 86); среди повестей указывал «недавно вышедшее прекрасное сочинение Ушакова *«Киргиз-Кайсак»* (стр. 115). Ему известны имена Эшенбурга, Ансильона, Шлегеля, Надеждина, — словом, семнадцатилетний автор словаря обнаружил такую осведомленность в литературных явлениях (во многих случаях хотя бы только номенклатурную), такое умение давать точные формулировки, такое широкое понимание самого принципа построения задуманного им труда, что нельзя не подивиться результатам этого труда, сочиненного отнюдь не литературоведом. Один раз Милютин даже вступил в полемику по вопросу о правильности языка с кумиром своего поколения — с самим Пушкиным. Приведу его лингвистическое рассуждение: «глагол *отказать* с винительным значит отдать: напр., *отказать имение*; но с предложным значит — не согласиться на просьбу: напр., *отказать в имении*; посему Пушкин здесь сделал погрешность, сказав:

Не он ли помощь Станиславу
С негодованьем отказал.

(Полтава) ¹

Знакомство с книгой Д. А. Милютина наглядно показывает, как ученики пансиона внимательно следили за текущей словесностью, журналистикой, — следовательно, были в курсе современной литературной борьбы; слышали и читали о спорах среди русских историков (об отношениях к «Истории государства Российского» Н. Полевого, автора «Истории народа русского»), о новейших исторических концепциях французской школы (Гизо), об особенностях русского исторического романа (Загоскин, Булгарин) и т. д.

Характерным для пансионских настроений был облик Николая Милютина, учившегося в одном классе с Афанасием и Петром Мещериновыми, Н. Сазоновым и Н. Сатиным. По воспоминанию его брата, Дмитрия Алексеевича, Н. Милютин писал стихи, повести, излагал свои воз-

¹ У Милютина при этом ссылка на «Etudes de la langue française», стр. 186—187.

зрения на теорию драматических произведений, собирався написать в оригинальной форме драму «Манфред»; вообще весь был поглощен драматургией, часто посещал театр, участвовал в домашних спектаклях¹, для которых сам сочинял пьесы; в Университетском пансионе даже разыгрывалась его драма «Амалат-бек», переложенная из повести Марлинского². В письмах к брату из пансиона он постоянно указывал на свои раздумья и переживания в мрачной, байронической окраске.

Страстным театралом был одаренный юноша, одноклассник Д. Милютина и С. Строева, Константин Булгаков, «артист по природе, отличный музыкант и певец по призванию»³. Ему, прекрасному декламатору, было поручено прочитать на акте 6 ноября 1831 года стихотворение П. Степанова «Дунай»⁴. В пьеске «Праздник в селе Рождествене», сочиненной его отцом А. Я. Булгаковым и представленной у князя Д. В. Голицына 29 декабря 1829 и 6 января 1830 годов, он изображал крестьянского мальчика, играл на балалайке; участниками этого представления были известные московские красавицы: Н. Н. Гончарова, о которой в «Дамском журнале» было написано: «Мы видели... небесную Пери»⁵, А. В. Алябьева, С. Н. Горсткина, В. С. Ланская и другие.

К. А. Булгаков к тому же был искусный фехтовальщик и отличный танцор, посылаемый начальством пансиона на великосветские балы⁶. Вот эту сторону внешних успе-

¹ Его мать говорила о нем: «театр вскружил ему голову».

² Спектакль состоялся на зимних каникулах 1832/33 г.

³ Русский архив, 1869, стр. 349 (из воспоминаний Мих. Лонгинова). См. еще письмо А. Я. Булгакова к брату от 11 августа 1831 г.: «У Кости составилась очень приятный голос, и так как ухо у него необыкновенное, то он пел с Бартеневою какие она хотела дуэты, хотя их и вовсе не знал».— «Русский архив», 1902, кн. 1, стр. 82—83.

⁴ Отец К. А. Булгакова, А. Я. Булгаков, писал в Петербург своему брату 7 ноября 1831 г.: «вчера был акт в пансионе Костином. Он славно сказал свое стихотворение «Дунай», громко, внятно и с чувством; называя государя, обратился к портрету его величества, за кафедрою висящему. Князь Сер. Мих. (Голицын), (И. И.) Дмитриев и все тут бывшие его похвалили, а князь Ливен (мин. нар. просв.) вручил ему книгу с надписью, в награду ему назначенную. Был тут Жуковский...» — «Русский архив», 1902, кн. 1, стр. 127.

⁵ Ч. XXIX, № 3, стр. 43.

⁶ Будучи воспитанником пансиона, К. Булгаков был выбран вместе с пятью товарищами из бал к князю С. М. Голицыну 11 ноября 1831 г. А. Я. Булгаков извещал своего брата об успехах сына: «Когда Костя танцевал фр(анцузскую) кадрили, то государь глядел

хов талантливому дилетанту в великосветской среде, по
мелочам разменивавшего свое дарование, Лермонтов рез-
ко заклеил в эпиграмме:

На вздор и шалости ты хват
И мастер на безделки
И, шутовской надев наряд,
Ты был в своей тарелке;
За службу долгую и труд,
Авось, на место класса
Тебе, мой друг, по смерти дадут
Чин и мундир паяса.

Таков приблизительно был состав молодежи, кото-
рая активно участвовала в Обществе любителей оте-
чественной словесности и оставила свои имена как в ле-
тописях пансиона, так и на страницах тогдашних журна-
лов. Лермонтов вращался среди товарищей, интенсивно
живших умственной жизнью, горячо волновавшихся во-
просами искусства, литературы, театра. Его поэтические
наклонности нашли в пансионе питательную атмосферу;
мало того, высокий уровень культурных интересов талант-
ливой молодежи поднимал его умственную энергию, тре-
бовал напряжения, чтоб находиться в первых рядах. За
отсутствием протоколов пансионского литературного круж-
ка мы не знаем, какую роль играл в нем Лермонтов, что
читал он на заседаниях. Можно лишь предполагать, что
переводы из Шиллера («Баллада», «Перчатка») и Т. Му-
ра во всяком случае могли быть прочитаны поэтом как
стихотворения, соответствовавшие программным установ-
кам пансиона. Равно не стал бы возражать против публич-
ного чтения таких стихотворений, как «Наполеон» (1829
и 1830 гг.), так как и в «Галатее» он дал место стихотво-
рению Тютчева «Могила Наполеона» (1829, ч. 2), пере-
водной с английского статье «Бонапарт на острове
св. Елены в августе 1817 года» (1829, ч. 2), а в «Русском
зрителе» поместил стихотворение «Гробница Наполеона»
(1828, № 15 и 16). Но, если нет точных данных для
определения места Лермонтова в официальном литератур-
ном обществе, то можно считать бесспорным, что при-
знанным пансионским поэтам он уже в 1828 году мог
противопоставить свои произведения в том жанре, на ко-
торый они не решались: я имею в виду поэмы «Кавказ-

на него и сказал, кажется, Олсуфьеву: «c'est le seul — de tous ces mes-
sieurs, qui dance bien et qui soit bien tourné». («Русский архив»,
1902, кн. 1, стр. 138, 142).

ский пленник» и «Корсар». В этом жанре он продолжал писать в пансионе в 1829 и 1830 годах¹, в отличие от печатавшихся в «Галатее» и «Атенее» Н. Колачевского, Л. Якубовича и других питомцев пансиона. Уже одно это обстоятельство: Лермонтов — автор больших поэм — ставило его в глазах учащихся на особое место. Лирические стихотворения его также носили своеобразный отпечаток чрезвычайной сгущенности трагедийной темы, острой памфлетности, резко подчеркнутого протеста против политического гнета, яркой окрашенности субъективных переживаний личности, не находящей покоя, разъедаемой собственными противоречиями. То, что товарищи Лермонтова читали в журналах; в сочинениях поэтов с мировым именем, — в его стихотворениях они встречали с большей нагрузкой ужаса, мрачности, с умноженными подробностями горькой патетики. «Ночь I» должна была казаться еще ужасней, чем сочинение Жан-Поля Рихтера «Уничтожение»², где болезненному воображению Оттомара привиделся конец вселенной, картина загробного мира, где Оттомар увидел свинцовый гроб, в котором его тело распадалось на части, таял его мозг и т. д.; «Ночь II» была насыщена мрачными деталями, дополнительными сравнительно с «Тьмой» Байрона и подражанием этому стихотворению в «Русском зрителе» (1828, № 13 и 14). Лермонтов вступал в переключку с выдающимся поэтом пансиона — Колачевским: его «демон-разрушителю» он противопоставлял своего демона, демонстративно озаглавив, вслед за Пушкиным³, свое стихотворение — «Мой демон». Стихия лермонтовского демона — «собрание зол»; но, если демон Колачевского злобно хохочет, торжествуя над своей жертвой, — демон юного поэта «сидит уныл и мрачен», равнодушно сея зло, в то же время любя «бури роковые, и пену рек, и шум дубрав», неземное существо⁴ с земными страстями. «Элегия» (1829) Лермонтова острее касалась темы одиночества, чем это было раскрыто в лирике Якубовича, и если тот изнемогал под ударами судьбы, Лермонтов жаждал борьбы, новых впечатлений жизни:

¹ На автографе «Джюлио» Лермонтов написал: «Вступление (1830 года) великим постом и после...»

² В «Московском телеграфе», 1829, июнь, № 12. Перевод И. Ср. — Кмш. (И. Среднего Камашева).

³ «Мнемозина», 1824, ч. III, стр. 11—12.

⁴ Ср. «неземные очи».

.. Ищу измен и новых чувствований,
Которые живут хоть колкостью своей
Мне кровь, угасшую от грусти, от страданий,
От преждевременных страстей!..

Если Колачевский, вслед за Жуковским, представлял себе «лазурную пристань — загробный мир — спасением от «вихря бедствий» на земле, то Лермонтов гордо заявлял:

... Я не пленен небесной красотой;
Но я ищу земного упоенья...
... мне милей страдания земные:
Я к ним привык и не оставлю их...
(1829)

Покорная резиньяция пансионских поэтов «Галатен» и «Атеней» встречала отпор в их младшем товарище:

Я на творца роптал, страшась молиться!.. —

заканчивал он стихотворение, в котором посылал проклятья земле — «гнезду разврата, безумства и печали». Оригинальный гений юноши был замечен его талантливыми товарищами: Д. Милютин и С. Стрсов, наиболее начитанные и врашавшиеся в литературном мире¹, весьма дорожили его сотрудничеством в своих изящно изданных журналах. Каждый из них чувствовал, что Лермонтов — подлинный поэт; стихи Лермонтова убеждали автора литературного словаря в правоте его убеждения: «разумеется, что поэзия есть необыкновенный дар, принадлежащий не всем людям, дар, с которым рождаются. Гораций говорит:

«Nascuntur poëtae»²

Сам Лермонтов, пленившись образом Рафаэля в рассказах своего учителя А. Зиновьева, который любил ссылаться на статью Жуковского о Рафаэлевой картине³, рано стал сознавать, что истинный поэт вкладывает в свои произведения «всю душу» («Поэт», 1828).

В замечательной «Молитве» (1829), обращаясь к Всевышнему, чтоб тот не обвинял его за то, что «редко в душу входит живых речей его струя»:

И часто звуком грешных песен
Я, боже, не тебе молюсь... —

¹ Д. А. Милютин нередко встречал Пушкина у своего дяди С. Д. Киселева, женатого на Е. Н. Ушаковой.

² «Опыт литературного словаря», Соч. Д. М., М., 1831, стр. 118.

³ «Полярная звезда», 1824, стр. 241 (ср. «Московский телеграф», 1826, ч. VIII, стр. 331).

¹⁰ Ч. Л. Бродский

Лермонтов заявлял, что он тогда обратится на «тесный путь спасенья», станет походить на простых смертных, бредущих по земле, когда клокочущая в нем «лава вдохновенья» затихнет, когда «сей чудный пламень, всепожирающий костер» будет в нем погашен, когда его сердце обратится по воле творца в камень, когда его «голодный взор» остановится; но разве можно назвать жизнью, когда судьба освободит его от «страшной жажды песнопенья»? В этой автохарактеристике пятнадцатилетнего подростка — весь Лермонтов, оригинальнейший из всех своих современников-поэтов по исключительной напряженности душевной жизни, по беспредельному горению психологических переживаний, бунтарской волеизъявленности и страстной вере в свое высокое призвание поэта¹. Читая «Молитву», понимаешь, почему Лермонтов не спешил отдавать свои стихи в печать: ему казалось, что он далеко еще не нашел своей, особенной, дороги, что, звезда его поэзии полным светом загорится лишь в нескором будущем... И только уступая любимому наставнику, М. Г. Павлову, перед выходом из школы он передал в «Атеней» свое стихотворение «Весна», которое и появилось за подписью «L» в сентябрьской книжке 1830 года, в журнале инспектора Университетского пансиона. Это было первое печатное стихотворение Лермонтова:

ВЕСНА

Когда весной разбитый лед
Рекой взволнованной идет,
Когда среди лугов местами
Чернеет голая земля,
И мгла ложится облаками
На полуиюные поля,
Мечтанье злое грусть лелеет
В душе неопытной моей;
Гляжу, природа молодеет,
Не молодеть лишь только ей:
Ланит спокойных пламень алый
С собою время уведет,
И тот, кто так страдал, бывало,
Любви к ней в сердце не найдет².

1

Лиры звук дрожащий, звонкой
Мне волнует также кровь (1829).

Все изменило мне, везде отравы,

Лишь лиры звук мне неизменен был... (1829)

² «Атеней», 1830, ч. IV, стр. 114. Цензурное разрешение сентябрьской книжки дано 10 мая. Исправляем опечатку «Атеней», где было: «но молодеть...»

Лермонтов, будучи еще воспитанником пансиона, часто посещал театр. Он был в восхищении от игры артистов Малого театра, особенно от игры Мочалова. В спорах о преимуществах дарования московского артиста и петербургского трагика Каратыгина он был на стороне тех, кто защищал первого¹. В 1829 году он писал Марии Акимовне Шан-Гирей: «помните ли, милая тетенька, вы говорили, что наши актеры (московские) хуже петербургских. Как жалко, что вы не видали здесь «Игрока», трагедию «Разбойники». Вы бы иначе думали. Многие из петербургских *господ* соглашаются, что эти пьесы лучше идут, нежели там, и что Мочалов в многих местах превосходнее Каратыгина». Лермонтов присутствовал на представлении переводной мелодрамы Дюканжа «Тридцать лет, или жизнь игрока»². Об игре Мочалова, «восхищавшего до упоения», один из бывших студентов тридцатых годов вспоминал: «В «Жизни игрока» он был неподражаем»³; по поводу трагедии Шиллера тот же сверстник Лермонтова писал: «Когда играли «Разбойников» Шиллера в первый раз⁴, игра Мочалова до того была восхитительна, что вся публика, которой, разумеется, было битком набито, была в каком-то оцепенении. До сих пор не могу забыть поразительной игры в сцене свиданья Карла Моора с своим отцом. Когда к нему товарищи его, раз-

¹ В «Московском вестнике» (1827) по поводу игры Каратыгина и Мочалова в трагедиях «Коварство и любовь» и «Гамлет» было четко сформулировано отношение московской и петербургской публики к обоим артистам. Каратыгин декламирует, «наш москвич Мочалов, который и в трагедиях, в стихах не только не поет, не докламирует, но даже не читает, а говорит... *как и все люди*, должен был не понравиться петербургской публике» (ч. XII, стр. 150—151). В этой обширной статье Л. Р. Т. дана отличная сравнительная характеристика Каратыгина и Мочалова. В «Московском телеграфе» (1829) театральный критик В. У. восторженно писал о Мочалове: «отличный актер, имеющий мало подобных себе в России и едва ли много в целой Европе. Энтузиазм, возбуждаемый его превосходною игрою в московской публике (которая, право, не глупее всякой другой), может служить самым убедительным доказательством необычайного таланта Мочалова... Этот самый Мочалов не имел счастья понравиться в Петербурге» (№ 17, сентябрь, стр. 267).

² Первый спектакль был 20 января 1829 г.
³ «Волосы становятся дыбом и сердце обливается кровью», — писал рецензент «Молвы» (1831, № 8), вспоминая игру Мочалова в этой пьесе.

⁴ 31 января 1829 г. В рецензии С. Т. Аксакова указывалось на обезображенный перевод трагедии («Галатея», 1829, ч. II № 7).

бойники, вынесли из подземелья башни дряхлого и едва живого старика, и он, обращаясь к ним, сказал, указывая на старика — *это отец мой*, — то в театре, среди мертвой тишины, вдруг послышался невольный стон всей публики. У меня волосы стали дыбом, и замерло дыхание, и на меня после этого ни один уже актер не производил такого впечатления»¹. В том же году, когда Лермонтов извещал М. А. Шан-Гирей о своих театральных впечатлениях, приехавший в Москву Белинский спешил поделиться своими восторгами с родными (в письме 9 октября 1829 г.): «Я был четыре раза в театре... Видел в ролях *Отелло* и *Карла Моора* знаменитого *Мочалова*, первого лучшего трагического московского актера, единственного соперника *Каратыгина*. Гений мой слишком слаб, слишком ничтожен, недостаточен, чтобы достойно описать игро сего неподражаемого актера, сего необыкновенного гения сего великого артиста драматического искусства». Герцог рассказывал, как на представлении «Разбойников» он, *задышавшись*, смотрел на эту юношескую поэму, — сам юноша, — на это страдание Шиллера, принявшее плоть в *Карле Мооре*, на этот разврат его века, принявший плоть во Франце; как он *бывал болен душой* при представлении Шекспира и Шиллера. Мочалов и раскрывал перед современной молодежью с необычайной силой сценической выразительности пафос страдающей личности, ее мятежный протест против угнетающего общественного строя. В его игре молодой Лермонтов находил созвучные себе настроения, воспламенялся его «страстной игрой»², рисовал в воображении героические натуры, наделенные *мочаловскими* страстями. Не надо забывать, что одновременно с Мочаловым в московском драматическом театре играл М. С. Щепкин, величайший представитель художественной правды на сцене, родственный гению Мочалова гуманистической трактовкой образов и патетикой чувств, электризовавший зрительный зал громадной силой переживаний в трогательных ситуациях. Славу этих первоклассных мастеров делили: трагическая актриса Львова-Синецкая. Репина, комические актеры Сабуров и его жена, Живокни. Оперный театр блистал Булаховым, балет — танцов-

¹ «Русский архив», 1881, кн. 1, стр. 117.

² Один из студентов конца двадцатых годов писал: «вся Москва была очарована Мочаловым, который своей самобытной, естественной, страстной игрой потрясал слушателей» («Русский вестник», т. СХХIV, стр. 138).

ицей Гюллен-Сор¹. В первые же годы московской жизни Лермонтов видел волшебную оперу «Пан Твардовский» (музыка Верстовского)². Феерическая обстановка, фантастический сюжет³, песни и пляски цыган понравились подростку: у него возник план написать либретто оперы из жизни цыган, но на более реалистической основе, под сказанной поэмой Пушкина. Лермонтов любил петь «во весь голос и до потери дыхания» из оперы Россини «Семирамида», популярность которой у московской публики засвидетельствована многими фактами: 29 декабря 1829 года на вечере у Д. В. Голицына был исполнен дуэт из «Семирамиды» с участием П. А. Бартеневой⁴; на музыкальном вечере у Н. В. Ушакова 1 февраля 1830 года рондо из «Семирамиды» было пропето Е. Н. Ушаковой, пение которой, как известно, любил слушать Пушкин⁵. Особенно славилась исполнением Россини П. А. Бартенева, голосом которой был восхищен Лермонтов:

Скажи мне, где переняла
Ты обольстительные звуки,
И как соединить могла
Отзывы радости и муки?
Премудрой мыслию вникал
Я в песни ада, в песни рая,
Но что ж? — нигде я не слышал,
Того, что слышал от тебя я!

Лермонтов часто играл на фортепиано увертюру из оперы Обера «Немая из Портичи», о сюжете и о значении которой он мог прочитать в «Галатее», в «Отрывках из писем русского путешественника» (Берлин, 5 мая н. с.): «сия опера занимает то же место между сочинениями сего рода, как Вильгельм Телль между трагедиями. Здесь

¹ Белинский писал родителям 9 октября 1829 г.: «Что же касается до комедии и опер, то я не знаю, может ли что-нибудь быть во всей нравственной и физической природе совершенней представлений оных. Лучший комический актер здесь Щепкин; это не человек, а дьявол, вот лучшая и справедливейшая похвала его».

² Первое представление 24 мая 1828 г. Спектакли с успехом продолжались в 1829 и в 1830 гг.

³ По пьесе Загоскина.

⁴ «Дамский журнал», 1830, № 3: «сильный, обширный, ученый и удивительный голос девицы Бартеневой, наследовавшей необыкновенные музыкальные таланты от матери. Юная кантатриса пела дуэт из Семирамиды с Ф. Я. Скарятиним, имеющим прекрасный тенор-бас» (стр. 45).

⁵ «Дамский журнал», 1830, № 8, стр. 126.

так же, как и в Телле, народ есть герой пьесы... Сцена на рынке, в начале 3 действия, и финал его — торжественная молитва мятежников — суть явления, единственные в своем роде. Впечатления, ими производимые, потрясают душу самую холодную»¹.

Лермонтов посещал симфонические концерты, любил музыку Бетховена: «Согласный гимн колоколов» московских церквей напоминал ему «чудную, фантастическую увертюру Бетховена, в которой густой рев контрбаса, треск литавр с пением скрипки и флейты образуют одно великое целое».

Но не только классическая музыка и произведения современных композиторов, европейских и русских, входили в программу тех концертов, на которых бывал Лермонтов: русская народная песня в сольном или хоровом исполнении, аранжированная знатоками Д. Кашиным, А. Алябьевым и другими, часто звучала на музыкальных вечерах, посещавшихся светским обществом. Русские песни пела Бартенева, на одном из концертов Зонтаг дважды спела песню «Я гоняла стадо в лес» и вызвала бурю восторгов песней «Соловей мой, соловей» (музыка Алябьева)².

Народная песня, народные театры, лубочный театр в исполнении народных певцов, плясунов и актеров были обязательной принадлежностью народных гуляний под Новинским, в Марьиной роще, в Сокольниках, куда съезжалось московское общество в известные дни — на пасхальной неделе, 1 мая, в семик. Дети и взрослые толпились под Новинским, где устроено было более двадцати качелей, несколько каруселей, около десятка разных театров, ярко расписанных и построенных в одну линию. Татьяна Пассек, «корчевская кузина» Герцена, восторженно вспоминала эти гулянья (в 1829 г.): «Ежели в прозаической жизни Москвы есть что-нибудь фантастическое и поэтическое, то это ее гулянья, ее Подновинское, ее 1 мая. Люди, усталые от зимы, город, перемерзнувший от стужи, идут под Новинское встретить весну; люди, усталые от поста, идут под Новинское встретить праздник... Эскипом выстроенный город, с кабаком в начале, ресторацией «Яра» в конце и комедиями в середине, зовет всех: кого весной, кого барабаном и музыкой, кого дорожкой посылает».

¹ «Галатей», 1829, № 23, стр. 91—93.

² «Московский телеграф», 1830, ч. XXXIV, стр. 129.

панной желтым песком. Там вы увидите, как наш добрый мужичок, отделенный перегородкой от посыпанной песком дорожки, выпивши стаканчик вина, с детской простотой души хохочет над фаянсом и обезьяной. Увидите, бывало, писцов, забывших о существовании канцелярий, секретарей, экзекуторов, — в бархатных галстуках и жилетах, в панталонах с лампасами и с шляпою набекрень; бывшие московские щеголи — дурные издания щеголей парижских, нечто вроде брюссельских контрафакций; *beaute monde* в итальянских соломенных шляпках, в корсетах *madame Ré* — бледный, кружевной, блондовый; там встречались люди эполет, аксельбант, выпушек, петличек, правительствующий сенат и медико-хирургическая академия. Споконе века мы любили Подновинское. Сначала его видали издали — из кареты, под охраной нянюшек и мамушек; карета останавливалась против каждой комедии, где комедианты выходили на балкон. Какие наряды, какой язык у этого чудовища в медвежьей шкуре! и паяц в белой рубашке, в конической шапке — выпачканный сажей! О, как бы мы были счастливы, если бы могли заглянуть туда — в балаган: мы вздыхали и не смели надеяться. Прошли эти времена, и мы стали обхаживать все комедии: в Турнье и Молдуано, и три панорамы, каждая с Ниагарским водопадом, с экспедицией Росси и с мадамой у входа. Наконец, комедии стали менее занимать нас. Мы уже посещали их не все, а, на выбор, две, три, но страсть к Подновинскому не уменьшалась, и мы чуть не плакали, когда дождь уменьшал днем или двумя Святую неделю»¹.

Гремела музыка и шумели лубочные театры на майских гуляньях в сосновой роще, названной *немецкими станами*; в кремлевском саду, в дворцовом головинском саду, на Девичьем поле также были весной народные гулянья. Не здесь ли юноша Лермонтов наблюдал, как

... перед праздною толпой
И с балалайкою народной²
Сидит в тени певец простой
И бескорыстный и свободный!..
(«Русская мелодия», 1829)

¹ Воспоминания Татьяны Петровны Пассек. — «Русская старина». 1876, апрель, стр. 822—823.
² Ср. «и балалайки звук народный» («Романс», 1829).

Поэт «с деятельной и пылкой душой» в пансионе сблизился с несколькими товарищами, которых считал своими друзьями. С ними он делился своими переживаниями, посвящал им свои стихи. Лермонтов любил товарищескую среду. Тема дружбы — одна из устойчивых в его поэзии. Дружбу он называл не иначе, как «священной», «сладкой»; без дружбы жить грустно. Свои стихи он любил читать среди друзей, приятелей; нередко он писал их, предназначая для слушателей. Отсюда декламативный прием обращения, характерный для многих его пансионских стихотворений.

Я рожден с душою пылкой,
Я люблю с *друзьями* быть...
(1829)

восклицал поэт и обращался то к *другу*, то к *друзьям*:

«Зажглась, *друзья мои*, война:

Но нежных и веселых песней,
Мой друг, не требуй от меня...

Я буду петь, пока поется,
Пока, *друзья*, в груди моей
Еще высоким сердцем бьется
И жалость не погибла в ней...

Есть розы, *друг*, и на земном пути...

Вот, *друг*, плоды моей небрежной музыки...

Приди ко мне, *любезный друг*...

Люблю, *друзья*, когда за речкой гаснет день...

Ты можешь, *друг*, сказать с какой-то простотою:
Я был счастлив...

Нет, поздно, *друг*...

Напрасно, *милый друг*...

Ты, *друг*, узнать не должен, кто она...

Ты знал ли дикий край...
Друг! этот край... моя отчизна... (1829)

Если, *друг*, тебе сгрустнется,
Ты не дуйся, не сердись... (1830) ¹

¹ В поэме «Кавказский пленник» (1828) лермонтовский герой «счастлив еще: его мученья *друзья* готовы разделить и вместе плакать и страдать...» Поэма «Корсар» (1828) представляет собой длинный монолог — обращение к *друзьям, слушающим героя*:

Друзья, взгляните на меня...
Зачем вам сказывать, *друзья*,
Что было, как потом со мною...

«Добрых, пылких, благородных» спутников своей юности Лермонтов всегда будет вспоминать. «Первым и единственным другом» он называл Дмитрия Дмитриевича Дурнова: «любил и уважал его за его открытую и добрую душу»¹. В послании к нему поэт писал:

С тобою чувствами сливаюсь,
В речах веселых счастье пью...

С ним он узнал «нежно постоянную, бескорыстную и простую дружбу», которую делил со своим другом и по выходе из пансиона (см. «Посвящение», 1830).

Задушевные беседы вел поэт с Дмитрием Васильевичем Петерсоном². Не много известно о ранних годах этого друга Лермонтова. Его отец был англичанин. Мать, Е. А. Лаврова, владела имением в Калужской губернии. В 1826 году Петерсон был отдан в московский пансион Чермака³, а летом 1827 года стал заниматься у профессора Чумакова, но осенью был арестован и выслан к родителям за «предосудительные поступки», выразившиеся в том, что полиции не понравился особого покроя белый бант, которым подросток щеголял, гуляя по московским улицам. В конце года ему разрешено было вернуться в Москву под «строгий надзор известных учителей», 25 августа 1828 года он поступил в Университетский пансион, в четвертый класс, где и встретился с Лермонтовым, продолжая учиться с ним в пятом и шестом классах. Когда поэт стал развивать перед ним свои скорбные думы, он заметил, какое тягостное впечатление произвели на Петерсона его речи, и пытался смягчить их печальную окраску:

Забудь, любезный П(етерсо)н,
Мои минувшие сужденья;
Нет! недостойн бедный свет презренья,
Хоть наша жизнь минута сновиденья,
Хоть наша смерть струны порванной звон.

Однако, как ни хотел поэт «теперь ценить иначе» жизнь, надеясь, что «время злобное не все покосит»:

Зачем же все в сем мире бросить,
Зачем и счастья не найти... —

¹ Д. Д. Дурнов родился в 1813 г., сын генерал-майора в отставке; семья жила в Москве. Дурнов был, как и Лермонтов, полупансионером.

² Родился в 1813 г.

³ В этом пансионе впоследствии учился Ф. М. Достоевский.

концовка послания «К. П..... ну»¹ (1829) — с романтической антитезой одинокого гения и толпы, для которой «везде утехи есть», — утверждала тот тезис, против которого друг поэта, видимо, направлял свои робкие возражения:

Но тот, на ком лежит уныния печать,
Кто, юный, потерял лета златые,
Того не могут услаждать
Ни дружба, ни любовь, ни песни боевые!..

Высоким альтруизмом полно было чувство дружбы у Лермонтова.

Готов на все для твоего спасенья,
Я так клялся и к гибели летел, —

писал он в послании к М. И. Сабурову, дружба с которым, по словам поэта, была «смешана с столькими разрывами и сплетнями, что воспоминания об ней совсем не веселы». «Я сам не знаю, отчего так дорожил им», — вспоминал Лермонтов о своих пансионских отношениях с Сабуровым².

В оценке Лермонтова Сабуров — «ветрен, безрассуден», поверил «ложному другу» и, «презрев священной дружбы узы», «отринув жар души» поэта, «полный подозренья», поверить не хотел его словам. Поэт все же нес ему в дар «оттенок чувств» своих, приглашая его делить с ним «святой досуг», но должен был признать после одной из нередких ссор с Сабуровым:

Таких друзей не надо больше мне...

В автографе стихотворения «Пир» есть приписка поэта: «К Сабурову. Как он не понимал моего пылкою сердца?»

«Готовый лобзать уста друзей», Лермонтов из опыта дружбы в пансионе узнал «дружеский обман», вынес горькое признание, что он «ошибся в дружбе»...

Одноклассник поэта, А. М. Миклашевский, вспоминал, что «товарищи не любили (Лермонтова), и он ко многим приставал»³. Н. М. Сатин также писал, что в пансионе товарищи не любили Лермонтова за его склонность подтрунивать и надоедать. «Пристанет, так не отстанет», говорили о нем⁴. Знакомые Лермонтова в годы его учения в пан-

¹ Адресат послания — Петерсон.

² Михаил Иванович Сабуров родился в 1813 г.; сын пензенского помещика И. В. Сабурова, известного своими агрономическими опытами, автора статей по вопросам сельскохозяйственной экономики.

³ «Русская старина», 1884, декабрь, стр. 590.

⁴ «Почин». Сборник Общества любителей российской словесности. М., 1895, стр. 238.

сионе отмечали, что у него «был всегда злой ум и резкий язык». Показания Миклашевского и Сатина, противоречащие указанным выше фактам дружеских отношений между поэтом и его школьными товарищами, говорят лишь о том, что оба они вместе с другими учениками пансиона не раз подвергались насмешкам Лермонтова, что его «резкий язык» не щадил их. Если вспомнить первое впечатление, какое произвел на Герцена Сатин, то можно предположить, что вызывало в Лермонтове желание подтрунить над школьным товарищем. По словам Герцена, Сатин, «красивый собой и нежный, как девушка, искал, к кому бы приютиться; ему хотелось теплоты, нежности, он жался к нам... это была натура Владимира Ленского». Лермонтова с его властным характером эта мягкотелость натуры Сатина раздражала; его колкие насмешки над женственным обликом «Ritter'a aus Tambow», — как позже прозвали Сатина, — вызвали в последнем чувство неприязни к Лермонтову¹.

7

По воспоминанию А. П. Шан-Гирея, Лермонтов «любил общество, особенно женское, в котором почти вырос и которому нравился живостью своего остроумия и склонностью к эпиграмме». Еще учеником пансиона он познакомился с семейством Лопухиных, в котором было несколько сестёр: Мария Александровна — намного старше поэта, Варвара Александровна — годом младше его, Елизавета и Анна Александровны. У их отца был дом на Молчановке, где жил и Лермонтов. Из сестер Лопухиных² Варвара Александ-

¹ А. Зиновьев рассказывал П. А. Висковатому о близкой дружбе Лермонтова с Михаилом Шубиным. По словам А. Зиновьева, Лермонтов «очень хвалил Шубина, называл его человеком прекрасных душевных свойств». Но биограф поэта ошибочно называл М. Шубина «любимейшим из товарищей Лермонтова по университетскому пансиону» (П. А. Висковатый, стр. 136), так как М. Шубин вышел из пансиона в 1828 году (летом), до поступления поэта. Рассказ А. Зиновьева подтверждает, что у Лермонтова были друзья вне пансиона. С Шубиным он мог познакомиться через Мещериновых. В альбоме М. М. Лермонтовой (стр. 29) есть рисунок, помеченный 1 декабря 1829 г. (лира, венки, тетради с нотами на ветке омелы), под ним подпись: «рисовал А. Ф. Б...» В числе пансионских товарищей Лермонтова нет ни одного с подобными инициалами.

² У них были братья Алексей (родился 29 ноября 1813 г.), Дмитрий и другие. Лермонтов был дружен с Алексеем Александровичем (Лопухин в 1830 г. учился в Петербургском университете. 3 февраля 1831 г. подал прошение о разрешении слушать лекции в Московском университете, в 1831 г. вышел из университета по болезни).

ровна, жившая в тульском имении, стала постоянно жить в Москве лишь с 1831 года. Неподалеку, на Поварской, жила семья Верещагиной Е. А. с двумя девушками Бахметевыми. Александра Михайловна Верещагина, родственница поэта, стала его близким другом. Для нее он переводил в прозе «The Dream» Байрона¹. Она, по словам Акима Шан-Гирея, «принимала в нем большое участие, отлично умела пользоваться немного саркастическим направлением ума своего и иронией, чтоб овладеть этой беспокойной натурой и направлять ее, шутя и смеясь, к прекрасному и благородному». Она интересовалась его литературными опытами, его успехами в рисовании, музыке, старалась разобраться в его душевных тревогах. Ее и Марию Александровну Лопухину поэт называл «наперсницами своих юношеских мечтаний». Дружбу с М. А. Лопухиной он ставил еще значительней, чем с Верещагиной. Мария Александровна, умная и тактичная, полная душевной мягкости и доброты, своими ласковыми словами умела смягчать налетавшие на него порывы резкой и холодной иронии; по его словам, для него благотворны были самые звуки ее слов, возле нее он чувствовал себя «доверчивым, полным любви и преданности, одаренным всеми благами, которых люди не могут у нас отнять»; ей одной говорил «все, что думал, и хорошее, и дурное», говорил, «как со своей совестью».

В числе близких приятельниц Лермонтова были сестры Бахметевы, особенно Софья Александровна; она была старше поэта: отличалась веселым характером. Он называл ее «легкой, легкой как пух». Взяв пушинку в присутствии Софьи Александровны, он дул на нее, говоря: «это Вы — Ваше Атмосфераторство!»². Другой характер отношений у поэта был к родственнице его бабушки — Наталье Евреиновой, которой в 1830 году было уже двадцать девять лет. В альбоме его матери она нарисовала картинку: горы... пастушок... из расщелины пьет воду барашек. По преданию, девушка в этой картинке будто бы выразила свою задушевную идею — «жажду жизни вне сего суетного мира». Впоследствии Н. Евреинова ушла в монастырь³.

Анна Григорьевна Столыпина, дочь Г. Д. Столыпина, была одной из близких поэту кузин, с которой он делил

¹ В 1831 г. он посвятил ей поэму «Ангел смерти».

² П. А. Висковатый, Рассказы А. П. Шан-Гирея, стр. 270.

³ Не ее ли рисунок (два ангела) в альбоме М. М. Лермонтовой, на 72-й странице (оборотной)?

свои юношеские мечтания. С ней связано было воспоминание о какой-то лирической истории: после стихотворения «Дереву» (1830) в заметке «Мое завещание» поэт написал: «Я любил под (этим деревом) и слышал волшебное слово: люблю, которое потрясло судорожным движением каждую жилу моего сердца. В то время это дерево, еще цветущее, при свежем ветре, покачало головою и шопотом молвило: безумец, что ты делаешь?..»

Через А. М. Верещагину Лермонтов в начале 1830 года познакомился с сестрами Сушковыми — Екатериной Александровной и Елизаветой Александровной¹, жившими на Молчановке в доме Черновой, флигель у которой во дворе снимала бабушка поэта. Екатерина Александровна уже выезжала в свет, пользовалась успехом на балах в Петербурге (в 1829 г.); признавалась, что «любит свет, жаждет балов, выездов, шума, толпы, любит их, как угар, как опьянение, как *свободу*». Тяжелые картины домашнего быта, подневольная жизнь у тетки² изломали ее натуру. Сашенька Верещагина и Сушкова были неразлучны: «на родах, на гулянье, в театре, на вечерах, везде и всегда вместе»³. Сушкова, рассказывая в своих записках про знакомство с «неуклюжим шестнадцатилетним мальчиком с умными, выразительными глазами, со вздернутым носом и язвительно-насмешливой улыбкой», писала о Лермонтове: «он учился в Университетском пансионе, но ученые его занятия не мешали ему быть почти каждый вечер нашим кавалером на гулянье и на вечерах; все его называли просто Мишель, и я так же, как и все, не заботясь ни мало о его фамилии. Я прозвала его своим чиновником по особым поручениям и отдавала ему на сбережение мою шляпу, мой зонтик, мои перчатки, но перчатки он часто затеривал, и я грозила отрешить его от вверенной должности». Е. А. Сушкова вспоминает, как весной 1830 года Лермонтов рассердился на нее и на Верещагину из-за какого-то пустяка, но не рассказала, о чем шли беседы в том кружке молодых девушек, в котором бывал поэт, что читали они, как реагировали на явления общественной жизни, выходившие за пределы чисто светских интересов.

В этом кружке была также Евдокия Петровна Сушко-

¹ Екатерина Сушкова родилась 18 марта 1812 г., ее сестра — в 1815 г.

² «Меня так несправедливо угнетали и притесняли дома, что, вырываясь на божий свет, я веселилась, как сумасшедшая, и подсмеивалась над своими аргусами». — «Записки Е. Сушковой», стр. 106.

³ Там же, стр. 107.

ва¹, талантливая девушка-поэтесса. Сушковы, племянники литератора Николая Васильевича Сушкова, вращались в писательской среде: отец Евдокии Петровны был литератором; мать Екатерины Александровны и Елизаветы Александровны — Анастасия Павловна — переводила Т. Мура, Юнга, Байрона; обе девушки, по словам их дяди, «с детства набивали руку переводами французских романов»: Елизавета Сушкова перевела «Манфреда» Байрона²; Екатерина Сушкова вела дневник, «занималась серьезным чтением, выписками из прочитываемых книг, переводами, экстрактами»³; Евдокия Петровна (Додо), по ее словам, «в то время была в полном восторге от Шиллера, Жуковского, Байрона, Пушкина». Словом, Лермонтов окружен был и вне пансиона в близком ему обществе людьми с развитыми литературными интересами. Выбор писателей, которыми увлекался этот кружок женской молодежи, показывает, что социальные и эстетические идеи, типичные для передовой интеллигенции того времени, не были чужды ему, должны были вызывать споры, в которых юный поэт не мог не принимать активного участия. Темы политического характера неизбежно возникали среди этого кружка. За обеими подругами, А. М. Верещагиной и Ек. А. Сушковой, ухаживали бывшие офицеры, братья Алексеевы — Александр Ильич и Николай Ильич. Так как, по словам Ек. А. Сушковой, Лермонтов чуть не каждый вечер сопровождал ее на гуляньях и вечерах, а Сашенька Верещагина была с ней неразлучна, то, очевидно, что Лермонтов был знаком с Алексеевыми. Их судьба не могла не вызвать его на гневные размышления о политическом порядке: Александр Ильич, штабс-капитан лейб-гвардии конно-егерского полка, был привлечен по делу о распространении запрещенного цензурой стихотворения Пушкина⁴, подвергся аресту, находился под полицейским надзором; его брат, гвардейский офицер, вынужден был уйти в отставку из-за этого политического процесса⁵.

¹ Родилась 23 декабря 1811 г. С ее братом Д. П. Сушковым (1817—1877) Лермонтов учился в пансионе. Впоследствии Д. Сушков стал стихотворцем.

² Незданная автобиография Н. В. Сушкова в отделе рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина.

³ «Записки», стр. 78.

Дело Леопольдова и других о распространении поэмы «Андрей Шеньев» (1826—1827 гг.)

⁵ Н. И. Алексеев, пощадимому, не был чужд сочинительству в сатирической форме. На вечере у А. Н. Хитрово, на приемах кото-

В лице Алексеевых перед поэтом были жертвы полицейского произвола. То, что они пострадали из-за стихотворения, которое приурочивалось к событиям 14 декабря, вновь напоминало о героической эпохе, о кровавых декабрьских днях 1825 года.

Евдокия Петровна Сушкова (Ростопчина) вносила в кружок знакомых поэта смелый тон политического свободомыслия, сочувствия казненным декабристам. Она читала свои «потаенные стихи» своему родственнику Николаю Огареву, заражаясь от него чувством отрицания господствовавшего режима¹. Лермонтов встречал в ее политических стихах строй мыслей, ему родственных. Поэтесса казалась ему близким товарищем, обреченным на те же страдания, которые он испытывал и которых ожидал в будущем.

Автор «Монолог» (1829), слушая ее стихи, верил, что они оба «рождены под одной звездой», что они «шли дорогою одною».

В одном из своих стихотворений 1830 года («Мечта») с эпиграфом из распространенного в рукописных списках

рой бывала «вся Москва и множество приезжих из Петербурга и из губерний», он декламировал Ек. А. Сушковой памфлет на *водяное* общество, то есть на посетителей модного в Москве заведения искусственных вод. За этот острый язык насмешек над титулованными москвичами он получил аттестацию от А. Я. Булгакова, консервативного барина, близкого к придворным кругам: «известный мерзавец» («Русский архив», 1902, кн. I, стр. 521).

¹ В стихотворении «Отступнице» (1857) Огарев вспоминал годы своей юности, когда Ростопчина жила «милой барышней в Москве, у Чистого пруда» и он, «к крыльцу неволью торопясь, скакал, бывало, — мечтая, увидит ли ее:

В те дни, когда неугомонно
Искало сердце жарких слов,
Вы мне вручили благосклонно
Тетрадь заветную стихов.
Не помню — слог стихотворений
Хорош ли, не хорош ли был,
Но их свободы гордый гений
Своим наитьем освятил.
С порывом страстного участия
Вы пели вольность, и слезой
Почтили жертвы самовластья,
Их прах казненный, но святой.
Листы тетради той заветной
Я перечитывал не раз,
И снился мне ваш лик приветный,
И блеск и живость черных глаз...

Н. П. Огарев. «Стихотворения», т. I, 1937, стр. 199—200.

пушкинского послания к Чаадаеву¹ она выразила гражданские чувства, полные ненависти к деспотизму и сожаления, что ей, как женщине, не придется участвовать вместе со своим избранником в борьбе за свободу:

Когда настанет день паденья для тирана, —
Свободы светлый день, день мести роковой,
Когда по родине, у ног царей попранной,
Промчится шум войны, как бури грозный гой;
Когда в сердцах славян плач братьев притесненных
Зажжет священный гнев и ненависть к врагу,
Когда они пойдут на выкуп угнетенных,
На правый божий суд, на кровную борьбу;
Когда защитники свободы соберутся,
Чтоб самовластия ярмо навек разбить,
Когда со всех сторон в России раздадутся
Обеты грозные: погибнуть иль сгубить, —
Тогда в воинственный наряд он облечется,
Тогда каратель меч в руках его сверкнет,
Тогда ретивый конь с ним гордо в бой помчится,
Трехцветный шарф на сердце он прижмет².

В другом стихотворении³ Ростопчина обращалась к «Страдальцам» — ссыльным декабристам, «заступникам свободы, изгнанникам за правду и закон», преклоняясь пред их подвигом, их «терновым путем», который «стоит счастья, выше всех даров изменчивой судьбы»:

Хоть вам не удалось исполнить подвиг мести
И рабства иго снять с России молодой,
Но вы страдаете для родины и чести,
И мы признания вам платим долг святой.

Поэтесса верила в грядущую гибель царизма, в победу над тиранством:

...А вы, друзья, сподвижники несчастных,
Несите с мужеством ярмо судеб своих!
Быть может... вам не жек стонать в сетях
ужасных,
Не век в когтях врагов терпеть обиды их.

¹ Поверь, мой друг, взойдет она
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластия
Напишут наши имена!

² Вл. Нейштадт. Неизвестные стихи Е. П. Ростопчиной «Тридцать дней», 1938, № 2, стр. 95—96.

³ Эпиграф:

Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода...
(Кондратий Рылеев)

Быть может... вам и нам настанет час блаженный
Паденья варварства, деспотства и царей.
И нам торжествовать придется пир священный
Свободы россиян и мщенья за друзей!
Тогда дойдут до вас восторженные клики
России, вспрыгнувшей от рабственного сна,
Тогда вас выручит, окончив бой великий,
Младых сообщников восставшая толпа;
Тогда в честь павших жертв, жертв чистых,

благородных,

Мы тризну братскую достойно совершим,
И слезы сограждан, ликующих, свободных,
Наградой славною да будут вечно им!..

Почти через тридцать лет после встреч с Лермонтовым Е. П. Сушкова (Ростопчина) вспоминала его, когда он учился в пансионе, юношей «с пылким умом и неограниченным честолюбием», который «созрев рано, как и все современное ему поколение, уже мечтал о жизни, не зная о ней ничего», «который драпировался в байронизм», «стал бить на таинственность, на мрачность и на колкости»; «представляя из себя Лара и Манфреда, привык быть таким»; «эта детская игра оставила неизгладимые следы в подвижном и впечатлительном воображении».

Эта субъективная, во многом неверная зарисовка психологического портрета юноши-Лермонтова, однако, документирует то огромное впечатление, какое производил пятнадцатилетний поэт на одну из активных участниц дружеского объединения, посещавшего арсеньевский флигель, и дает ключ к уяснению более сложных взаимоотношений Лермонтова с поэтессой-общественницей, чем ее повествование о детских балах, где она, «прыгая, как настоящая девочка», будто бы видела раза два Лермонтова, с которым «даже не имела желания познакомиться — столь он казался ей мало симпатичным»¹. Тот, кто дал повод сравнивать свои настроения, мысли, манеру держаться в обществе с байроническими образами Лары и Манфреда; тот, чья речь поражала колкостью суждений; тот, чей облик запомнился мечтателем с пылким умом², — должен был возбуждающе действовать на юную поэтессу,

¹ Е. П. Ростопчиной, которая была на три года старше поэта, казалось, что он был «одних с нею лет, даже несколько моложе». Записка о М. Ю. Лермонтоге, составленная Ростопчиной 10 сентября 1858 г. по просьбе А. Дюма, перепечатана в приложении к «Запискам» Е. А. Хвостовой (М., 1928, стр. 344—345).

² Е. А. Сушкова (Ладыженская) называла Лермонтова «неистощимым импровизатором». См. ее замечания на «Записки» Ек. А. Сушковой.

которая, получая в беседе с ним напутствие на борьбу с пошлостью жизни, была обязана юному телю накоплением в себе той активности, того метелью горения, которым полны были ее ранние стихи. Сам поэт ценил в ней этот взлет над повседневным, ее недовольство жизнью, тяготение к героическому и посвятил ей стихи, насыщенные тревожной жадностью жизни, бури, расточение всего своего духовного богатства:

В теснине Кавказа я знаю скалу,
Туда долететь лишь степному орлу,
Но крест деревянный чернеет над ней,
Гниет он и гнется от бурь и дождей.
И много уж лет протекло без следов
С тех пор, как он виден с далеких холмов,
И каждая кверху подъята рука,
Как будто он хочет схватить облака.
О, если б войти удалось мне туда,
Как я бы молился и плакал тогда;
И после я сбросил бы цепь бытия
И с бурею братом назвался бы я.
(«Крест на скале». 1830)

8

Политические настроения товарищей Лермонтова и его внепансионских знакомых отражали беспокойство общественной мысли, критическое отношение к устоям государственного порядка, бытовавшие в различных кругах русского общества в конце двадцатых годов.

Победа Николая I над декабристами не означала, что их идеи не жизнеспособны, что дело, за которое они боролись, было плодом кучки мечтателей. Кризис феодально-крепостнического строя продолжался; недовольство режимом самовластья не могло исчезнуть в стране, где большинство населения было подневольным; крепостное право угнетало массы, мешало развитию производительных сил, дикими формами помещичьего произвола возмущало образованных представителей общества.

Террор царя, усмирителя декабрьского восстания, не мог сломить широкого недовольства политической и социальной жизнью, которым была охвачена страна. Сама власть в первое время после своей кровавой победы намеревалась в различных секретных комитетах приступить к обсуждению важнейших социальных вопросов; слухи об этом питали в обществе «надежды» на улучшение механизма государственного строя. Начиная с 1826 года,

Жолтицкая агентура доносила шефу жандармов о неспокойном состоянии общества, о глухом ропоте в крестьянской массе. Так, 14 сентября 1826 года Бенкендорфу сообщено было о петербургских толках: «настроение умов начинает понемногу колебаться. Надежда и ожидание, державшие его в равновесии, ослабевают: «значит, не будет никаких перемен!» — кричат со всех сторон. Государь хочет удержать при себе старых глупцов, чтобы доказать, что он один может управлять. Капризы и упрямство (министра финансов) Канкрин попрежнему будут разорять нашу торговлю и промышленность; репрессивные меры становятся суровее, но нет никаких определенных законов насчет взаимных обязанностей между помещиками и их крестьянами...» Вот замечания, раздающиеся то здесь, то там, и очень усердно выслушиваемые. Недовольные подхватывают их и комментируют с свойственной им горечью... Литераторы в отчаянии¹. Писатели и журналисты носятся с своим негодованием по всем кружкам, которые они посещают, а у них связи и знакомства огромны². На другой день (то есть 15 сентября 1826 г.) агент тайного надзора вновь сообщал А. Х. Бенкендорфу тревожные сведения: «настроение умов не особенно дурно, но оно начинает с каждым днем изменяться к худшему. Какой-то дух колебания, который скорее чувствуется, чем определяется, развивается во всех слоях общества. Опять появляются на сцену строгие порицания действий правительства. Литераторы, эти провозвестники мнений, люди, пользующиеся в настоящее время влиянием больше, чем когда-либо, говорят, что новый цензурный устав закрывает им рот; общество вторит им... Низшие классы общества, думавшие прежде только о своих собственных делах, анализируют в настоящее время все правительственные распоряжения: от этого происходит то, что за ними теперь труднее следить»³. Эти «низшие классы общества» количественно увеличивались под влиянием сложных процессов и изменявшейся хозяйственной структуры страны; они приносили особый тон резкого негодования, ненависти к хозяевам жизни: крепостная интеллигенция, пролетаризированные слои представителей ум-

¹ В связи с новым цензурным уставом.

² «Русское общество при восшествии на престол Николая Павловича: донесения М. М. Фока к А. Х. Бенкендорфу, 1826 г.» — «Русская старина». 1881, ноябрь, стр. 537.

³ Там же, стр. 538.

ственного труда в городе и усадьбе, деклассированная часть малопоместного дворянства, вынужденная бросать разоренные имения и искать приложения сил в канцеляриях на должностях «коллежских регистраторов», бедняки в офицерских мундирах, разночинцы-студенты, — все эта пестрая по социальному составу масса вырабатывала идеологию, отличную от дворянских революционеров: в своем протестующем настроении смыкаясь с гневом крестьянской стихией, гул которой с каждым годом слышался явственней.

Отчеты шефа жандармов с 1826 по 1830 год — красноречивый официальный документ, который вскрывает, что на правительственный гнет страна отвечала ропотом и недовольства, что и в первые годы реакции оппозиционная мысль не замирала.

«Бедность и нужда вызывают ропот даже со стороны честных людей, но они надеются на будущее, и лишь злонамеренные элементы не сдерживают своего недовольства», — доносил царю Бенкендорф в «Кратком обозоре общественного мнения за 1827 год»¹. «Недовольных» видел он в крепостном крестьянстве: «среди этого класса встречается гораздо больше рассуждающих голо, чем это можно было бы предположить с первого взгляда. Надо заметить, что всякий крепостной, которому удалось своим трудом скопить несколько тысяч рублей, употребляет их прежде всего на то, чтобы купить себе свободу. Доктрины многих сектантов заставляют их почувствовать их положение, и убежища этих самых сектантов могут быть рассматриваемы в этом отношении как якобинские клубы. Кроме того, шатающиеся по кабакам мелкие чиновники, в особенности выгнанные за дурное поведение, распространяют пагубные идеи среди крепостных, главарей и подстрекателей коих находятся среди барской челяди. В начале каждого нового царствования мы видим бунты, потому что народные страсти не довольствуются желанием и надеждами»².

«Недовольных» видел он и среди «русских патриотов» в дворянстве и купечестве, которые «осуждают мероприятия правительства, кричат против немцев и желали бы видеть Мордвинова руководителем административных дел».

¹ «Красный архив», т. 37, стр. 148.

² Там же, стр. 151—152; ср. «Крестьянское движение 1827—1831 годов», выпуск I. Подготовил к печати Е. А. Морозов. ГИЗ, 1931, стр. 9.

Ермолова и Раевского (Н. Н.) во главе обеих армий... банкротство дворянства, продажность правосудия и крепостное право — вот элементы, которые русские патриоты считают возможным использовать в подходящий момент, чтобы возбудить волнения в пользу конституции».

«Недовольных» видел он среди офицеров: «среди гвардейских офицеров есть несколько современных либералов, теперь они стали бесконечно более сдержанны, не кричат больше в обществе о политике, ограничиваясь, может быть, тем, что говорят о ней между собой. Не подлежит почти сомнению, что в армии распространились некоторые идеи Пестеля»¹.

«Недовольных» он видел и среди молодых людей: «Молодежь, т. е. дворянчики от 17 до 25 лет, составляет в массе самую гангренозную часть империи. Среди этих сумасбродов мы видим зародыши якобинства, революционный и реформаторский дух, выливающиеся в разные формы и чаще всего прикрывающиеся маской *русского патриотизма*. Тенденции, незаметно внедряемые в них старшими, иногда даже их собственными отцами, превращают этих молодых людей в настоящих карбонариев. Все это несчастье происходит от дурного воспитания. Экзальтированная молодежь, не имеющая никакого представления ни о положении России, ни об общем ее состоянии, мечтает о возможности русской конституции, уничтожении рангов, достигнуть коих у них нехватает терпения, и о свободе, которой они совершенно не понимают, но которую полагают в отсутствии подчинения. В этом развращенном слое общества мы снова находим идеи Рылеева, и только страх быть обнаруженными удерживает их от образования тайных обществ. Ничто не может достаточно удовлетворить эту экзальтированную молодежь. Все, что не исходит от палаты депутатов, — плохо, всякая власть кажется ей тиранией, всякий закон — стеснением. Главное ядро якобинства находится в Москве, некоторые разветвления — в Петербурге. Конечно, в массе есть и прекрасные моло-

¹ 28 января 1827 г. главнокомандующий первой армией донес на высочайшее имя, что «пехотного полка поручик Усовский, по произведенному над ним суду, найден виновным: в бытности сочленом злоумышленного тайного общества, имевшего намерение к ниспровержению законной власти в изъявлении согласия внушать и возбуждать ропот и неудовольствие к высочайшей особе и правительству, дав клятвенное обещание содействовать замыслам того общества с пожертвованием самой жизни». Поручик Усовский был сослан в Сибирь. («Русская старина», 1902, ноябрь, стр. 360).

дые люди, но, по крайней мере, три четверти из них — либералы».

Отмечая причины недовольства, царившего в разнообразных кругах, шеф жандармов указывал на общественные толки по поводу и «достигшей высокой степени продажности правосудия» и «деспотизма министров», и по поводу «испытываемых всеми тягот общего обеднения и плохого состояния внутренней торговли, которая процветала только в министерской газете»; в общественных толках речь шла также о самом монархе, которого «злонамёренные» рисовали «деспотом, не уважающим ни законы, ни личную неприкосновенность». В 1827 году Бенкендорф писал царю, что «вся Россия ждет с нетерпением перемен как в системе, так и в людях»; в 1830 году, констатируя «усиление беспокойного настроения умов», шеф жандармов «считал долгом упомянуть о крайне важном предмете, а именно — распространении у нас либерализма и особенно о все возрастающей склонности к перемене и новшествам». Кончал он свой обзор знаменательным приговором: «обе столицы требуют столько же значительного, сколь и длительного надзора», но основной класс недовольных не в городе, а в деревне: недовольно «все крепостное сословие, которое считает себя угнетенным и жаждет изменения своего положения»¹.

Недовольство крестьян своей рабской долей окрашивало всю общественную атмосферу, вызывая сочувствие передовых представителей дворянского класса и разночинной интеллигенции к закрепощенному народу и возмущение душевладельцами, которые защищали право на насилие над инакомыслящими.

Эта тема народного рабства — центральная в истории освободительной борьбы XIX века, стала темой юношеской лирики Лермонтова, когда он учился в пансионе. «Дух времени» подсказал ее ему как поэту, в котором, по замечательному выражению Белинского, — центральной фигуры эпохи тридцатых — сороковых годов, — «выразился исторический момент русского общества». «Настоящее жило в каждой капле крови Лермонтова, трепетало с каждым биением его пульса, с каждым вздохом его груди», — писал великий критик о позднейших произведениях поэта. Это признание Лермонтова поэтом, органи-

¹ «Красный архив», т. 37, стр. 149—151, 53, 165; т. 38, стр. 117, 129, 131, 134, 137, 141, 144.

чески связанным с коренными думами русского народа, передового общества, можно распространить и на ранний период его творческой жизни. Подобно молодому Пушкину, автору «Деревни», Лермонтов в юношеских стихах стал «эхо русского народа», когда свою родину гневно называл краем, «где стонет человек от рабства и цепей», где «рано жизнь тяжка бывает для людей», где «умы и хладные, и твердые, как камень», обречены на страдание, на невозможность проявить свои стремления, направленные ко благу общества:

...мощь их дажится безвременной тоской
И рано гаснет в них добра спокойный пламень...

От имени «массы недовольных» в те годы, когда Пушкину запрещалось печатать «Бориса Годунова», когда вольный гений, призванный «глаголом жечь сердца людей», слышал окрик Бенкендорфа и вынужден был с тоскою восклицать:

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучной жизни шум, —

в те годы, когда за вольнолюбивые мысли ссылали молодых людей в солдаты, в тюрьмы, сажали в сумасшедший дом, навсегда лишая возможности вернуться к друзьям, к семье, — пятнадцатилетний Лермонтов прочувствованно, с великой болью за свое поколение, вынужденное гибнуть без участия в борьбе за лучшую жизнь, писал в своем «Монолог», обращаясь к другу — товарищу своей юности, подчеркивая типичность для современников своих мыслей и настроений:

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
К чему глубокие познания, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем.
Мы, дети севера, как здешние растения,
Цветем недолго, быстро увядаем...
Как солнце зимнее на сером небосклоне,
Так пасмурна жизнь наша. Так недолго
Ее однообразное течение...
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжело, и душа тоскует...
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
Средь бурь пустых томится юность наша,
И быстро злобы яд ее мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша;
И уж ничто души не веселит.

В этом стихотворении Лермонтова — ключ к пониманию той страшной драмы, которая выпала на долю лучших людей эпохи Николая I. Юный поэт высказал те настроения, которые значительно позже сформулировал Герцен, уже многое переживший в тюрьме и в ссылках — «страшное время, и ничего впереди», — называвший царскую Россию «царством мглы, произвола, молчаливого замирания, гибели без вести, мучений с платком во рту». Юный поэт выразил те тягостные чувства, нашел те слова для определения причин страдальческой участи передовых людей своего времени, которые много лет спустя повторил Огарев, наполнив лишь конкретными деталями его поэтические формулы:

...От Китая
До стен недвижного Кремля,
Под диким гнетом изнывая,
Томится русская земля..

...Жизнь бесцветна,
Безрадостна и неприветна,
Смерть равнодушна и дика,
И скорбь на сердце велика.

И тот из нас, кому наука
Раздвинула границы дум,
На привязи свой держит ум,
Снедаем праздностью и скукой.

Кругом помещики глупцы,
Рабы, нахалы, подлецы,
Попы, мундиры голубые,
Воров казенные полки
Да меры к лучшему тупые...

Да плеть, да ссылки, да штыки.
И чья-то воля будто правит
И сверху вниз все давит, давит,
И тесно, тяжело дышать...

Лермонтов необычайно рано почувствовал, как «душно на родине», в царской России. Свои горькие раздумья, чувство тоски, сознание, что «пылкая любовь к свободе» останется без применения, поэт связывал прежде всего с окружавшей его социально-политической действительностью.

Душа тоскует, — говорил он, считая первопричиной своего настроения то «дикое состояние высшего дес-

потизма и бесправия»¹, в котором задыхались немногие из уцелевших друзей декабристов и представители разнообразных общественных групп «молодой России», начинавшей свою сознательную жизнь в новую историческую эпоху. Чувство одиночества, — о котором поэт часто говорил в своих стихах, — он переживал, как ужас, как муку; «однообразное течение» жизни иль «пустые бури» вызывали в нем острое чувство разочарования, окрашивали мысли в мрачные тона. Не поэт-индивидуалист, — любовно лелеющий свои субъективные ощущения и считающий их неизмеримо значительней, чем жизнь всякого другого человека, — но поэт, страдающий от невозможности найти чужое «я», родственное ему, способное понять и сострадать его страданию, написал стихотворение «Одиночество» (1830):

Как страшно жизни сей окогы
Нам в одиночестве влачить,
Делить веселье — все готовы:
Никто не хочет грусть делить.

Один я здесь, как царь воздушный
Страданья в сердце стеснены,
И вижу, как, судьбе послушно,
Года уходят, будто сны...

Настроение беспокойства юноши-поэта было характерным для его современников. Кризис эпохи с ее противоречиями между авторитарным строем феодальных связей и слагавшимся миром новых общественных отношений, обещавших больший простор личности с ее многообразными запросами, сказывался в возникновении особого, психологического типа людей, которым стало не по себе в крепостнической стране, которые стали во всем или во многом из завещанного стариной сомневаться, подвергать суду критической мысли и собственный мир и то, что их окружало, которые в поисках самоопределения, приводивших нередко к разочарованиям, заболели «нравственной болезнью», рефлексией с ее особенностью — преобладанием анализа.

Белинский называл свой век «веком сознания, философствующего духа, размышления, рефлексии».

Герцен считал отличительной чертой своей эпохи *grübeln*: «Мы не хотим шага сделать, не выразумев его,

¹ Выражение А. И. Герцена.

мы беспрестанно останавливаемся, как Гамлет, и думаем, думаем... Некогда действовать; мы переживаем беспрестанно прошедшее и настоящее, все случившееся с нами и с другими, — ищем оправданий, объяснений, доискиваемся мысли, истины. Все окружающее нас подверглось испытующему взгляду критики. Это болезнь промежуточных эпох». «Век наш — век скептицизма», — писал сотрудник альманаха Раича «Северная лира на 1827 год» (стр. 358).

Старший современник Белинского и Лермонтова, профессор Н. И. Надеждин характеризовал молодёжь того времени следующими словами: «Настоящее поколение, пережженное в горниле опытов, глядит теперь не потому, что природа дала глаза, которых девать некуда, глядит на все не просто, а в оба, глядит — и оглядывается беспрестанно... В знаниях ум не делает шагу вперед, не оглядываясь во все стороны; в житейской, практической деятельности воля сама себя подвергает беспрестанному дозору; даже в искусстве, где играющая жизнь забывается до безотчетного исступления, гений бдительно сторожит за своим вдохновением, обдумывает восторги, рассчитывает впечатления, коротко сказать, осматривается с ног до головы. Все подчинено ответственности, разбору, обозрению»¹.

Все эти свидетельства подтверждают историческую точность утверждения Лермонтова: «теперь жизнь молодых людей более *мысль*, чем действие; героев нет, а *наблюдателей* чересчур много». Но наряду с избытком мысли молодой человек, современник Лермонтова, полон был особей насыщенности и напряженности своих переживаний: «С какой-то лихорадочностью произносилось имя «лорд Байрон», из уст в уста переходили дикие и порывистые стихотворения Полежаева... Когда произносилось это имя, очень редко, конечно, несколько других, еще более отверженных имен², какой-то ужас овладевал кругом молодых людей и вместе что-то страшно соблазняющее, недолимо влекущее было в этом ужасе... Соблазн, страстный соблазн носился в воздухе, звучавшем страстно сладкими стрелами Пушкина. Соблазн рвался в нашу жизнь вихрями юной французской словесности... Поколение выросшее не имело точки покоя или опоры, а только соблазня-

¹ «Телескоп», 1834, ч. XIX, № 1, стр. 6—7.

² Намек на запретные имена декабристов.

лось тревожными ощущениями. Поколение подраставшее, надышавшись отравленным этими ощущениями воздухом, жадно хотело жизни страстей, борьбы и страданий»¹. И. В. Киреевский отмечал в юном поколении «жажду сильных впечатлений, воображение, наполненное одною действительностью во всей наготе ее»². Другой современник также находил «отличительными признаками века: ненасытную жадность познаний, простирающуюся нередко за пределы, постановленные разумом... необузданное кипение деятельности, проторгающейся ныне в слишком бурных извержениях»³.

Художественная литература, наука, философия и публицистика давали обильную пищу для удовлетворения этой «жажды познаний», поисков мировоззрения, одновременно усиливая в читателях тревожную неудовлетворенность обыденным.

Роль книги, чтения в жизни Лермонтова была огромна. На его пансионский период падает время существования многих замечательных органов русской журналистики; в руках поэта были «Московский вестник», «Галатее» и «Атеней», «Московский телеграф» и «Вестник Европы». Идеологические споры, проявлявшиеся в яростных схватках журналистов, подвергались обсуждению в пансионском кружке: между прочим, мишенью нападок журнала Полевого служили оба учителя Лермонтова, как редакторы и авторы, в свою очередь нападавшие на издателя «Московского телеграфа»⁴. Романы и повести, статьи на исто-

¹ А. Григорьев. Мои литературные и нравственные скитальчества. — «Эпоха», 1864, март, стр. 126—127.

² «Европеец», 1832, январь, № 1, стр. 15.

³ «Телескоп», 1831, ч. I, стр. 5. В том же журнале А. Д. Дмитриев писал в статье «Дух времени»: «Каков дух нынешнего времени? Вм будут отвечать: стремление к свободе *мыслей и действий*» (1833, ч. XIII).

⁴ См., например, в «Галатее», 1829, № 3, стр. 212. «Московский телеграф в литературном и журнальном отношении есть самое безобразное творение разгоряченной фантазии, не имеющее ни цели, ни плана, ни характера...» Полевой в ответ издевался над Раичем: «знаете ли вы, г. Раич-Амфитеатров, что вы ошиблись в расчете, без толку, без познаний, при одном невежестве и желании браниться начав войну с другими журналами... Вы же не смыслите сказать ни одного острого слова, спотыкаетесь на каждом шагу, беспреестанно оказываете полное, всяческое незнание и смешите людей единственно на свой счет. Неужели вам приятно играть столь жалкую роль? Уймись!» («Московский телеграф», 1829, № 12, стр. 536—537).

рические и философские темы, лирические стихотворения и поэмы — все, чем полны были русские журналы, альманахи, привлекало внимание Лермонтова и его пансионских товарищей. Многие темы, образы из прочитанного в русских и иностранных книгах запали в память поэта, формируя его мировоззрение, всплывая в его художественном творчестве. У самого Лермонтова однажды вырвалось любопытнейшее признание: «Когда на меня находит дурь любоваться собственными мыслями, я делаю над собою усилие, чтобы припомнить, где я читал их». Необходимо представить себе тот мир книжных впечатлений, который Лермонтов встречал в современной ему русской журналистике в годы его пребывания в Университетском пансионе.

9

«Классицизм и романтизм — вот два слова, коими огласился пушкинский период нашей словесности; вот два слова, на кои были написаны книги, рассуждения, журнальные статьи и даже стихотворения, с коими мы засыпали и просыпались, за кои дрались на смерть, о коих спорили до слез и в классах, и в гостиных, и на площадях, и на улицах».

Данная Белинским характеристика «литературной войны» в двадцатых годах точно воспроизводит литературную атмосферу, которая окружала Лермонтова в 1828—1830 годах, когда в литературной пародии К. Масальского «Классик и романтик, или не в том сила» (М., 1830) писалось: «но спор не разрешен, — кто истинный поэт: Гомер или Байрон... Не помню я, какой во Франции журнал главой романтиков Байрона называл, главой же классиков — Гомера». Культ Байрона, появление поэм которого, по свидетельству декабриста Бестужева, вскружило всем головы, продолжался и в конце двадцатых годов. Поток романтических поэм в байроно-пушкинской традиции свидетельствовал, что мнение одного из «либералистов» двадцатых годов о Байроне, «который носится в облаках, спускается на землю, чтобы грянуть негодованием в притеснителей, и краски его романтизма сливаются часто с красками политическими», — поддерживалось с еще большей энергией многими писателями и читателями после гибели декабристов, в эпоху полицейской нивелировки.

Забывший поэт студент Максимов в своем сонете «Байрон» восторженно писал об английском певце свободы:

Бурная туча, огонь вдохновенья.
Века кумир, чудо творенья,
Зерцало страданий и таинств сердец,
Потомство и веки твой вечный венец.
О, певец!

Ты в мире поэтов поставил конец!
О, Байрон! есть место, где бури стихают,
Ты тайны земные для сердца открыл,
Но вечности тайной себя облачил...¹

Другой молодой поэт называл Байрона «гением, бессмертным во вселенной»². Третий, Д. П. Глебов, получив от В. Л. Пушкина сочинения Байрона, в послании к дяде Пушкина восклицал:

Я по следам британского певца
Лечу в тот край, где Фебовых жрецов
С младенчества питаю мед Гиметта
Поил восторг божественных певцов...
Иль в стране Петрарки и Лауры
Ношусь мечтой с Гарольдовым певцом³.

А. И. Полежаев, находясь в страшном каземате применял к себе переживания байроновского героя:

Чайльд-Гарольдова тоска
Лежит на сердце у того,
Кто не боялся никого...
(«Арестант», 1828)

Молодой А. В. Никитенко писал в дневнике 20 декабря 1826 года: «читал Байрона. Его поэзия подобна Эоловой арфе, на которой играет буря: нет гармонии, но слышны такие аккорды, которые вас потрясают, как стоны умирающего друга или любовницы». Е. Ростопчина говорила о сочинениях Байрона: «Это мое Евангелие». Переводы Байрона на русский язык, в частности в «Галатее»⁴ и в «Атенеи»⁵, статьи о нем в тех же журналах⁶, с особой

¹ М. М. «Опыт сонетов». М., 1828, ч. II, стр. 32.

² «Песни золотого рожка, отысканная рукопись неизвестного сочинителя». М., 1828, стр. 46—47. Автор, П. А. Новиков, был сотрудником «Русского зрителя».

³ «Элегии и другие стихотворения». Цитирую по рецензии в «Дамском журнале», 1827, № 15, август, стр. 131.

⁴ «Отрывок из поэмы Байрона *«Гиаур»*, Трилунного, 1829, № 19; 1830, № 39.

⁵ «Мрак. Из Байрона», *Бронченко*, 1828, № 6.

⁶ «Погребение лорда Байрона» — «Галатее», 1830, № 14; «Нечто о лорде Байроне», 1829, ч. III, № 15.

оценкой героического подвига Байрона, отдавшего ^{жизнь} за дело освобождения Греции¹, — все это доказывало, что поэзия Байрона продолжала быть действенной в русском обществе², трепетно воспринималась в мрачной мелодии душевных тревог, недовольства оковами жизни, проклятий угнетателям, что были читатели, которые вычитывали в Байроне свои страдания, свои мечты, видели в нем своего идейного друга.

Русские байронисты встретили ожесточенную критику в лице Н. И. Надеждина, который, считая Байрона и его школу лжеромантизмом, метко нападая на слабые, малохудожественные изделия многочисленных авторов, подражавших стилю байроновских поэм, бил, однако, по Байрону, исходя из консервативной эстетической теории, в основе которой лежали охранительные политические тенденции. Надеждин видел в романтической школе «новую поэтическую революцию», которая является антитезой «древнеклассической поэзии — наставнице добродетелям и установительнице благочиния». Говоря о «кровавой дикости британского певца», критик «Вестника Европы» заявлял: «лучше несравненно оставаться попрежнему в рабелепном подражании *классицизму*, чем предаваться столь беспутному своеволию». «В какую бездонную пучину ужасных мраков может низвестися даже великий гений, попустивший овладеть собою такому лжеромантическому неистовству, тому поистине изумительный пример представляет знаменитый *Байрон*, слава которого оглашает донныне, хотя и не благовестительно, всю литературную вселенную. Сей дивный муж... кажется поставлен в зловещее знамение времени для указания: что значит сила мощная, но слепая — не пригвожденная ни к какой тверди, ни к какому солнцу...» «Британский ненавистник» — это символ «души, которая ожесточается злобною люто-стью против всего сущего и изрыгает собственное свое бытие в святотатственных хулах с неистовыми проклятиями. Зрелище поистине ужасное! Подобно созданному им *Каину*, он шатается тенью по мертвым костям бытия, из которых сам высосал соки жизни — не обретая нигде

¹ «Байрон в Греции». Перевод с французского Вл. Шеншина, — «Атеней», 1830, ч. II. Отрывок из книги «Histoire moderne de la Grèce, par J. J. J. Riso Négoulot» (Женева, 1828).

² Укажем на «Литературную газету», близкую Пушкину, в которой печатались переводные статьи о Байроне, например, в № 34 — «О Байроне и его отношениях к новейшей литературе. В. Гюго»

спокойствия и отрады — язва природы, ужас человечества — ненавидящий землю, отверженный небом. Настоящий Клопштоков *Адра Мелех*, —

...божества, сатаны и людей ненавистник.

Справедливо посему величается он сам даже от своих соотечественников именем Сатанинского». Надеждин считал Байрона одним из родоначальников «эстетического нигилизма» в европейской литературе, а Пушкина — его учеником и учителем русских поэтов из «сонмища нигилистов». Он советовал Пушкину «добровольно и добросовестно разбайрониться»¹ и, нападая на его романтические поэмы, писал: «гораздо охотнее можно согласиться перечитать подчас *Хорева* или *Дмитрия Самозванца* *Сумарокова* — даже *Росслава Княжнина*, — чем губить время и труды на беспутное скитание по *цыганским* таборам или *Разбойническим* вертепам»².

Надеждин отвергал Пушкина не только за его «псевдоромантические» поэмы: он называл *нулем* реалистическую поэму «Граф Нулин»³, по поводу романа «Евгений Онегин» каламбурил: «для *гения* недостаточно смастерил *Евгения*», называл «стишками» «Зимний вечер»⁴ и пр. и пр.

«Сын отечества» и «Северный архив» Н. Греча и Ф. Булгарина вторил Н. И. Надеждину. В. Дмитриев во вступительной заметке к переводной статье В. Менцеля. «Шиллер и Гете» (1831, т. XVIII) напал на Пушкина и современных поэтов: «Наше стихотворство... воспевает отвратительные пороки, разврат и преступления самые гнусные. Кто наши герои? Что воспламеняет наших стихотворцев? Лучший наш поэт... не несет ли на себе тяжелой вины? В Кавказском пленнике, в *Алеко* не видим ли мы существ, которым недостает силы сносить свое бытие

¹ «Вестник Европы», 1830, № 7, стр. 200.

² «О настоящем злоупотреблении и искажении романтической поэзии». Отрывок. — «Вестник Европы», 1830, январь, № 1, стр. 19, 25, 26, 31; № 2, стр. 148.

³ «Вестник Европы», 1829, ч. I, № 3, стр. 218.

⁴ «Вестник Европы», 1830, январь, стр. 164—165. В «Вестнике Европы» (1830, № 8), в рецензии на альманах «Подснежник на 1830 год», где была напечатана пушкинская эпиграмма «Собрание насекомых», появилась пародия Л. С.:

Полтава — божия коровка,
Кавказский пленник — злой паук,
Вот *Годунов* — российский жук,
Онегин — тощая пиявка,
Граф Нулин — мелкая козявка.

с достоинством человека?.. Пожалел ли он злоупотребить свой талант на изображение разбойников и ветреника, крадущегося ночью в спальню чужой жены для того, чтобы получить оплеуху, над которою смеялся сосед, помещик 23 лет? Наконец, в творении, которое, повидимому, поставил задачей своей жизни, является нам лицо, нечеловечески равнодушное ко благу и злу, не могущее решиться ни на добродетель, ни на порок. Но эти недостатки отчасти искупает он другими прекрасными произведениями. Что же сказать о тех стихотворцах, которые не имеют сего извинения?.. Мы можем смело надеяться увидеть в стихотворной одежде все дела, хранимые в архивах уголовных палат и Управы благочиния».

Политический характер литературной полемики Надеждина ярко вскрыл «Московский телеграф», проводник европейской романтической школы, защитник Байрона и Виктора Гюго¹, враг литературного староверства Н. А. Полевой резко обрушился на диссертацию Надеждина «О начале, сущности и участии поэзии, романтической называемой» (1830). В своей рецензии он указал на «совершенное отсутствие всех приличий» в надеждинской характеристике романтизма, его представителей², в частности Байрона³, и нарисовал облик ученого критика, прибегавшего к опорочению литературных противников по мотивам не только эстетической благонамеренности. По словам редактора «Московского телеграфа», желанный профессору Надеждину «классик должен громко вопиять о разврате, о гибели вкуса; должен искусно соединять с этими мыслью, что романтизм есть то же, что атеизм, шеллингизм, либерализм, терроризм, чадо безверия и революции»⁴.

Против английского и французского вариантов романтической школы, в коей видели дерзкое нарушение традиционных правил поэзии и следы идейных течений революции конца XVIII века, были направлены статьи «Атеизм» и «Галатеи».

¹ Один из ранних отзывов о В. Гюго появился в «Галатее», где Гюго был назван «смелым поборником романтической поэзии во Франции», а по поводу его сочинения «Последний день приговоренного к смертной казни» было сказано: роман дает «высокое понятие о таланте и наблюдательности автора» (1829, ч. IV, № 17).

² «Лжеромантические гаеры», «нелепейшие и бессмысленнейшие бредни», «затем поэтических мятежников наших времен».

³ «Зловещая комета, на которой отсвечивает мрачное пламя эстетической преисподней».

⁴ «Московский телеграф» 1830, № 10, май, стр. 227, 237.

Кульм мятежной индивидуальности, поставившей свое «я» в центре мира, решительно отвергался журналом профессора Павлова. В первой же книжке мы находим, например, следующее рассуждение: «выросшая в веке гениальных переворотов, поэзия нашего времени отсвечивает всеми красками, пятнавшими действительную жизнь человека в сем периоде. Ум мятежный и упрямый перенес теперь в беззащитную область поэзии ту склонность к нововведениям, которую с такими пожертвованиями и трудом обуздали на поприще политическом Европы. За неимением действительнейшего, он тут теперь своенравно осуществляет мечты и грезы свои, порожденные в веке, жившем во всем крайности. Правила пиитики, принятые и освященные веками, показались ему теперь ярмом тягостным... В этой же современной склонности к нововведениям таится причина и той ничем не успокаиваемой мечтательности, которая, проглянув в Вертере, развернувшись в Рене, созрела в поэзии Байрона и приметна теперь более или менее в большей части лирических стихотворений... Дух современной поэзии дышит в каждой строчке, где только поэт сосредоточивает чувствования на самом себе. Та же бесправная самоуверенность, та же гордыня, то же кичение, которые заметны и в наших нравах. Кумир собственного почитания, теперь редкий из поэтов почитет нескромностью много говорить о себе. Эгоизм пиитический не отстал от современного нравственного. Теперь можно затрудниться, искавши какого-нибудь из лирических стихотворений, где бы «я» не было осяю, на коей утверждено движение прочих чувствований»¹.

Критикуя «наших Байронов», «наших романтиков»², защищая «правила»³, «Атеней» предоставлял страницы для нападок на «романтического кумира» — Пушкина, который к концу двадцатых годов уже выступал как зрелый художник, давно преодолевший романтические каноны, как мастер реалистического метода, поэт *действительности*, раскрытой в «Евгении Онегине» с такой глубиной и типической широтой, какой русская литература до того времени

¹ «Атеней», ч. I, № 1, 1828, стр. 23—25.

² «Атеней», 1828, № 2, стр. 89—92.

³ «В наш просвещенный, чтобы не сказать романтический, век все роды поэзии перемешались, переплелись, как ремни в Гордиевом узле, и концов не сыщешь. Что же из этого выходит? Повесть называют величественным именем поэмы; несколько стишков без начала, без конца, титулуют Элегиею, и проч. и проч.» — «Атеней», 1828, № 4, стр. 91.

не знала. Атенейский критик «У» в IV и V главах пушкинского романа, вышедших в 1828 году, не видел «ни характеров», ни «действия», считал недостатком обилие повторений, отступлений (*говорливость* автора), отмечая многочисленные якобы нарушения поэтического языка: рифм, грамматики, неправильности отдельных выражений («*крестьянин торжествуя* — выражение неверное» и пр.)¹.

Раич также выступал против романа Пушкина. По словам критика «Галатеи», с «Полтавы» «слава Пушкина не скажем пала, но *осеклась* и с тех пор уже не поднимается вверх». Седьмая глава «Евгения Онегина», по его мнению, «предвещает мало доброго, ни содержанием, ни языком не блистательна». Впрочем, не только «бедное содержание» этой главы: «содержание почти во всех произведениях г. Пушкина не богато», по мнению автора рецензии². По поводу прихода Татьяны в имение Онегина он писал: «это немного неприлично». Неодобрительно отзывался он и об языке романа, в котором «неудачно соединены слова простонародные с славянскими»³.

Голос «Галатеи» в оценке этой главы «Онегина» перекликался с «Северной пчелой» Булгарина, который, по наглой бесцеремонности тона, превзошел всех враждебно встречавших новые произведения Пушкина: «ни одной мысли в этой водянистой VII главе, ни одного чувствования, ни одной картины, достойной воззрения. Совершенное падение, *Chûte complete...*»

Но под напором голосов читателей, особенно молодежи, которая диаметрально расходилась в оценке Пушкина с хором критических Аристархов, указанные журналы не выдерживали до конца своего отрицательного или охлажденного отношения к поэту и должны были помещать как статьи или рецензии, полные восхищения перед поэтом⁴, так и беллетристические или стихотворные произведения, куда авторы вкрапчивали восторженные строки

¹ *Гусей* крикливых караван. «Это, разве, можно сказать о тех гусях, которых привозят зимой в Москву замороженных. Караваном называется обоз, составленный из разных повозок, принадлежащих разным хозяевам». — «Атеней», 1828, № 4, стр. 84.

² В этом пункте «Галатее» вторил Надеждин, который писал в рецензии на VII главу «Онегина»: «поэзия Пушкина и прежде не роскошна была мыслями и чувствами... Пушкин не мастер мыслить» и пр. — «Вестник Европы», 1830, № 7, стр. 209.

³ «Галатее», 1830, № 14, стр. 124, 125, 129, 130. Раич вообще защищал «благородство» речений против «рустицизма».

⁴ «Галатее», 1829, № 16, 17. — «Атеней», 1829; ноябрь, стр. 317—318.

о Пушкине¹. Если Лермонтов «бесился», слушая разбор пушкинского стихотворения на уроке профессора Мерзлякова, и возмущался рецензиями на «Онегина» в «Галатее» и в «Атенее», то в статье Н. И. П. (Иванчина-Писарева) «Мысли и замечания касательно современной русской словесности», напечатанной в «Атенее» (1829, ноябрь), он встретил то чувство преклонения пред Пушкиным, которым сам был исполнен. Эта статья в журнале пансионского учителя Лермонтова заслуживает особого внимания: в ней молодые почитатели поэта находили значительную поддержку своей критике суждений об авторе «Онегина» и «Цыган» своих учителей — Мерзлякова, Раича. «Атеней» не был согласен с «Галатеей» и другими органами печати в оценке «Полтавы». На его страницах появилась большая статья популярного среди учеников пансиона М. Максимовича «О поэме Пушкина *Полтава* в историческом отношении»², вместе со статьей К. А. Полевого в «Московском телеграфе», утверждавшая значение этой поэмы как исторически правдивого произведения с печатью подлинной народности.

Лермонтов, еще до поступления в пансион плененный «Шильонским узником» Байрона, жадно читал английского поэта, с удивлением отмечая черты сходства в своей жизни и биографии Байрона, написанной Т. Муром, когда стал читать ее в оригинале, будучи воспитанником пансиона³.

Лермонтов не только читал сочинения Байрона; он писал стихотворения под заглавием «Подражание Байрону», «Из Байрона», переводил его поэмы и стихотворения («Мрак», «Наполеон»). Перевод из «Гяура» красноречиво показывает, что вольнолюбивого юношу привлекла в поэме тема войны за свободу Греции и ненависти к тиранам.

¹ М. «Молодой журналист». Повесть. — «Атеней», 1829, ч. 1, март; Сиянов. «Н... И-не Р...ной». — «Галатее», 1829, ч. V, № 24.

² «Атеней», 1829, № 11, июнь.

³ В заметках Лермонтова 1830 г.:

а) «Когда я начал мараить стихи в 1828 году.., я как бы по инстинкту переписывал и прибирал их, они еще теперь у меня. Ныне я прочел в жизни Байрона, что он делал то же — это сходство меня поразило».

б) «Еще сходство в жизни моей с *лордом* Байроном. Его мать в Шотландии предсказала старуха, что он будет великий человек. Будет два раза женат; про меня на Кавказе, предсказала то же самое (повивальная) старуха моей бабушке. — Дай бог, чтоб и надо мной сбылось; хотя б я был так же несчастлив, как Байрон».

Поэт свободы, призывавший сбросить цепи, уничтожить «скипетр деспотов», страдавший при виде страны, где «пресмыкаются от колыбели до могилы, рабы», забывшие о «великих подвигах» своих предков, — вот чем звучит для Лермонтова автор «Гяура», — великий гуманист, а не человеконенавистник, как характеризовал Байрона критик «Вестника Европы».

Грекофильские чувства, которыми когда-то жили декабристы и их поэт Пушкин, мечтавший принять участие в национально-освободительной войне народов Ближнего Востока, ожили в русском обществе во время войны 1828—1829 годов¹ и уяснили юноше *современный* характер одной из тем байроновской поэмы.

Отражением общественных симпатий к Греции, пораженной Турцией, следует также объяснить то, что герой поэмы Лермонтова «Корсар» (1828) «в Грецию идти хотел», чтоб бороться с турками в рядах «народа ожесточенного». Тема «Греции прекрасной», лирическая окраска в ее зарисовке коренятся в исторической, современной поэту, действительности и в его субъективном чувстве враждебном по адресу насильников, где бы они ни находились. Вспомним строки во второй части поэмы:

(Я шел не чувствуя себя;
Я был в стремительном волнении,
Увидев, Греция, тебя!)...
Кустарник дикий в отдалении
Терялся меж угрюмых скал,
Меж скал, где в счастья упоении
Фракиец храбрый пировал;
Теперь все пусто. Вспоминанье
Почти изгладил ток времен,
И этот край обременен
Под игом варваров. Страданье
Осталось только в той стране,
Где прежде греки воспевали
Их храбрость, больноость; но оне
Той страшной участи не знали,
И дышит все здесь стариной,
Минувшей славой и войной.

Перевод стихотворения «Мрак» («Тьма») отвечал философским раздумьям поэта о смерти, о конце вселенной. что подтверждается его стихотворениями «Ночь I» и «Ночь II» (1829), содержание коих, кстати сказать, со-

¹ Характерно заглавие книги: «Спасаемая Греция или критика военных действий Россиян против турок в 1827 и 1828 гг.», П., 1829. Ср. стихотворение Лермонтова «Война» (1829 г.).

верненно лишено религиозно-догматической окраски. Сын века просвещения», Байрон освобождающе действовал на умы своих читателей, помогая отрицанию всяческих авторитетов. Герцен метко называл Байрона «Юмом поэзии» и отдавал ему предпочтение перед великим олимпийцем Гете.

Высоко ценя «философа и критика в поэтической форме», Белинский в своем возражении Надеждину доказывал, что «не кометой блуждающей и безобразной был Байрон, а новым духом, поборовшим за человечество, в огнепером шлеме на голове, с пламенным мечом в руке, с эгидою будущей победы, близкого торжества...»

На юношу Лермонтова также веяло от сочинений Байрона духом гордого протеста против общественной неволи, проповедью активного вмешательства в перестройку, изменение жизни во имя свободы человечества. Байрон кажется ему столь близким, родственным, что он мечтает и своей жизнью уподобиться творцу «Корсара». После прочтения биографии Байрона Лермонтов тотчас написал (1830):

Я молод, но кипят на сердце звуки,
И Байрона достигнуть я б хотел;
У нас одна душа, одни и те же муки.
О, если б одинаков был удел!..
Как он, ищу забвенья и свободы,
Как он, в ребячестве пылал уж я душой,
Любил закат в горах, пенящиеся воды,
И бурь земных и бурь небесных вой.
Как он, ищу спокойствия напрасно,
Гоним повсюду мыслию одной.
Гляжу назад — прошедшее ужасно,
Гляжу вперед — там нет души родной.

Замечательно ожидание Лермонтовым *удела* Байрона — участия в борьбе за волю народа и гибели в этой борьбе. Политическая стихия в творчестве и в жизни английского поэта при всем различии исторической обстановки на Западе и в России пробуждала у Лермонтова в годы политической реакции в крепостной стране чувства, сходные с теми, которые владели Байроном, задышавшимся в эпоху Священного союза, торжества политики Меттерниха и банкиров после разгрома великой буржуазной французской революции. Байронизм Лермонтова не был поэзией, маскировкой, как думали его знакомые, не был подражанием поэту, влияние которого было могущественным в европейских странах в тридцатых годах XIX века.

Своеобразие русского поэта, едва лишь начавшего

слагать стихи о себе и своей стране, не трудно уловить сопоставив настроения в только что приведенном стихотворении с тем кругом чувств и бытовых привычек французских байронистов, о котором писал Теофиль Готье: «тогда у романтиков считалось модным казаться бледным, синеватым, зеленоватым, несколько трупного оттенка, — если возможно. Это придавало вид роковой, байронический, — вид Гяура, вид человека, пожираемого страстями и угрызениями совести». Подобных имитаторов с галстуком à la Байрон осмеивал А. Мюссе — «брат Байрона» как называл его А. Барбье, «мисс Байрон», как называл его В. Гюго. Но и этот, самый талантливый из французских байронистов¹ резко отличался от мужественной поэзии Байрона пассивно-созерцательным творчеством, отказом от борьбы, бесперспективностью жизни². Наоборот Лермонтову навсегда остались близки байроновские мотивы свободы, бунтарства против всяческих идей «средних веков», жажда «бурь земных», как выражение его собственной воли к полноценной жизни, к борьбе за *человека*. Тематика первых же литературных опытов Лермонтова в пансисне была глубоко связана с Пушкиным, автором романтических поэм. «Кавказский пленник», «Корсар» (1828), либретто оперы «Цыганы», «Преступник» (1829) ведут к одноименным поэмам Пушкина, к «Братьям разбойникам». Надо помнить, что поэма «Цыганы», вышедшая в мае 1827 года, для читателей служила продолжением романтической манеры Пушкина, хотя, написанная еще в 1824 году, она во многом для самого автора была уже пройденным этапом. Одновременно с романтическим обликом Пушкин предстал пред тогдашним читателем как художник-реалист, автор «Евгения Онегина», седьмая глава которого вышла в марте 1830 года, когда Лермонтов еще находился в пансионе³. Таким образом, обе струи в творчестве Пушкина — романтическая и реалистическая — одновременно сливались в сознании начинающего поэта. И так как идейная основа того и другого художественного стиля была одна и та же — критическое отношение к действительности, то Пушкин воспринимался Лермонтовым прежде всего с этой стороны, как поэт отрицания, разочарования светской жизнью, поэт

¹ Автор сборников: «Испанские и итальянские сказки» (1829—1830) и «Спектакль в кресле» (1832).

² Л. Скорино. Мюссе и Байрон. — «Октябрь», 1938, № 4.

³ Четвертая — шестая главы романа вышли в 1828 г.

гольнолюбивых горцев, простых цельных натур, протестантов против неволи, поэт трагических конфликтов в быту и личной жизни, борьбы страстей, столкновений народов. В отмеченных поэмах Лермонтова романтический стиль Пушкина в зарисовке образов, в их психологической нагрузке, в описании пейзажа, во введении прямых цитат из пушкинских поэм (наряду с реминисценциями «Абидосской невесты» в переводе Козлова и других) является основным, но автор пользуется и романом Пушкина, включая в описание смерти пленника стихи из шестой главы «Онегина», где была дана картина смерти Ленского, причем юный поэт, восхищенный правдой пушкинского описания того явления, которое он сам наблюдал на Кавказе, полностью включил его в свою поэму:

Так медленно по склону гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.

Среди журналов особое место занимал «Московский вестник» (1827—1830), проводник эстетических теорий, выросших на европейской романтической почве. Здесь исповедывалось воззрение на поэзию как высшее знание мира, на поэта — как вождя человечества, избранника, которому доступны все тайны вселенной.

В избранных стихотворениях Гете и Шиллера¹, в статьях оригинальных и переводных² утверждалась мысль, что «поэзия есть удел избранных», «наслаждение искусством выше всех земных радостей... Понимать его, творить самому — есть радость божественная», что «поэт есть произведение чистейшее (всеобщей матери природы)», что поэзия нераздельна с философией: «всякая истинная поэзия приводит нас к идеям философским, и обратно — всякая философия истинная дает нам утешительное пиитическое воззрение на все сущее»³.

¹ «Художники» Шиллера в статье С. Шевырева «Разговор о возможности найти единый закон для изящного». — «Московский вестник» 1827, № 1, стр. 49—50.

² В. Титов. «О достоинстве поэта». — «Московский вестник», 1827, кн. II.

А. Веневитинов. «О трех единствах в драме (из Шлегеля)», 1827, ч. III; «Основное начертание эстетики». 1829, ч. III; «Отчет о диспуте Надеждина», 1830, ч. № 8, и рецензия на его диссертацию (автор И. Ср. Камашев), 1830, ч. III, и др.

³ «Московский вестник», 1827, кн. I, стр. 39, 47; 1827, кн. II, стр. 231, 234, 235.

Эта последняя мысль, защищавшаяся еще в «Мнемозине» В. Ф. Одоевским, была одной из основных в эстетических воззрениях сотрудников «Московского вестника». Так, в «Деннице, альманахе на 1830 год» (М., изд. Максимовича), была напечатана статья Д. В. Веневитинова — «Анаксагор», в которой автор характернейшего стихотворения «Поэт» («Московский вестник», 1827, т. II, № 5)

Тебе знаком ли сын богов,
Питомец муз и вдохновенья...

декларировал: «философия есть высшая поэзия»¹.

Стихотворения и статьи Д. В. Веневитинова («Скульптура, живопись и музыка» в «Северной лире на 1827 год») считались в кругу писателей, близких к «Московскому вестнику», манифестами философской поэзии. Раич пропагандировал в пансионе его взгляды на искусство:

Природа не для всех очей
Покров свой тайный подымает:
Мы все равно читаем в ней,
Но кто читая понимает?
Лишь тот, кто с юношеских дней
Был пламенным жрецом искусства,
Кто жизни не щадил для чувства,
Венец мученьями купил,
Над суетой вознесся духом
И сердца трепет жадным слухом,
Как вещий голос, изловил...²

Безвременно погибший юноша (1827) в глазах учителя Лермонтова был совершенным воплощением поэта — глашатай идеалов красоты, добра и истины. В статье о сочинениях Д. Веневитинова (изд. 1829 г.), напечатанной в «Галатее», раскрывалось значение поэтической личности поэта-гетеанца в терминах шеллингианской теории: автор статьи знал, что на ее основе выросли существенные темы лирики покойного поэта. «Веневитинов (говоря его любимым выражением) каким-то светлым «пророчеством души» заранее постигал недоступные тайны жизни, несмотря на недостаток опыта. Всякий стих его есть плод зрелого, самобытного чувства; всякое чувство его есть цвет души — богатой и сильной. Любимый поэт его, которому приносил он дани песен и уважения, был Гете. Вероятно, со

¹ Стр. 103. См. также его статью «Несколько мыслей в план журналу», прочитанную им в его кружке.

² «Поэт и друг», в «Московском вестнике», 1827, № 7.

временем он успел бы перенести на наш север цвет германской поэзии — Фауста, судя по прекрасным отрывкам из одного...¹ Так как гармония мира, всюду скрытая, теряется в бесконечно пестром разнообразии предметов видимых, беспорядочно разбросанных по миру своевольною рукою человека, — так поэты и художники, сии отголоски гармонии предвечной, сии звуки неба, сии *избранные пророки*, теряются в нарядной толпе людей обыкновенных... Мгновенная звезда пролетела по небу: она исчезла, но долго, долго на небосклоне запечатлено будет ее лучезарное сияние, и сей неизгладимый след звезды говорит нам, что она была не земного, а небесного происхождения².

Представление о поэте — «истинном пророке»

С печатью власти на челе,
С дарами выпренных уроков,
С глаголом неба на земле³ —

идеалистическая теория божественного происхождения искусства были распространенными на страницах журналов той поры, продолжая общеевропейскую романтическую традицию, которая в русской поэзии нашла полноценное выражение еще в лирике Жуковского. Теме свободы поэтического творчества, прославлению поэта-пророка были посвящены три стихотворения Пушкина, напечатанные в «Московском вестнике»: «Поэт», «Пророк» и «Чернь»⁴. Не разделяя философско-романтической основы эстетики московского журнала, Пушкин своей защитой независимого поэта и его высокого призвания, облеченной в библейскую и антично-мифологическую фразеологию, был близок кружку Д. В. Веневитинова.

Философско-поэтическое воззрение на искусство, дело которого «подслушивать таинственные отголоски сей вечной гармонии»⁵, разлитой в мире, и на художника — как «сына гармонии», опиралось на учение о небесной родине

¹ Веневитинов перевел три отрывка из «Фауста». «Монолог Фауста» напечатан был в «Московском вестнике» (1827, № 1), два других — в Собрании его сочинений, изданном в 1829 г.

² «Галатее», 1829, ч. 2, № 7, стр. 40—41.

³ Из стихотворения Д. В. Веневитинова в Собрании его сочинений, 1829.

⁴ 1827, ч. 6, № 23; 1828, ч. 7, № 3; 1829, ч. 1.

⁵ По выражению Надеждина, который, называя Шеллинга «великим мыслителем», в то же время видел в философии немецкого идеалиста «чадную атмосферу туманных мистических слов». — «Вестник Европы», 1828, № 21, стр. 101.

человека, о которой он вспоминает на земле, учение, выраженное еще в греческой философии Платоном¹ и воспринятое в романтическом искусстве. Сотрудники «Московского вестника», участники альманахов «Северная лира», «Денница», усиленно насаждали эту теорию, неоднократно говоря о «гармонии вселенной», «вечном порядке и гармонии», «мифе о предсуществовании души» (по выражению Надеждина, находившего самую идею справедливой)².

В стихах и прозе писалось о «божественном прообразе» идей, о том, что в душе человека сохранилось воспоминание о «лучшем мире», где души «блаженствовали прежде земного бытия своего, созерцая вечное начало красоты, истины и блага», о том «мире вечной гармонии», откуда иногда доносятся таинственные звуки, заставляя человека томиться сладкой тоской об идеальном бытии³.

Во власти этой романтической теории находился в начале своей литературно-критической деятельности «неистовый Виссарион», писавший: «не напрасно мерцают для нас звезды таинственным блеском и томят душу нашу тоскою, как воспоминание о нашей родине, с которой мы давно разлучены и к которой рвется душа наша...»⁴.

Лермонтов отдал дань этой романтической теме. В его стихах находим противопоставление «неба» и «земли», признание «безбрежной свободы божественной души», «божественного огня, от самой колыбели (в ней) горевшего».

Поэт связывал с «небом» свою душу, где

...недоступные уму
Живут воспоминанья о далекой
Святой земле... ни свет, ни шум земной
Их не убьет...

В первоначальном варианте стихотворения «Ангел» (1831) эта тема о небесной отчизне человека и о «неволе земной» нашла наиболее полное выражение:

¹ См. изложение мифа о пещере в «Сочинениях Платона, переведенных с греческого и объясненных проф. Карповым, ч. III. Политика или государство». СПб., 1863, кн. VII, стр. 354.

² См. статьи Н. И. Надеждина «Идеология по учению Платона» и «Метафизика Платонова». — «Вестник Европы», 1830, № 11, 13 и 14.

³ «Сон душ» С. Шевырева. — «Московский вестник», 1827, № 7 его же «Две чаши». «Утро 9 мая» А. Норова в «Северной лире» 1827 год; «Звуки» Каллидора в «Московском вестнике», 1827, № 13 ср. выше стихи Л. Якубовича.

⁴ «Опыт системы нравственной философии», 1835.

Душа поселилась в твореньи земном,
Но чужд был ей мир. Об одном
Она все мечтала: о звуках святых,
Не помня значения их.
И долго желаньем напрасным полна,
Страдала, томилась она,
И звуков небес заменить не могли
Ей чудные песни земли.

Но, в отличие от современника-поэта, воспевавшего неземной голос, который в душе человека «о родине лепечет милой» и, вырастая по воле человека,

Небесной пищей укрепясь,
О небе громче он расскажет
И с божеством родную связь
В огне любви покажет¹,

Лермонтов подчеркивал страдание человека от разъединения «звуков небес» и «скучных песен земли», вынужденное неудовлетворенностью «миром печали и слез». Чуждый пассивного мироощущения, полный тревожных исканий в борьбе за земное счастье, он вносил в освещение философско-романтической темы такие нюансы, которые показывали, что *пушкинское*, реалистическое начало более органично у юноши-поэта, чем туманная, обрекая на бездейственные порывания, идеология Любомудров из «Московского вестника». Лермонтов верил, что «чувство есть у нас святое — надежда, бог грядущих дней», но то место, где «любовь предстанет нам, как ангел нежный», он представлял себе совсем не в романтическом стиле: «на небе иль в другой пустыне», — заявлял он, тем самым лишая мысль о «небе» ее метафизического наполнения. Мало того, поэт прямо восклицал:

Как землю нам больше небес не любить?
Нам небесное счастье темно;
Хоть счастье земное и меньше в сто крат,
Но мы знаем, какое оно...

И, возражая своему стихотворению «Ангел», писал, «для мира и неба чужой»:

Я не для ангелов и рая
Всесильным богом сотворен...
(1831)

Одновременно, в согласии с романтическим представлением о «неземном» образе художников-поэтов, Лермонтов, теряясь взорами среди огнистой цепи звезд, мнил,

...будто на главу поэта
Стремятся вместе все лучи их света.

¹ А. Зиллов. «Зародыш». — «Молва», 1832, № 97.

Тема об избранничестве поэта переплеталась в сознании современников Лермонтова с темой о гении, как о особой творческой индивидуальности, о необыкновенных людях, посланниках судьбы, с необычайной жизнью, потрясавшей человечество величием и роковой гибелью. К числу этих необыкновенных людей прежде всего был отнесен Наполеон, о ком печатались в журналах статьи, воспоминания¹, кому посвящались многочисленные стихотворения, поэмы², кто вызывал глубокие раздумья на страницах дневников при созерцании его портрета или эпизодов из его военной биографии, изображенных кистью художника.

Об исключительной популярности книг о Наполеоне любопытно рассказано в сцене в книжной лавке, где книгопродавец, указывая на перемену читательских вкусов («бывало, Коцебу слыл автором полезным в столицах, а теперь в степях его чтецы»), сообщал собеседнику — переводчику и помещику:

Вот Бонапарт в великой моде:
Куда хорош он в переводе.
История его была раз издана:
В два месяца уж вся разобрана.
Все любят славное — умы-то стали тонки³.

У Лермонтова мы находим целый цикл стихотворений о Наполеоне. Образ «героя дивного» с «высокими думами», «безвременно погасшего», который считал себя «выше и похвал, и славы, и людей», выступает уже в первом стихотворении 1829 года как необыкновенная, титаническая личность. Судьба Наполеона вызывала у Лермонтова размышления об относительности людских приговоров, о

¹ «Отрывки из жизнеописания Наполеона Бонапарт», соч. Вальтер Скотта. — «Московский вестник», 1827, № 16; «Отрывки из истории Наполеона» (с франц.). — «Атеней», 1829, ч. II; «Джулио» (повесть, рассказанная Наполеоном). — «Московский вестник», 1827, № 1 и 2; «Египетский поход Наполеона» (с франц.). — «Славянин», 1828, № 6; «Остров святыя Елены». — «Бабочка», 1830, № 12 и 13; «Могила Наполеона». — «Московский телеграф», 1830, ч. 36; «Разговор барона Августа Сталья с Наполеоном в Шамбери» (из 7-й части VIII гл. Записок Бурьени). — Там же, 1830, № 12.

² «Наполеон». Стихотворение М. Дмитриева. М., 1828; «Лирические поэмы Николая Неведомского», П., 1828; «Наполеон и два гения» Трилунного. — «Галатей», 1829, ч. X, «Тень великого» («Есть дикая скала») П. Петрова. — «Галатей», 1830, № 35; «Ода Наполеону по отречении его от престола в 1814 г.» (из сочинения лорда Байрона). — «Славянин», 1828, ч. XI. стр. 182—187, и др.

³ «Московский вестник», 1827, ч. V, стр. 485.

равнодушны толпы к ее вчерашнему, сегодня побежден-
ному кумиру:

Поверь: великое — земное
Различно с мыслями людей,
Сверши с успехом дело злое —
— Велик, не удалось — злодей.
Среди дружин необозримых
Был чуть не бог Наполеон;
Разбитый же в снегах родимых
Безумцем порицаем он;¹
Внимая шум волны прибрежной,
В изгнании дальном он погас,
И что ж? — Конец его мятежный
Не отуманил наших глаз!.. (1830)

История жизни Наполеона на фоне современных ему исторических событий вскрыла различное отношение в русской журналистике к XVIII веку, к французской буржуазной революции и ее деятелям. Исторический труд Вальтер Скотта о Наполеоне печатался в отрывках в нескольких журналах и вышел отдельно в русском переводе С. де Шаплета в 1831—1832 годах. Здесь английский консерватор дал волю своему негодованию по адресу революционных вождей, в чрезвычайно резкой форме набросал портреты якобинцев, которых не называл иначе, как «извергами»².

Орган Н. А. Полевого, при всех симпатиях к романтическому умозрению, защищал завоевания европейской культуры, порожденные революционной Францией, высоко ценил XVIII век, выбирая из французской журналистики статьи, в которых революционный переворот рассматривался как великое, общеевропейское дело³. Н. И. Надеждин называл Вольтера, как Байрона, «зловещей кометой». По его словам, «Кошун французский представляет печальное зрелище духа, который, прорвавшись вне себя, на безбрежный океан бытия и не имея пред очами путеводной звезды — закруживается и начинает вымещать свое бесприютное скитание шутовским глумлением и арлекинскими выходками против всего, что ни попадет под руку...⁴ Несколько

¹ Давно указано, что в этой части стихотворения — зерно рассуждений Раскольникова («Преступление и наказание» Достоевского).

² «Отрывки из *Жизнеописания Наполеона*, соч. В. Скоттом (1. *Первый триумфират якобинцев*, 2. *Юность Наполеона*) — в «Московском вестнике», 1827, № 16, стр. 363 и др.

³ См., например, статью (с франц.) «XVIII век, или историческое значение времени с 1700 по 1800 г.», — «Московский телеграф», 1833, январь, № 1.

⁴ «Вестник Европы», 1830, январь, № 1, стр. 31.

позже, в своей речи на торжественном собрании Московского университета 6 июля 1833 года, он дал характерную оценку XVIII века во Франции: «Это был век всеобщего гниения жизни. Я вызываю вас, м. м. г. г., указать мне в истории человеческого рода другую подобную эпоху, которая бы в кратком пространстве столетия сосредоточивала столько распутств и ужасов. В тяжком вековом томлении Римской империи вы не найдете периода, с коим можно было сравнить сей зловеющий век, начавшийся оргиями Регентства и заключившийся свирепствами терроризма, век кошунства и нечестья, разврата и безначалия, век шарлатанов и изуверов, интриганов и крамольников, сибаритов и убийц»¹.

Как смотрели на идеологическое движение XVIII века пансионские наставники Лермонтова, редакторы «Галатеи» и «Атенея»?

Мы знаем, как много был обязан «веку просвещения» Пушкин, называвший себя «крестником Вольтера», в лицейских стихах писавший о своих книжных влечениях:

Фернейский злой крикун,
Поэт в поэтах первый...
Всех больше перечитан,
Всех менее томит... (1814)

Лермонтов учился в другое время: не Куницын, а Павлов был авторитетным наставником в Университетском благородном пансионе. Но идеи «века просвещения», коими насыщены были сочинения Байрона и Пушкина, — двух любимых поэтов юноши Лермонтова, — оплодотворяли его мировоззрение, если не прямым путем через чтение самих просветителей XVIII века, то при посредстве автора «Чайльд-Гарольда» и «Дон-Жуана», автора «Вакхической песни» и «Андрея Шенье». Культ *разума*, критической *мысли*, заключенный в творениях этих писателей, был близок молодому поэту, который не мог, как и Пушкин, стать под знамена «Московского вестника».

Необходимо отметить, что ни «Галатея», ни «Атенея» не заняли непримиримой позиции по отношению к французским деятелям XVIII века и, таким образом, не раз-

¹ «О современном направлении изящных искусств. Слово, произнесенное ординарным профессором теории изящных искусств и археологии Николаем Надеждиным». Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета 6 июля 1833 г., М., 1833, стр. 44.

рывали традиции, связывавшей старшее поколение, воспитанное на «разрушительных» идеях века Просвещения, с новым, которое образовывалось в годы господства иных идейных доктрин. В «Галатее» была напечатана переводная статья (с немецкого) «Посещение Фернея в 1829 году» (1829, ч. X, № 51)¹, и другая, тоже заимствованная из одного иностранного журнала с примечанием от издателя: «Вольтер, во всяком случае, важен в истории современного просвещения»². Это примечание Раича показывает, что бывшей участником Союза благоденствия, — несмотря на давление времени, связи с кружком Шевырева вынужденный делать сговорки, — все же согласился поместить статью «Литературная и политическая жизнь Вольтера», в которой о французском просветителе было сказано: «Вольтер один собою представляет XVIII век... Трудно найти в [истории], кто бы оказал большие услуги человечеству». В этой статье французская просветительная философия нашла положительное признание: «Философия призвана была не созидать, а разрушать; прежде просвещения народов, ей должно было вывести их из заблуждения. Таково было ее назначение, которое она исполнила с мужеством и успехом, коими ум и человечество имеет право гордиться»³.

«Атеней», хотя и поместил остроумную заметку о Вольтере из записок его противника, Сабатеро де Кастро, в которой каждый из собравшихся ученых, произнося речи о «всеобъемлющем гении» Вольтера, указывал, что о его специальности (математике, истории, физике, юриспруденции и пр.) Вольтер не имеет никакого понятия, судит как ученик и пр.⁴, однако, М. Г. Павлов напечатал переводную статью (с французского) «О переворотах французской литературы со времен Людовика XIV», где о Вольтере и Руссо было сказано, что «большая часть философских сочинений Руссо, а особливо Вольтера, уважения достойны в отношении к литературе»⁵. Скептическая философия Вольтера не встречала в редакторе «Атеней» принципиального возражения, потому что, будучи слушателем в Париже Кузенья, теоретика эклектизма, он разделял мнение этого популярного философа того времени, который заявлял, что «сенсуализм, идеализм, скептицизм;

¹ См. также «Атеней», 1830, № 51.

² «Галатее», 1830, ч. XI, № 3, стр. 23.

³ «Галатее», 1830, ч. XI, № 3—5, стр. 123, 253, 257.

⁴ «Разговор о Вольтере», — «Атеней», 1828, № 3, стр. 63—68.

⁵ «Атеней», 1829, ч. III, стр. 6.

мистицизм (все четыре системы) — имеют свое достоинство и свою пользу»¹.

Павлов знакомил своих читателей с деятелями разных областей культуры. Он печатал в своем журнале лекции французского историка Гизо, Вильмена, и, кажется, первое известие в русской печати о Роберте Оуэне с сочувственной оценкой английского социалиста-утописта появилось в «Атенее»². Словом, критическое отношение к разнообразным явлениям действительности заметно проявлялось в подборе статей редактора «Атенее». Духом национальной терпимости и уважения к гонимому в Европе и в царской России еврейскому народу проникнута переводная статья «Взгляд на настоящее состояние евреев в разных странах Европы» с характерной цитатой из «христианского философа» Ватсона: «В сей нации я вижу звено, соединяющее нас с колыбелью человеческого рода»³. Тот же критический тон звучит в «Атенее», когда журнал обрушивается на роман Булгарина «Иван Выжигин» (1828), называя его истомою романов⁴, идя наперекор мнению большинства читателей этого нравоописательного романа, — в том числе «Московского телеграфа», который с появлением положительной оценки булгаринского романа начал первые шаги к сближению с блоком враждебных Пушкину литературных и политических органов⁵.

На страницах «Атенее» появились рассуждения об особенностях исторического развития России, отличные не только от охранительной идеологии командующих верхов, но и от ученых исследователей вроде Погодина, начавшего уже в это время строить концепцию, родственную в исторической части будущему славянофильскому учению.

Под мощным воздействием национально-освободительных

¹ «О главных родах систем философских, лекция Кузения». — «Атеней», 1829, февраль, стр. 251, 256.

² «Нью-Ланарская бумагопрядильня в Шотландии» (извлечение из письма Пиктета) В. Андросова, — «Атеней», 1828, № 19, октябрь.

³ «Атеней», 1828, № 21, стр. 59.

⁴ 1829, № 9. См. также «Галатею», 1830, № 11.

⁵ Вот что писалось в «Московском телеграфе» об успехе «Ивана Выжигина»: «Просвещенные и невежды, умные и неразумные, дамы, старики, офицеры, купцы, чиновники, даже девушки и дети толкуют о Булгарине, о его успехах литературных. Разговоры о Иване Выжигине составляют приправу холодных визитов, скучных посещений, столкновений деловых людей и сборищ за сытными обедами» (1829, ч. 28, стр. 65).

эпохи начала XIX века исторические воззрения получили философское обоснование в трудах русских и европейских исследователей, публицистов. На русской почве интерес к проблеме философии истории отвечал особенно пробудившемуся после Отечественной войны 1812 года национальному чувству. В краткой формуле К. Полевой выразил разделявшееся передовой общественной мыслью воззрение на значение отдельного народа в истории человечества: «Каждый народ имеет права на внимание философа и наблюдателя, как член одного огромного семейства, как выразитель какой-либо отдельной оригинальной мысли»¹. Поиски этой «оригинальной» сущности русского народа составляют историю общественной мысли тридцатых — сороковых годов, но эти философские взгляды носились в воздухе уже в конце двадцатых годов, — о них Лермонтов слышал на уроках Раича, проводившего историческую точку зрения на литературную жизнь народа, читал в «Атенее» в статье В. Оболенского, который на вопрос: «что есть писатель?» — отвечал: «Представитель своего века и народа и вместе — звено в общем историческом бытии человечества»². Журналы того времени освещали проблемы *народности, историзма*, вкладывая разное содержание в эти термины, по-разному оценивая тенденции исторических романов Загоскина (отрывки из «Юрия Милославского», между прочим, печатались в «Атенее», 1829, ноябрь) и Булгарина («Дмитрий Самозванец»).

Одной из черт в понимании *народности* было признание художественной ценности памятников народной поэзии. В журналах появилось много песенного материала, пропагандировалась подлинная народная песня, печатались пародии на те песни-романсы, которые выдавались за народные.

Уроки Дубенского подкреплялись многочисленными образцами фольклора, которые Лермонтов находил и в «Московском вестнике»³ и в «Московском телеграфе»⁴, и

¹ «Московский телеграф», 1832, ч. 46, стр. 72.

² «Атеней», 1828, июнь, № 12, стр. 399 (в статье «Об отличительном качестве поэзии и красноречия»).

³ «Старинная русская песня» («Перепелка-пташечка»), 1827, т. VI. Народная песня («Как по садику, по зеленому добрый молодец похаживал»), 1828, ч. VIII. Русская песня («Калину с малиной вода поияла»), 1829, ч. I.

⁴ «Не шуми, мати зеленая дубравушка», 1830, ч. XXXII; тут и пародия Феофритова на псевдонародную песню из эпохи Иоанна Грозного, написанную в «душегрейке новейшего унытия».

в альманахах¹. В понимании термина *народность* также вкладывалось требование национального своеобразия, отражения в искусстве родного быта без рабского копирования иноземных образцов. «Московский вестник» ставил вопрос: «что же необходимо для того, чтоб возросло древо поэзии русской?» — и отвечал: «Нужно *свое* семя, своя почва, удобренная богатыми знаниями, деятельной и доблестной жизнью — историей; нужны, наконец, благотворные лучи всеоживляющего солнца — гения» (1827).

Журнальные повести, поэмы, стихотворения еще не раскрывали народной жизни во всей полноте, но в прозаических жанрах уже стали появляться произведения с реалистическими картинами быта; таковы были повести Погодина — «Нищий» (1826)², «Черная немочь» (1829)³, о которых Белинский писал в 1834 году: «обе они замечательны по верному изображению русских простонародных нравов, по теплоте чувства, по мастерскому рассказу, а последняя — по прекрасной, поэтической идее, лежащей в ее основании».

Внимание критика-разночинца привлекла повесть о молодом человеке из купеческой семьи, который жаждал учиться, который, по словам автора, мог бы стать «вторым Гердером или Ломоносовым» и который погиб жертвой семейного деспотизма и невежества. В повестях встречались намеки на разорение и нищету крестьян⁴, описания дворянского быта новых «Простаковых и Скотининых»⁵, высшего общества.

Известный Лермонтову поэт А. Башилов, характеризующий дворянское общество, писал:

В стенах рассеянной Москвы
Дни считаются пирами,
Люди взрослые, как дети,
Хлюпушкой лени время бьют,
Человек в сужденьях связан,
Сердце спит под гнетом дум,
Ум под клятвою обязан
Носить приличия костюм,
Есть на все свои законы,

¹ Украинские песни в «Северной лире на 1827 год». (стр. 155—159), в «Урагии» (например, «Веют ветры, веют буйны, аж деревья гнутся...», стр. 148).

² «Урагия».

³ «Московский вестник», ч. II, стр. 1—71.

⁴ «Утро ростовщика» («Московский вестник», 1830, ч. II; «Галатей», 1830, № 50, стр. 228).

⁵ «Галатей», 1830, № 6, стр. 306.

А честь двусмысленный закон,
Виноватые все права,
Честь бесчестьем погоняют¹.

В конце двадцатых годов литература еще робко становилась на путь анализа социальной жизни, еще не наступило торжество романа и повести, хотя движение к этому явлению ясно определилось. В это время романтическая поэзия преобладала: недаром первым выступлением в печати того же года была поэма «Ганс Кюхельгартен» (1829), во многом созвучная лирическому творчеству юного Лермонтова. Критику быта, свое недовольство жизнью поэты выражали в форме показа столкновения и борьбы общественных слоев, а в форме или лирического монолога о своем одиночестве среди «толпы слепой», или в форме размышлений о «беспредельности», «мудрости», «мысли», «силе духа» и пр. Если на последние темы любил упражняться С. Шевырев, то студент В. Соколовский, впоследствии участник кружка Герцена, в 1830 году писал об «обмане надежд и счастья» и горько жаловался:

Ужель средь земного пированья
Я только одинок, забыт, всего лишен?
Ни разу счастьем я не был упоен,
И сердца лучшие желанья
Все гибнут для меня, как позабытый сон².

Эти разнородные тенденции в лирических произведениях конца двадцатых годов нашли наиболее яркое отражение в творчестве двух поэтов, имена которых Лермонтов встречал в одних и тех же журнальных книжках: Тютчева и Полежаева чаще других поэтов печатал Рацин в своей «Галатее»³.

¹ «Галатее», 1829, ч. V, стр. 102—103.

² «Галатее», 1830, № 34.

³ Стихотворения Тютчева: «Весенняя гроза», 1829, ч. I, № 3; «Могила Наполеона», 1829, № 8; «Cache-Cache», 1829, ч. IV, № 17; «Летний вечер», 1829, № 24; «Олегов щит», 1829, ч. VII, № 34; «Друзьям», 1829, № 29; «Средство и цель», 1829, № 44; «Бессоница», 1830, № 1; «Из Фауста Гете», 1830, ч. II, № 5; «Из Гейне», 1830, ч. XII, № 8; «В горах», 1830, № 13; «Приветствие духа» (из Гете), 1830, № 38; «Вопросы», 1830, № 40; Из Гейне, 1830, № 41; «Вечер», 1830, ч. 15; «Сны», 1830, ч. 16, № 27.

Стихотворения Полежаева: «Вечер», 1829, № 3; «Валтасар», 1829, № 6; «Песнь пленного ирокезца», 1829, № 10; «Табак», 1829, № 26; «Другу, при посылке стихов», 1829, ч. III, 12, «К...», 1829, ч. III, № 14; «Кремлевский сад», 1829, ч. V, № 22; «На смерть Тютчева», 1829, № 35; «Песня из Панары», 1829, № 40; «Живой мертвец», 1830, № 4; «Отрывок из поэмы «Узник», 1830, ч. XII, № 11. Стихотворения Тютчева были напечатаны также в «Атенее», 1829, № 1

Секретарь русского посольства в Мюнхене и разжалованный в солдаты студент одновременно печатались в том журнале, который, наряду с «Атенеумом», скорей всего падал в руки воспитанников пансиона. Их стихи, столь похожие по тематике, но родственные в чувстве обреченности, одиночества человека при внутренней энергии страсти в разрешении вопросов жизни, вызвали самое пристальное внимание Лермонтова. Философская окраска поэзии одного, политическая направленность поэзии другого — обе струи были близки молодому поэту. В стихотворениях Тютчева и Лермонтова можно усмотреть тематическое сходство, что отчасти объясняется воздействием на обоих поэтов романтической поэзии и общими философскими интересами. «Роковое», «стихийное» во вселенной, основа которой «бездна», «хаос» — форма выражения идеи темной воли вечной природы, — у Тютчева нашло поэтическое воплощение в ранних стихотворениях: «На камень жизни роковой», «Бессонница», «Как океан объемлет шар земной», «Видение» с типичными образами:

Настанет ночь, и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой...
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены...

Нам мнится: мир осиротелый
Неотразимый рок настиг,
И мы, в борьбе с природой целой,
Покинуты на нас самих...

В юношеской лирике Лермонтова также встречается тема мира как арены проявления стихий, рока: в грозу — «стихий тревожных рой мятется», «стремление всех над земных сил» «над темной бездною морской»¹:

Наш дух вселенной вихрь умчит
К безбрежным, мрачным сторонам.

(«На камень жизни роковой») и в популярных тогда альманахах «Ураания» («Проблеск» и др.), «Северная лира на 1827 год» («Слезинка с чужой стороны», «В альбом друзьям»).

В «Ураании» появился перевод Полежаева поэмы Ламартина «Человек к Байрону» (стр. 269—287).

¹ «Гроза», 1830, ср.:

...А мы
Окованы над бездной тьмы.

Мой дух утонет в бездне бесконечной
(«Смерть», 1830)

«Бездна смерти роковой» (1831)
И «бездны бесконечный шум»
(об океане, 1832)

Лирике Лермонтова нередко выражения:

Счастья жизни скоротечной
Вечный роковой конец. (1829)

Нет! рок хотел... (1829)

...злобный рок... (1829)

На нем печать оставил рок... (1829).

..скоро волю рока
Узнаешь ты... (1829)

Стремится медленно толпа людей,
До гроба самого от самой колыбели,
Игралищем и рока и страстей... (1829)

И начал рок меня томить... (1830)

Мы сгинем, наш сотрется след,
Таков наш рок, таков закон (1830) ¹

Образ тютчевских «демонов глухонемых» находим и у Лермонтова:

...мой теперешний покой
Лишь глас залетный херувима
Над сонной демонов толпой
(«К себе», 1830—1831)

Образ в стихотворении у Тютчева:

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами... (1830)

годом раньше появился у Лермонтова:

Ты ж, чистый житель тех неизмеримых стран,
Где стелется эфир, как вечный океан.

Эти встречи обоих поэтов не раз происходили: то Тютчев и Лермонтов одновременно останавливались на образах Наполеона и Байрона², то Тютчев на много лет раньше Лермонтова переводил из Байрона и Гейне привлекавшие внимание обоих поэтов стихотворения³. В своем стихотво-

¹ См.: «пламень роковой», «бури роковые», «печаль роковая» и т. д.

² См. еще «Олег» Лермонтова (1829) и «Олегов щит» Тютчева (1828—1829).

³ «Lines written in the album at Malta» Байрона (у Тютчева — «В альбом друзьям», 1827; у Лермонтова — «В альбом», 1836); «Ein Fichtenbaum steht einsam» Гейне (у Тютчева — «С чужой стороны», 1827; у Лермонтова — «На севере диком», 1840). Гетеvский образ был повторен Тютчевым в стихотворении «Песок сыпучий по холму» (1837): «ночь хмурая, как зверь стокий, глядит из каждого куста», и Лермонтовым в «Мцыри»:

И миллионом черных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста...

рении «Проблески» Тютчев за несколько лет до «Ангелас по повелению»
размышлял на сходную с Лермонтовым тему по поводу звуков «воздушной арфы в сумраке глубоком»:

Ты скажешь: ангельская лира
Грустит, в пыли, по небесам!
О, как тогда с земного круга,
Душой к бессмертному летим...

Оба поэта предавались мыслям о неизбежной гибели всего смертного, о конце вселенной (у Тютчева — «Сия задумчив и один», у Лермонтова — «Кладбище»); если Тютчев говорил о человеке, как скоро вянущем «земно-злаке», то Лермонтов, называя «сына праха» «земным червем», сравнивал человека с быстро вянущим растением. Пантеистическое воззрение на вселенную, отраженное в стихотворении Тютчева «Не то, что мните вы, природа» (1836), заметно в лермонтовской лирике; если Тютчев мал о природе:

В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык... —

то и Лермонтов, представляя себе океан и волны, еще Тютчева писал:

Я понимал их разговор,
Живой и полный выраженья.
В нем были ласки и укор, —
И был звучней тот звук чудесный,
Чем ветра вой и шум древесный,
И в море каждая волна
Была душой одарена!

Считающаяся типично тютчевской философская тема «двойного бытия», как мы увидим ниже, была предметом мучительных раздумий юноши Лермонтова.

Но если некоторые идейные мотивы сближают лирику Тютчева и Лермонтова, то «сумеречное» настроение первого не разделялось вторым; так, когда Тютчев «в чуждой тоске невыразимой» восклицал:

Все во мне, и я во всем...
Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь души моей,
Тихий, томный, благовонный,
Все залей и утиши.
Чувства мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!.. —

Лермонтов, «пламенно любивший природу», желавший «втеснить ее» в свою грудь, «готовый (подобно своему герою) кинуться в ее объятия», мыслил «слияние» с космосом как нечто стихийное, в динамическом проявлении:

Пусть отдадут меня стихиям! Птица,
И зверь, и огонь, и ветер, и земля —
Разделят прах мой, и душа моя
С душой вселенной, как эфир с эфиром,
Сольется и развеется над миром!..¹

Если Тютчев мыслил «зло» в мире как поэт-метафизик, то его младший современник в понятие зла, наряду с этическим², вносил социально-политическое содержание. Тютчев восклицал:

...Люблю сие, незримо
Во всем разлитое, таинственное зло (1830).

Лермонтов говорил о человеке:

Сей царь над общим злом! (1830),

представляя это зло как «оковы» жизни, как «звон злата и цепей», как «земную неволю». Если же он называл себя «избранником зла», то это означало, что его понятие о зле было антагонистично всяческим предрассудкам, косности и пошлым взглядам, то есть вело за собой критику, разрушение обветшалых понятий в общественном быту. Однако не надо забывать, что если Тютчев, лично знакомый с Шеллингом, устаивался высокой похвалы религиозно настроенного философа³, то он в то же время был другом свободомыслящего Генриха Гейне и перевел знаменитое атеистическое стихотворение «Fragen», которое, может быть, впервые стало известно Лермонтову благодаря переводу Тютчева, помещенному в «Галатее», где оно, под названием «Вопросы», было напечатано в 1830 году.

¹ См. еще «Крест на скале» (1830) и «Отрывок» (131):

Я вопрошал природу, и она
Меня в свои объятия приняла,
В лесу холодном в грозный час метели
Я сладость пил с ее волшебных уст...

² «Стансы», 1830 («выюга зла»).

³ О чем Лермонтов мог прочесть в напечатанном в «Московском вестнике» письме П. В. Киреевского, рассказывавшего о своем посещении Шеллинга, который расспрашивал его о Москве, о Жуковском, Тютчеве и проч. (1830, ч. I, Отрывки из частных писем. О Шеллинге).

Более действенным и созвучным было знакомство Лермонтова с поэзией Полежаева. Есть предположение, что стихотворения Полежаева доставлял Раичу университетский товарищ автора «Сашки», — поэт и переводчик А. Ротчев, печатавшийся в «Галатее»¹. Не исключена возможность, что стихотворения Полежаева доходили до редактора «Галатеи» через Л. Якубовича, которому Полежаев посвятил свой перевод думы Ламартина «Восторг». Ссылный поэт был популярен в Университетском пансионе: не случайно в первом сборнике стихотворений Полежаева (1832) был приложен его портрет работы пансионского учителя рисования Ястребилова. Не подлежит сомнению, что через Лукьяна Якубовича, участника кружка Раича, ученики пансиона доставали копии стихотворений Полежаева без цензурных сокращений, с включением всех политических тирад против самодержавия.

Читатели Полежаева в стихах «вербованного поэта» чувствовали биение подлинного страдания, муку лично пережитого; слухи о его трагической судьбе усиливали впечатление того «вопля отчаяния», который слышался в его стихотворениях. «Песнь погибающего пловца» с рефреном:

Тонет, тонет
Мой челнок!

расшифровывалась знавшими биографию поэта как крик гибнущего не по своей вине или по несчастной случайности, а по вине «тирана», «палача», которому «отдана родная страна». Этот образ «челнока», нередкий в сентиментально-романтической поэзии, получил в лирике Полежаева значение символа политического борца, обреченного на гибель. Политическое звучание приобрели романтические образы «одинокого», «странника в мире», «всем чужого»; «слепой, злобный рок», «рок пагубный и жалкий» постигался в самом *земном* смысле, с точным адресом его местопребывания. В лирике Полежаева получали новую жизнь привычные, ставшие литературным клише, образы:

Сокрушает тоска
Молодого певца,
Как в земле мертвеца
Гробовая доска...

¹ «Песнь вакханки», 1829, ч. I, № IV.

Я увял, и увял,
Навсегда, навсегда
И блаженства не знал
Никогда, никогда...
Не расцвел — и отцвел
В утре пасмурных дней... ¹

Ненависть к самовластью, политическому строю с «рейтором-императором» во главе, и гордый, не сгибающийся перед тираном поэт — обреченная жертва, но гибнущая с верой в грядущую победу и отмщение врагу, — с таким применением к современной, окружавшей Лермонтова и его сверстников действительности воспринималась «Песнь пленного ирокезца»:

Я умру! на позор палачам
Беззащитное тело отдам!
Но, как дуб вековой,
Неподвижный от стрел,
Я недвижим и смел
Встречу миг роковой! —

«Узник и солдат» из тюрьмы, где «сырость вечная и тьма», обращался к другу-читателю с убежденной верой,

Что если средства нет спастись
От угнетенья и цепей,
То жизнь страшнее ста смертей —
И что свободный человек
Свободно кончить должен век...

«Живой мертвец» мечтал свои «оковы разбить» и «живую кровью утолить сладостное мщенье».

К политическим темам Полежаев присоединял философские размышления о вечности, о боге с атеистической аргументацией («Арестант»); «безбожный сорванец» в поэме «Сашка» смело говорил о религиозных предрассудках, называя «сказками» канонические верования церкви.

Поэзия Полежаева была одним из влиятельных факторов воздействия на политические настроения Лермонтова. Оба поэта, несмотря на различие возраста и личной судьбы, были сходны друг с другом в своих душевных тревогах, в своем недовольстве жизнью, обманутых надеждах, своем протесте против самовластья. Образы, поэтическая фразеология того и другого нередко сближались между со-

¹ «Вечер» («Галатея», 1829) в собраниях сочинений Полежаева — «Вечерняя заря».

бою: «сын природы»¹, «везде один», «всем чужой»², «цепь бытия», причем Лермонтов употребил последнее выражение в 1830 году, Полежаев — в 1832 году: (см. «Крест на скале» и «Ожесточенный»).

В одном примере видно, как Лермонтов, повторяя образ Полежаева, сочетал его с поэтическим образом других ему известных лириков. У Полежаева в «Живом мертвце» (1828) Лермонтов нашел образ:

Кумиры счастья и свободы
Не существуют для меня, —
И, *член ненужный бытия,*
Не оскверню собой природы!
Мне мир — пустыня, гроб — чертог!
Сойду в него без сожаленья,
И пусть за миг ожесточенья
Самоубийцу судит бог!

Припомнив традиционный образ «гостя на пиру земном» (в «Шильонском узнике» Жуковского, у Пушкина и у других), Лермонтов создал новую формулу:

Ненужный член в пиру людском,
Младая ветвь на пне сухом, —
В ней соку нет, хоть зелена, —
Дочь смерти — смерть ей суждена!
(«Стансы», 1831)³

Образ мстителя, «свыше обреченного», «осужденного к позорной казни» и «без боязни встречающего на плахе печальный мрак могилы», нашел в поэзии Полежаева, после «Исповеди Наливайки», наиболее волнующую форму, насыщенную пафосом жертвенности.

Этот образ, порожденный преддекабрьской общественной атмосферой, возник у поэта еще до катастрофы в его жизни. Тот же образ стал навязчивым в сознании юноши Лермонтова, отражая типичные переживания политически оппозиционной «Молодой России» после 14 декабря. Любопытно, что в поэзии Лермонтова он появился, когда поэту показалось, что народные волнения, общественное возбуждение в его стране и на Западе должны были стать предпосылкой для его участия в революционном деле и возможной гибели в начавшейся борьбе с царизмом (о чем ниже).

¹ Полежаев. «Песнь пленного ирокезца» (1828); Лермонтов. «Портреты» (1829).

² Полежаев. «Песнь погибающего пловца» (1828), «Вечерняя заря» (1828); Лермонтов. «Портреты» (1829). «Элегия» (1830).

³ Б. М. Эйхенбаум. Лермонтов. М., 1924, стр. 54—55.

Реальная действительность оформила в сознании Лермонтова ярко эмоциональный образ поэта-борца, характерный для лирики Полежаева:

Давно душой моей мятежной
Какой-то демон овладел,
И я зловещий мой удел,
Неотразимый, неизбежный,
В дали туманной усмотрел..
Не розы светлого Пафоса,
Не ласки гурий в тишине,
Не искры яхонта в вине, —
Но смерть, секира и колеса
Всегда мне грезились во сне!

В сознании Лермонтова Полежаев жил с ореолом поэта — политического трибуна, бесстрашного врага царизма:

Изгнаньем из страны родной
Хвались повсюду, как свободой;
Высокой мыслью и душой
Ты рано одарен природой;
Ты видел зло и перед злом
Ты гордым не поник челом.
Ты пел о вольности, когда
Тиран гремел, грозили казни;
Боясь лишь вечного суда
И чуждый на земле боязни,
Ты пел, и в этом есть краю
Один, кто понял песнь твою.

Много лет спустя поэт сочувственно вспоминал Полежаева в своей «нравственной поэме» «Сашка».

...«Сашка» — старое название!
Но «Сашка» тот печати не видал
И недозревший он угас в изгнании...
(XXXIII строфа).

В последней (восемнадцатой) части «Галатеи» за 1830 год была перепечатана без указания фамилии автора вторая глава поэмы «Андрей, князь Переяславский», вышедшая в том же году.

Ее автором был сосланный в Сибирь декабрист А. Бестужев-Марлинский. В поэме исторический герой говорит языком поэта-гражданина нового времени:

...Общественному благу
Я посвятил мою отвагу...

Автор вложил в его уста свою веру в светлое будущее человечества:

На землю снидут вновь
Покой и братская любовь,
И свяжет радуга завета
В один народ весь смертный род.

Лермонтов читал обе главы этой поэмы¹; среди нескольких картин и образов, нашедших отражение в его поэме «Кавказский пленник», он запомнил стих:

Белеет парус одинокий...²

К чтению Лермонтовым стихов Рылеева добавим знакомство его в пансионский период с другим поэтом-декабристом, а также, возможно, со стихами А. И. Одоевского в «Литературной газете» и в альманахе «Северные цветы».

Журналы внимательно следили за европейской литературой и много места отводили переводам. Французские, немецкие, английские, итальянские писатели, — старые и новые, — были представлены в разнообразных жанрах. Вальгер Скотт, Ф. Купер, Вашингтон Ирвинг, Манзони, Тик, оффман, В. Гюго, Нодье, де-Виньи, Бальзак, Мериме и многие другие были знакомы тогдашнему читателю «Московского телеграфа», «Московского вестника», «Галатеи», «Атеней»... Погодин напечатал в своем журнале роман Шатобриана «Рене» (1827, ч. V, № 17). Стихотворения и поэмы Адама Мицкевича переводились в стихах и прозе; на страницах «Вестника Европы» «Крымские сонеты» появились даже в переводе на украинский язык³.

Если присоединить многочисленные переводы некоторых из указанных выше иностранных писателей (например, исторические романы В. Скотта, Ф. Купера), о которых появлялись рецензии в журналах, то станет ясным, что любознательному читателю был открыт широкий простор для удовлетворения его умственных интересов. Лермонтов, прекрасно владевший тремя иностранными языками, мог знакомиться с западной литературой в оригинале и читать тех поэтов, имена которых не встречались в русских переводах.

¹ Первая глава поэмы была напечатана в 1828 г.

² Л. Семенов. «К вопросу о влиянии Марлинского на Лермонтова». Эттикс из «Филологических записок» за 1914 год. Воронеж, стр. 3—5.

³ «Вестник Европы», 1830, январь и февраль.

Все сказанное выше дает право утверждать, что в идейном развитии Лермонтова пансионской поры русская журналистика сыграла значительную роль, обогащая его темы философско-исторического содержания, заставляя думать над вопросами, которые волновали передовых людей России и Европы, знакомя с современными поэтами разных школ и направлений, с европейскими и русскими романистами и драматургами, освещавшими историческое прошлое и современную социальную борьбу с таких противоположных точек зрения, которые вызывали интенсивную работу мысли, требовали критического переосмысления исторических событий и роли прославленных исторических деятелей (Вольтер, Наполеон и другие).

10

К 1830 году относится заметка Лермонтова, оставшаяся до сих пор не раскрытой: «Наша литература так бедна, что я из нее ничего не могу заимствовать, в 15 же лет ум не так быстро принимает впечатления, как в детстве; но тогда я почти ничего не читал. — Однако же, если захочу вдаваться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях... в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности». Если сравнить годы, проведенные поэтом в Москве, с жизнью в Тарханах, то, конечно, его книжные впечатления до 1827—1830 годов должны были казаться ему ничтожными. Но первое утверждение заметки Лермонтова так наглядно опровергается его литературными опытами этих лет, что рассуждение поэта — столь обязанного Пушкину, Жуковскому, включавшего в свои поэмы целые куски из сочинений Ломоносова, Дмитриева, Батюшкова, Козлова и других, — не должно рассматриваться в буквальном смысле. Лермонтов в действительности многое «заимствовал» из русской литературы — и темы, и жанры, и образы, поэтические формулы, семантический и лексический материал. Вторая половина рассуждения о преимуществах народной поэзии с критическим отношением к французской словесности помогает понять мысль Лермонтова о «бедности» современной ему русской литературы. Молодой поэт чувствовал неудовлетворенность, читая грустный роман Пушкина о герое — «лишнем человеке», которого «мечтам невольная преданность и резкий, охлажденный ум» не нашли применения в общественной жизни; ему были понятны «онегинские» на-

строения, но он мечтал о герое-борце, о полноценной человеческой личности, смело утверждающей жизнь или гордо погибающей, преодолевая препятствия. «Положительные» герои с благонамеренной, елейной моралью в романах Забоскина и Булгарина вызвали в авторе «Монолог» естественное возмущение. Лермонтов хотел найти в современной литературе поэзию подвига, богатырской силы — гимн героизму, что пленяло в русской народной поэзии и чего не было и не могло быть в тогдашней литературе, деятели которой были скованы глухим безвременьем, бесперспективностью после декабрьского разгрома при отсутствии в стране открытой политической борьбы, в стране с закрепощенным крестьянством, чья жизнь и интересы были чужды подавляющему большинству дворянских писателей.

Одним из его литературных планов было «написать записки молодого монаха 17-ти лет... *Страстная душа томится. — Идеалы...*» Тема другого плана — древнерусский герой Мстислав, раненный в битве с татарами, умирая, просит, чтобы его дела были рассказаны какому-нибудь певцу, — «чтобы этой песнью возбудить жар к родине в душе потомков»; «юный князь Василий утонул в крови во время битвы». Третий сюжет посвящен был жизни в Америке «диких, угнетенных испанцами», причем, хотя Лермонтов и ссыался на источник его сюжета — роман «Аттала», но с темой его трагедии французский роман имел самую отдаленную связь, так как в центре внимания Шатобриана стояли не «угнетенные дикие». Четвертый сюжет — судьба разночинца, вступившего в борьбу с обществом и начальством, сосланного и застрелившегося¹.

Тоска по отсутствию «идеального» человека, героического характера, картин борьбы за свободу родины породила Лермонтову критическое рассуждение о «бедности» русской литературы. Классика французской трагедии XVII века, романтические образы вроде Рене, «неистовая» литература конца двадцатых годов, меланхолическая лирика Ламартина или бескрылая поэзия Мюссе должны были казаться Лермонтову искусством или далеким от современных запросов, или уступающим в энергической силе

¹ Сюжет трагедии: «Молодой человек в России, который не дворянского происхождения, отвергаем обществом, любовью, унижаем начальниками. (Он был из поповичей или из мещан, учился в университете и вояжировал на казенный счет). Он застрелился».

героям русского фольклора. Юноша испытывал жажду сильных впечатлений, реальная действительность не давала пищи для них; художественная литература или рисовала лучших людей в трагической обреченности, бесплодных порываниях, или прикрашивала лживой идиллией пустоту и мерзость быта.

В поэмах Лермонтова, написанных в пансионские годы¹, правда реальной жизни, не интересной в глазах автора, заменялась правдой его психологических переживаний; быт же и взаимоотношения людей освещались фантастической выдумкой, герои избирались из всех стран Европы и Востока, «исключительное» предпочиталось «нормальному». Если в первых двух поэмах, сюжетно связанных с Кавказом, еще можно найти детали недавно виденного поэтом в Пятигорске², то в остальных шести (кончая поэмой «Джюльено») действие происходит или в Италии, Греции, Швеции, Финляндии, в Париже, Цареграде или в языческой Руси, оглашаемой «смелым гласом северных скальдов», или в таинственных лесах неизвестной страны. Впрочем, и в поэму с картиной никогда не виданной им Венеции Лермонтов вставил превосходное описание русских степей:

Печален степи вид, где без препон
Скитается летучий Аквилон,
И где кругом, как зорко ни смотри,
Встречаете березы две иль три,
Которые под синеватой мглой
Чернеют вечером в дали пустой..

Типический персонаж в поэмах Лермонтова — молодой человек, идущий с оружием выручать брата из тюрьмы; участник войны за освобождение Греции; «изгнанник своевольный», преступник, наделенный «любовью к свободе золотой»; варяг, князь Олег, замысливший «разрушительный набег» на Византию; Заира, отвергающая любовь сул-

¹ Также в «Черкесах» допансионского периода.

² И на горе стоит высокой
Прекрасный град, там слышен громкой
Стук барабанов, и войска,
Закинув ружья на плеча,
Стоят на площади. И в параде
Народ весь в праздничном наряде
Идет из церкви. Стук карет,
Колясок, дрожек раздается;
На небе стая галок вьется;
Всяк в дом свой завтракать идет;
Там тихо ставни растворяют...

тана, верная «первой страсти» и в глаза называющая «грозного султана» палачом.

Душевный строй героя — жажда необычного. «Желал я быть в боях жестоких», — говорит один:

...мы часто в корабли
Опять садились, в быстры волны
С отважной дерзостью текли,
Какой-то гордости полны.
Мы правы были: дом царей
Не так велик, как зыбь морей.

Другой герой «зрел смутною душой, внимал неравнодушно» «теньям сильных», — героев прошлого:

На мне была тоски печать,
Бездействием терзалась совесть...

Третий мечтал прославить «шум крамол», четвертый «желал скорей в себя вдохнуть прохладный воздух, *вольный, как народ*».

В поэме «Джюлио» в устах героя зазвучал лейтмотив поэзии Лермонтова:

Так жизнь скучна, когда боренья нет...

Недовольство повседневным, отрицание традиционных верований, стремление оторваться от «пасмурных» впечатлений жизни выливались одновременно в мечтах о героическом прошлом своей родины и в романтической теме — создании образа демона (1829—1830), печального и мрачного духа отверженья, но который «сгорал жаждой любви», страдал от «бесплодных размышлений» и, «душой измученною болен», мечтал в любви найти источник жизни, чуждой «коварству и вражде». Этот образ, предмет раздумий поэта до конца его жизни, уже в пансионской редакции 1830 года получил словесную форму, сохраненную Лермонтовым в последней редакции поэмы — знак постоянства размышлений над данным образом:

Печальный демон, дух изгнания...

Книжные источники были использованы для яркой раскраски романтического героя, для набора литературных приемов, характерных для романтического стиля. Лирические перерывы повествования, форма исповеди, отрывоч-

ность, недосказанность, декламативные тирады¹, гипербо-
лы², антитезы³, метафоры и эмоциональные эпитеты со
специфической лексикой («мятежной ярости полна душа»,
«мстительный металл», «изгнаннический прах», «мрачные
стремнины», «уст неизлечимый яд», «в бездумьи мрачном
и немом» и пр.), сказочные сравнения («как адский дух»,
«как некий дух ночной») — все это продолжало традицию
поэтического жанра школы Байрона и Пушкина, иногда
нагнетая концы поэмы трагизмом в большей мере, чем это
было в основном литературном источнике. В «Кавказском
пленнике» Лермонтова гибли черкешенка и убитый ее от-
цом русский; к Пушкину присоединен был Байрон — автор
«Абидосской невесты» (в переводе Козлова). Образ героя
поэм, написанных в пансионе, некоторыми своими сторона-
ми сближается с лирическим портретом, господствующим
в стихотворениях, которых насчитывается около сотни за
пансионский период.

Как солнце осени суровой,
Так пасмурна и жизнь моя, —
Среди людей скучаю я: —
Мне впечатление не ново...
Мне скучно в день, мне скучно в ночь,
Надежды нету в утешенье;
Она навек умчалась прочь,
Как жизни каждое мгновенье...
Взгляните на мое чело,
Всмотритесь в очи, в бледный цвет; —
Лицо мое вам не могло
Сказать, что мне пятнадцать лет...
...веселость, звук чужой
Поныне в словаре моем.

1 О сколько мук! Потеря чести!
Любовь и стыд и нищета!
Вражда непримиримой мести
И гнев отца! («Преступник»)
Ах, было время, время боев
На милой нашей стороне.
Где ж те года? прошли оне
С мгновенной славою героев («Олег»)

2 И наше судно воздымалось
То вдруг до тяжких облаков...
...Томный взор
Чернее тьмы, ярче света,
Глядел...
...Женская душа
Как океан неисследима!..

3 Не выразил бы чувств моих в сей миг
Ни ангельский ни демонский язык...

Можно было бы значительно увеличить количество подробных высказываний на тему о тоске, скуке, снедающей поэта, который указанием на возраст подчеркивал автобиографичность лирического персонажа. Но эти переживания, как они ни были устойчивы, перемежались с «безумным волнением», с «неясными мечтами», с ожиданием «счастливого дня».

Но пылкий, но суровый нрав
Меня грызет от колыбели... —

признавался поэт, раскрывая свое подлинное «я», основу своего характера.

Богатство, противоречия и своеобразие интеллекта поэта в годы его юности лучше всего проявлялись в его творчестве, которое служит его исповедью, дневником, имеет значение автобиографических признаний, хотя и ретушированных стилистически, но отражавших то, что сам поэт считал значительным в своих настроениях.

Чаще всего рассматривая свои пансионские произведения как заготовки для будущей писательской работы, Лермонтов варьировал и повторял темы, образы, фразеологию, включал в свои стихотворения и поэмы цитаты из сочинений других авторов, как удобные заменители нужного ему тематического материала, уже ранее нашедшего соответственную литературную форму. Иногда такой способ обработки избранной темы применялся как бы в целях сохранения умственной энергии, которую не стоило тратить на поиски словесных формул, приблизительно или точно выраженных его предшественниками в однозначных темах; иногда некоторые формулы запоминались, становились как бы собственными и употреблялись поэтом или без всякого изменения, или с небольшими поправками: так, облик Наполеона в «Евгении Онегине»:

Под шляпой, с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом, —

был повторен в третьей строфе и в конце стихотворения Лермонтова «Наполеон»:

Как ныне грустен, руки сжав крестом,

...Под шляпою, с нахмуренным челом,
И две руки, сложенные крестом.

В стихотворении «К другу» (1829) тема:

Любовь пройдет, как тень пустого сна, —
Не буду я счастливым близ прекрасной;
Но ты меня не спрашивай напрасно:
Ты, друг, узнать не должен, кто она, —

повторяет конец стихотворения В. Астафьева в «Северной
лире на 1827 год» (стр. 285):

Я не был счастлив близ прекрасной,
Моя душа тоски полна...
Не спрашивай меня напрасно,
Ты не узнаешь, кто она¹.

Лермонтов, как и всякий другой поэт, — не только начинающий, — применял образы, встречавшиеся у его современников: например, романтический образ звезды мы находим у него (см. «Звезда», 1830), у Веневитинова, Тютчева, Баратынского, Полежаева и других; образ «звезды падучей» («К гению», 1829) находим также у Полежаева, у Кольцова (1829), у красноярского поэта И. Петрова². Поэтический язык поэта складывался в итоге обильного чтения литературы разных направлений, но основные элементы его те же, из которых состоял поэтический язык его современников. Поэтому наличие в его стихотворениях и поэмах церковно-славянизмов и мифологизмов нет необходимости выводить из поэзии XVIII века: эти элементы входили в состав языка всех писавших в конце двадцатых годов XIX века. Лермонтов часто употреблял славянизмы: «в граде», «(на) брегах», «драгая», «гладный мор», «вран», «ветр», «власы», «вежды», «зерцало вод», «глас», «глава», «перси», «пени», «зрят», «узрели», «мещет», «сей ток» («в сей бездне», «сей мир») и пр. Нечленные формы прилагательных и причастий: «бегущи волны», «сокрыты прелести», «первоначальны впечатления», «девственны ланиты»; родительный падеж женского рода на *ья* — *ия* вместо *ой*: «бор седой заглохшия

¹ Оба стихотворения совершенно различны по общему тону: если Астафьев говорит о своем «сердечном холоде и безнадежной любви», то Лермонтов заявляет:

Навек мы с ней разлучены судьбою,
Я победить жестокость не умел.
Но я ношу отказ и месть с собою;
Но я в любви моей закоренел.

² И кто-то вновь звездой падучей
Блестит, горит...

(«Московский вестник», 1828, ч. X.)

дубровы», «с *Балканския* вершины», «под ветвями *пустынь* рябины»; церковно-книжная огласовка:

И *возвышенные* стремнины...
Вскочил мой рыцарь *восхищенный*
..... стрелой
Летит он цветик *драгоценной*
Сорвать поспешною рукой.

Но подобные речевые формы создавались самим поэтом как устаревшие: включая в поэму «Черкесы» отрывок из «Освобожденной Москвы» И. И. Дмитриева, он замечал архаическое выражение:

И се, зрю зарево кругом
просторечным:

И ~~видю~~ зарево кругом.

Школьное преподавание литературы закрепляло в языке поэта традицию мифологических образов: у Лермонтова встречаются «зефир», «тирс», «Парнас», «муза», «лира», «Марс», «Венера», «Феб», «Диана», «Вакх», «Парка», «Пегас», «Эрот», «Купидон», «Пан»¹.

Можно найти у поэта — правда, в ничтожной степени — следы сентиментального стиля; автор «Кавказского пленника» писал:

Дыханье ветерков проворных
И ропот ручейков нагорных
И пенье птичек по кустам.

Но даже ранний язык Лермонтова, при всей его пестроте, — как правильно отметил В. В. Виноградов, — сдерживался в границах лексической ясности и живой доступности влиянием в первую очередь пушкинского стиля.

¹ Образцы мифологии и истории античного мира не исчезли из языка поэта и в позднейшие годы: Тантал, Ариадна, Эол, нимфа Пифия, Аквилон, Прометей, Меркурий, Аполлон Бельведерский, Феникс, Аврора, «аттический овал лица», «стоическая твердость», «каменный стоик», «софист», «амфора» и т. д. Упоминаются: Демосфен, Сократ, Архимед, Леонид, Ахиллес, Коклес (см. в поэме «Монго»:

Так, силой вражеской гонимый,
В кипящий Тибр с мечом в руках
Прыгнул Коклес неустрашимый
И тем прославился в веках.)

Стремление к живой разговорной речи, сжатости и простоте выражений характеризует уже пансионские опыты поэта: говоря о просторечных формах («худова», «нету», «стадов черкесских»), оборотах народно-поэтических («блистаючи»), местных словах («тулук»), необходимо указать на описания в той реалистической манере, которая была продолжением пушкинского стиля:

Дымятся низкие долины,
Где кучи хижин небольших
С дворами грязными. Вкруг их
Растут кудрявые рябины,
На высотах чернеют пни
Иль стебли обгорелых сосен.
(«Два брата», 1829).

В языке Лермонтова иногда попадаются слова, которые на первый взгляд могут показаться неологизмами, но на самом деле они употреблялись в книжной речи того времени; так, например, в поэме «Преступник» дважды встречается слово «*прошлец*»:

Лёжал застреленный прошлец...

Кто сей погубленный прошлец ¹.

В журнале «Славянин» за 1828 год (ч. XI), в заметке по поводу романа Булгарина, Воейков писал: «Как зовут Выжигина? Известного *прошлеца* Выжигина в первом томе кличут Ванькою» (и т. д.). В поэме Лермонтова это слово дано в значении: *путник, прохожий*, в журнале — в смысле *проходимец*. Вместо *Самум* Лермонтов писал: *Симун*, как и поэт Ознобишин в стихотворении «Арабский конь»:

Так вихрем несется Симун грозовой,
Реващий, палящий, одеянный мглой... ²

Иногда Лермонтов образовывал новые слова: «мель *береговая*», «рощи *береговые*» (употребляя в то же время: «шум воды *прибрежной*»), «*бредучая* стопа»; употреблял слова не в обычном их смысле: «*неизбежимый* жребий», «звук песни *произвольной*», «и нет к ним *жалостных*

¹ «Джюлио»:

..... И прошлец,
Германии иль Англии жилец.

² «Галатея», 1829, ч. V, № 25, стр. 194. Ср. у Лермонтова:
Пока вдали мгновенный, как Симун,
Не скрылся всадник и его скакун...

сердец», «достигают *противных* берегов», «обреченный тяжкой долей» и др. Подобные словообразования юноши Лермонтова, однако, теряются в основном строе его поэтического языка, который развивался в соответствии с общелитературной речью в духе пушкинской системы.

Большую работу проделал поэт в применении различных жанров в своих стихотворениях: элегия, эпиграмма, монолог, дума, баллада, стансы, песня и другие жанры в его лирике относятся к 1828—1830 годам.

Из стихотворных размеров в эти годы преобладал в его стихах четырехстопный ямб, который служил поэту для передачи его душевных тревог, сложных эмоций, размышлений на многообразные темы. Психологическая окраска эпитетов («печальной молнии змея», «обманутые очи», «беспокойное чело», «пасмурный и недовольный взгляд»), пристрастие к сравнениям, усиливавшим эмоциональное настроение: «взор мрачен и дик, как сражения дым, как туча на небе...», «и с уст мечта, как дым, слетит», — все это отражало напряженную интеллектуальную жизнь юноши, который «любил с начала жизни угрюмое уединение, где укрывался весь в себя», который стремился прежде всего передать в стихах свою переполненность разнородными переживаниями. Но поэт далеко не на все полученные им впечатления откликнулся: его пансионские стихи иногда лишь бегло касались тех вопросов, которым предстояло углубленно раскрыться в будущем; юноша-поэт, прежде чем дать поэтическую форму некоторым мыслям, возникшим у него при чтении книг, слушании лекций, — обдумывал их, носил в себе, медленно впитывая в себя.

Процесс накопления идей шел не параллельно их литературному выражению: духовный мир Лермонтова был глубже и сложнее, чем его поэтическая исповедь пансионского периода.

Лермонтов в конце 1829 года перевел стихотворение Шиллера «Дитя в люльке»:

Счастлив ребенок! и в люльке просторно ему: но дай время
Сделаться мужем, и тесен покажется мир.

В шестом классе пансиона он почувствовал, что мог бы провести год школьной жизни более продуктивно, чем в пансионе, что он по своему развитию в состоянии ускорить переход в Московский университет.

Одно обстоятельство весной 1830 года оказало решающую роль в оставлении Лермонтовым Университетского благородного пансиона до окончания учебного года, до выпускных испытаний зимой 1830 года.

11

11 марта 1830 года, в четыре часа пополудни, в пансион приехал Николай I, без всякого предупреждения, один, без свиты. Об этом памятном царском посещении колоритно рассказал Д. А. Милютин:

«Это царское посещение было до того неожиданно, непредвиденно, что начальство наше совершенно потеряло голову. На беду государь попал в пансион во время «перемены», между двумя уроками, когда обыкновенно учителя уходят отдохнуть в особую комнату, а ученики всех возрастов пользуются несколькими минутами свободы, чтобы размять свои члены после полуторачасового сидения в классе. В эти минуты вся масса ребятишек обыкновенно устремлялась из классных комнат в широкий коридор, на который выходили двери из всех классов.

Коридор наполнялся густою толпою жаждущих движения и обращался в арену гимнастических упражнений всякого рода. В эти моменты нашей школьной жизни предоставлялась полная свобода жизненным силам детской натуры; «надзиратели», если и появлялись в шумной толпе, то разве только для того, чтобы в случае надобности обуздывать слишком уже неудобные проявления молодечества.

В такой-то момент император, встреченный в сенях только старым сторожем, пройдя через большую актовую залу, вдруг предстал в коридоре среди бушевавшей толпы ребятишек. Можно представить себе, какое впечатление произвела эта вольница на самодержца, привыкшего к чинному, натянутому строю петербургских военно-учебных заведений. С своей же стороны толпа не обратила никакого внимания на появление величественной фигуры императора, который прошел вдоль всего коридора среди бушующей массы, никем не признанный, — и наконец вошел в наш класс, где многие из учеников уже сидели на своих местах в ожидании начала урока. Тут произошла весьма комическая сцена: единственный из всех воспитанников пансиона, видевший государя в Царском Селе, — Булгаков, — узнал его и, встав с места, громко

приветствовал: «Здравия желаю вашему величеству!» — Все другие крайне изумились такой выходке товарища; сидевшие рядом с ним даже выразили вслух негодование на такое неуместное приветствие вошедшему «генералу»... Озадаченный, разгневанный государь, не сказав ни слова, прошел далее в 6-й класс и только здесь наткнулся на одного из надзирателей, которому грозно приказал немедленно собрать всех воспитанников в актовый зал. Тут, наконец, прибежали, запыхавшись, и директор, и инспектор, перепуганные, бледные, дрожащие. Как встретил их государь — мы не были уже свидетелями, нас всех гурьбой погнали в актовый зал, где с трудом, кое-как установили по классам. Император, возвратившись в зал, излил весь свой гнев на начальство наше и на нас, с такой грозной энергией, какой нам никогда и не снилось.

Пригрозив нам, он вышел и уехал, а мы все, изумленные, с опущенными головами, разошлись по своим классам. Еще больше нас опустило головы наше бедное начальство.

На другой же день уже заговорили об ожидающей нас участи; пророчили упразднение нашего пансиона. И, действительно, вскоре после того последовало решение преобразовать его в «Дворянский институт», с низведением на уровень гимназии»¹.

Царь давно был недоволен «духом» пансиона; в это посещение, так как ему не было оказано надлежащих почестей, он прямо-таки пришел в бешенство и окончательно убедился, что после закрытия Царскосельского лицея оставлять Университетский пансион с его правами и преимуществами, по положению 1818 года, — значило нарушать «единство системы народного просвещения, которую правительство ставило на правилах твердых и единообразных», как писал С. Шевырев в «Истории Московского университета», комментируя указ 29 марта 1830 года о преобразовании пансиона в гимназию по уставу 8 декабря 1824 года. Н. М. Сатин в своих воспоминаниях писал, что он вместе с Лермонтовым оставил пансион «после преобразования пансиона и введения розог».

Может быть, Николай I в своей речи угрожал ученикам пансиона этим наказанием. Ученики знали, что телесные наказания практиковались в тогдашних гимназиях.

¹ Другие подробности об этом царском посещении пансиона сообщил Г. Головачев. («Русский вестник», «Отрывки из воспоминаний», 1880, октябрь, стр. 698—699).

о чём вспоминал Д. А. Милютин, учившийся до поступления в пансион в московской гимназии, где, по его словам, «учителя били линейкой по пальцам, драли за уши, а некоторые даже призывали в класс сторожей с пучками розог и тут же, без дальнейших формальностей, раздевали провинившихся и пороли не на шутку». Во всяком случае, указ 29 марта 1830 года вызвал большой переполох среди родителей учащихся, многие хотели переместить своих детей в другие учебные заведения; министр народного просвещения князь Ливен особым отношением к попечителю московского учебного округа князю Голицыну от 11 мая 1830 года успокаивал, что поступившие до указа не лишались прежде дарованных им прав на приобретение 14, 12 и 10 классов при выпусках их на службу из гимназии. Отношение министра уже не заставило Лермонтова в пансионе: в апреле 1830 года он подал прошение об увольнении его из пансиона.

11 марта 1830 года Лермонтов впервые увидел «высочайшего фельдфебеля» с «оловянными глазами», налитыми гневом и ненавистью; получил наглядный урок, чего можно ожидать от этого «Далай-Ламы в ботфортах», грозившего скорпионами всем, кто казался ему нарушителем созданного им порядка.

На указ царя о реформе пансиона Лермонтов ответил уходом из пансиона. Это была первая демонстрация поэта против царского распоряжения, ранний намек на предстоявшие схватки с самовластьем, своеобразная форма протеста против насилия того политического строя, о котором Лермонтов уже в пансионских стихах проникновенно сказал: «Там рано жизнь тяжка бывает для людей».

ГЛАВА IV

В СРЕДНИКОВЕ

1

Лето 1830 года Лермонтов провёл в Средникове¹, подмосковной усадьбе Екатерины Апраксеевны Столыпиной, вдовы Дмитрия Алексеевича. Неподалеку, в Большакове, жила Ек. А. Сушкова; в одной из ближайших деревень — А. Верещагина. По воскресеньям и в праздничные дни в Средниково съезжалось большое общество. Поэт саркастически относился к бытовому окружению своей родни; большинство приезжавших принадлежало к «надменному, глупому свету с (его) красивой пустотой». Читать стихи пред «важным шутком», оспаривать «барынь, утверждавших, что Байрон был не больше, как пьяница», или заниматься разговором «романтических старушек», плачущих над Грандисоном, — не было охоты. Хотелось «остро ругать», как тех москвичей «модного света», которых поэт видел на бульваре в середине июля, в один из своих приездов из усадьбы в город. Ему противна «спесь в их пошлой болтовне»; «в наряде их нет милой простоты». Под его стихотворением «Булевар» — желчная запись: «если б это перо в палку обратилось, а какое-нибудь божество новых времен приударило в них, оно — лучше».

В глазах Лермонтова сословные предрассудки этого общества «надменных» и «спесивых» людей служили одной из причин того семейного конфликта, последний акт которого закончился в летние месяцы 1830 года. Дело в том, что Ю. П. Лермонтов хотел взять шестнадцатилет-

¹ В настоящее время в Средникове санаторий «Мцыри».

него сына к себе, Е. А. Арсеньева в нарушение договора отказалась исполнить его желание и пустила в ход все средства убеждения, чтобы внук решил в ее пользу выбор между нею, его воспитательницей, и своим отцом. М. Ю. Лермонтов любил своего отца¹, хотел переехать к нему, и решение расстаться с отцом стоило ему больших мучений. Видя расположение внука к нелюбимому ему Юрию Петровичу, бабушка обвиняла его в неблагодарности, в черствости, в отсутствии любви к ней. Отец предъявлял к нему те же обвинения. А он любил их обоих. Судьба отца — одинокого, бедняка по сравнению с аристократической родней, — вырисовывалась в воображении юноши в печальной окраске, с новой силой вызвала раздумья о житейских несправедливостях. Ему казались «сплетнями» рассказы о жизни его отца: до бабушки дошли слухи, что

Ю. П. Лермонтова в Кропотове есть дочь², что у него долголетняя связь с одной из соседок по имению³. «Эта дьявольская музыка жужжит каждый день вокруг ушей моих», — признавался поэт от лица Юрия, героя автобиографической драмы «Menschen und Leidenschaften» («Люди и страсти»). «У моей бабушки, у моей воспитательницы, жестокая распря с отцом моим, и это все на меня упадет», — читаем мы в той же пьесе. Автобиографический характер носит стихотворение «1830 год, июля 15 (Москва)», вызванное семейной драмой и тяжелыми переживаниями поэта.

Но лучше я, чем для людей кажусь,
Они в лице не могут чувств прочесть; —
И что молва кричит о мне... боюсь! —
Когда б я знал, не мог бы перенести,
Противу них зо мне горит, клянусь,
Не злоба, не презрение, не месть.
*Но... для чего старались они
Так отравить ребяческие дни? —*

¹ В декабре 1828 г. он писал М. А. Шан-Гирей: «папенька сюда приехал, и вот уже две картины извлечены из моего port-feuille... слава богу, что такими любезными мне руками».

² Когда в марте 1829 г. Ю. П. Лермонтов представил в Тульское дворянское депутатское собрание документы своего дворянства на предмет включения его с сыном в дворянскую родословную книгу, — он получил официальный запрос такого рода: «Как слышно, проситель грамоты Юрий имеет, кроме сына Михайла, дочь, то нужно иметь на нее метрическое свидетельство». Кажется, у Ю. П. Лермонтова был также малолетний сын Александр.

³ А. К. Федоров, Г. В. Любомудров и В. М. Постников: «Лермонтов в Ефремовской деревне», «Тульский край», 1927, № 1.

Согбенный лук, порвавши тетиву,
Гремит — но вновь не будет прям как был.
*Чтоб цепь их сбросить, я, подняв главу,
Последнее усилие свершил;*
Что ж. — Ныне жалкий, грустный я живу
Без дружбы, без надежд, без дум, без сил,
Бледней, чем луч бесчувственной луны,
Когда в окно скользит он вдоль стены.

«Души недуг» получил новую пищу в результате разрыва с отцом, который более не встречался с сыном. Завещание Ю. П. Лермонтова, составленное 28 января 1831 года, приоткрывает картину отношений между ними, показывает, как отец ценил своего сына, как поэт тяжело должен был переживать свою разлуку с ним.

«Хотя ты еще и в юных летах, но я вижу, что ты одарен способностями ума, — не пренебрегай ими и всего более страшись употреблять оные на что-либо вредное или бесполезное: это талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчет богу... Ты имеешь, любезнейший сын мой, доброе сердце, — не ожесточай его даже и самую несправедливостью и неблагодарностью людей, ибо с ожесточением ты сам впадешь в презируемые тобою пороки. Верь, что истинная нелицемерная любовь к богу и ближнему есть единственное средство жить и умереть покойно.

Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное твое ко мне внимание, которое я мог замечать, хотя и лишен был утешения жить вместе с тобою.

Тебе известны причины моей с тобой разлуки, и я уверен, что ты за сие укорять меня не станешь. Я хотел сохранить тебе состояние, хотя с самою чувствительнейшею для себя потерю, и бог вознаградил меня, ибо вижу, что я в сердце и уважении твоём ко мне ничего не потерял.

Прошу тебя уверить свою бабушку, что я вполне отдавал ей справедливость во всех благоразумных поступках ее в отношении твоего воспитания и образования и, к горести моей, должен был молчать, когда видел противное, дабы избежать неминуемого неудовольствия.

Скажи ей, что несправедливости ее ко мне я всегда чувствовал очень сильно и сожалел о ее заблуждении, ибо, явно, она полагала видеть во мне своего врага, тогда как я был готов любить ее всем сердцем, как мать обожаемой мною женщины... Но бог да простит ей сие заблуждение, как я ей его прощаю».

«Души тревоги» в это лето поэт испытал в женском обществе, посещавшем Средниково. Ему нравилась Сушко-

ва, ее «чудные глаза», «прелестный взор», «острота ре-
чей». Поэт казался влюбленным в нее, хотя в стихах, ей
посвященных, и признавался, что не любит ее. Выезжав-
шая в свет в течение двух зим, привыкшая к бальным
успехам, девушка то обращалась с ним, как с «мальчи-
ком», то кокетничала с ним. Она рассказывала в своих
записках:

«Сашенька и я, точно, мы обращались с Лермонтовым,
как с мальчиком, хотя и отдавали полную справедливость
его уму. Такое обращение бесило его до крайности, он
домогался попасть в юноши в наших глазах, декламиро-
вал нам Пушкина, Ламартина и был неразлучен с огром-
ным Байроном. Бродит, бывало, по тенистым аллеям и
притворяется углубленным в размышления, хотя ни ма-
лейшее наше движение не ускользало от его зоркого взгля-
да. Как любил он под вечерок пускаться с нами в самые
сентиментальные суждения, а мы, чтоб подразнить его, в
ответ подадим ему волан или веревочку, уверяя, что по
его летам ему свойственнее прыгать и скакать, чем прики-
дываться непонятым и неоцененным снимком с первей-
ших поэтов».

Но, наряду с таким обращением, Сушкова, понимавшая,
что этот юноша исключительно талантлив, пророчившая
ему великую будущность¹, с интересом слушавшая его
рассказы, «суждения», — очевидно в своем кокетстве с
поэтом зашла дальше привычного для нее светского
флирта:

Возможно ль! первую любовь
Такою горечью облить;
Притворством взволновав мне кровь,
Хотеть насмешкой остудить? —

восклидал поэт, испытав страдание от игры с ним «чер-
ноокой», «Miss Black eyes», как называла средниковская
молодежь Екатерину Александровну². Поэт обращался
к Сушковой с признанием:

¹ «Он станет выше всех его современников» (по словам Е. А. Суш-
ковой).

² В семейных рассказах Столыпиных не все верно в оценке отно-
шения поэта к Е. А. Сушковой: «писать-то Лермонтов писал, но толь-
ко не из любви [к Хвостовой], а в насмешку... Хвостова была невоз-
можно аффектированная и пренесносная барышня, над которой
все смеялись. Все нарочно притворялись влюбленными в нее, и тогда
начиналось представление. Кокетничала она, например, так: прикажет
оседлать себе лошадь и кружит по двору мимо колоннад. Ездил
плохо, но воображала, что неотразима. И вот, как на втором или

Люблю припомнить в тишине
Твой смех, твой взор и голос твой
И час воспоминанья, мне
Час бесполезный, но святой... —

но то, что

Надо мною посмеялась ты —

оставило в нем недоброе чувство, которое мстительно вспыхнуло спустя несколько лет...

Вместе с Сушковой, Верещагиной и другими Лермонтов 14—17 августа участвовал в паломничестве в Троице-Сергиевскую лавру и в Воскресенский монастырь. Шли пешком из Москвы, бабушка ехала впереди шагом. По словам Сушковой, «все были веселы, много болтали, еще более смеялись, а чему? бог знает...»

В Лавре на паперти они увидали слепого нищего; дрожащей рукой он протянул им свою деревянную чашечку, они в нее бросили несколько монет, старик благодарил их, приговаривая: «а вот наемднн приходили сюда тоже господа, тоже молодые, да шалуны, насмеялись надо мною: наложили полную чашечку камушков...»

Осмотрев Лавру, богатую историческими памятниками древности, вернулись в гостиницу. Пока все суетились вокруг стола в нетерпеливом ожидании обеда, Лермонтов «стоял на коленях перед стулом, карандаш его быстро бегал по клочку серой бумаги, и он как бы не замечал [никого], не слышал, как шумели, усаживаясь за обед... Окончив писать, он вскочил, тряхнул головой, сел на оставшийся стул против [Сушковой] и передал ей стихи¹.

У врат обители святой
Стоял просящий подаюня
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

третьем кругу поравняется с молодежью, устроит так, что шпильки не держат прически и волосы распустятся по ветру. Этого-то представления с волосами и ждали каждый день, говорили, ей, что она похожа на Диану, и всякий вздор. Конечно, Лермонтов — умница и первый насмешник — несколько в Хвостову влюблен не был...» (А. Столыпин. «Средниково. Из семейной хроники». — «Столица и усадьба», 1913, № 1, стр. 3.)

¹ «Записки» Е. А. Сушковой.

Так я молили твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою! —

Этот быстро созданный «вдохновенный труд» — преобразование случайного факта в художественное обобщение человечески значительного явления, в котором целостно слились социальное и интимное, — обнаруживал такую способность поэта к проникновению в душевный мир человеческой личности, которая свидетельствовала о зреющем таланте, двигавшемся от пристального самонаблюдения — и благодаря ему — к углубленному постижению объективного мира. Чрезвычайно показательно, что поразившее поэта явление внешнего мира он передал в стихотворении «Нищий» как подлинный художник-реалист, не копирующий действительность, а поэтически преображающий ее в соответствии со своим мировоззрением: в воспоминаниях Сушковой нищий был слепым, — Лермонтов показал его зрячим, вследствие чего образ страдающего человека, над которым насмеялись «господа», выступил социально острее.

В Воскресенске Лермонтов написал на стенах монастыря, основанного патриархом Никоном, два стихотворения. В одном из них он рисовал картину: в келье путник найдет «пергамент пыльный» и увидит,

Как ни вериги, ни клобук
Не облегчают наших мук...

В Средниково Лермонтов продолжал свои занятия музыкой (на скрипке и на фортепиано), английским языком, в котором он упражнялся с мистером Кордом (гувернером Аркадия Дмитриевича Столыпина). Родственник поэта был моложе его на четыре года. Он вспоминал, как Лермонтов беседовал с его учителем, семинаристом Орловым, которого хозяева «держали в черном теле и не любили, чтобы дети вне уроков были в его обществе. (Орлов имел слабость придерживаться чарочки)». Этот семинарист, по рассказу А. Д. Столыпина, «поправлял Лермонтову ошибки и объяснял ему правила русской версификации, в которой молодой поэт был слаб». П. А. Висковатый, очевидно со слов А. Д. Столыпина, сообщал, что эти беседы часто оканчивались спорами, но что Лермонтов охотно слушал народные песни, с которыми Орлов знакомил его¹. Рассказ

¹ П. А. Висковатый, стр. 90.

А. Д. Столыпина требует комментария. Ученик Дубенского, Мерзлякова и Раича отлично знал «правила русской версификации», но что семинаристу Орлову могли не нравиться смелые опыты Лермонтова в области версификации, это понятно. Молодой поэт нарушал «правила» не только лирики «высокого штиля», защищавшейся в пиитиках духовных училищ, но и версификации современных ему поэтов: он прибегал к таким разнообразным и сложным комбинациям стихотворных размеров, каких не встречалось ни у кого из его предшественников и современников¹. Семинарист Орлов был рекомендован Е. А. Столыпиной Алексеем Григорьевичем Столыпиным, офицером гусарского полка, вместе с которым служил старший лекарь В. И. Орлов, окончивший Медико-хирургическую академию, переводчик Горация², заслуживший переводам лестный отзыв профессора Н. И. Надеждина³: поэт с любовной, сатирической и философской тематикой⁴.

В. И. Орлов посвятил А. Г. Столыпину перевод одной оды Горация⁵. Бывший питомец Университетского пансиона, воспитанник Г. Г. Вильде, друга Батенкова, — А. Г. Столыпин ценил молодого с литературными интересами врача и ввел в семью своих родственников его брата, московского семинариста⁶.

¹ С. Н. Дурылин. «Как работал Лермонтов». М., 1934, стр. 27.

² Переводы печатались в «Московском телеграфе», 1826—1829 гг. В 1830 г. вышел «Опыт перевода Горациевых од» В. Орлова с посвящением лейб-медику, президенту Медико-хирургической академии Я. В. Виллие.

³ В рецензии Надеждина в «Московском вестнике», 1830, ч. IV, было указано, что «многие оды переданы новым переводчиком верно, благородно и сильно. Правда, состязание с Дмитриевым и Мерзляковым было для него неудачным. Но зато он смело может спорить даже с Державиным. Труд нового переводчика имеет полное право на общую признательность. Это — опыт. А каждый дельный опыт есть новая ступень к совершенству». (Критика, Русские книги, стр. 294). Были отзывы также в «Литературной газете», «Русском инвалиде» и др.

⁴ «Волга. Аполлог» («Московский телеграф», 1826, ч. VIII); «К ней» (там же, 1829, октябрь, № 19); «Жизнь» («Сын отечества» и «Северный архив», 1829, т. I); «Злато» («Московский телеграф», 1828; август, № 16). В. И. Орлов напечатал также прозаический этюд «Кошмар», или «Домовой давит» («Невский альманах» на 1831 год) и др.

⁵ «К А. Г. Столыпину» (Гораций, кн. 2, ода 3) в «Московском телеграфе», 1826, июнь, № 12, ч. IX, стр. 155—156.

⁶ В. И. Орлов посвятил третью оду Горация А. И. Орлову, деящую — П. И. Орлову. Один из этих братьев Орловых и был домашним учителем в семье Е. А. Столыпиной.

Если в качестве образца слога и версификации Орлов показывал Лермонтову перевод Горация, посвященный его братом А. Г. Столыпину, то молодой поэт, конечно, вступал в спор, доказывая архаичность манеры переводчика:

Спокойный дух в день тяжелой нужды,
В дни счастья презорства чуждый,
Умей сберечь, о Делий мой!
Равно добыча смерти жадной,
Влачить ли будешь век с бедой,
Или за чашею отрадной,
На мураве уединен,
Ты сладко вкусишь жизни сон!..¹

Перевод с такой фразеологией, как: «неси вино и масти», «Тибр... лобзает желтою сидрицей» и пр., не мог не вызывать споров между Лермонтовым и Орловым. Разночинец, подобно брату, «немногих благ большой владелец», не желавший променять «на чашу пресыщений» свой «сосуд трудом добытых наслаждений», понимавший, «чем счастлив в наследном поле земледелец»², — встретил в молодом родственнике аристократической семьи Столыпиных не только ценителя народной поэзии, с которым он слушал песни крестьян села Средникова, но и человека, который сочувственно слушал его рассказы о подневольной жизни этих крестьян. Орлов знал, как бедствовала средниковская деревня. Крестьяне с ужасом рассказывали о прежних владельцах усадьбы. Перед автором стихотворения «Жалобы турка» раскрывалась другая сторона народного быта, о которой в записках «черноокой» Сушковой, в главе, описывавшей средниковское житье-бытье, не было ни слова.

От Лермонтова, конечно, не могли укрыться контрасты средниковской усадьбы и деревни. Он думал о трагедии со сценами из крестьянской жизни: «прежде от матерей и отцов продавали дочерей казакам на ярмарках, как негров: это в трагедии поместить», — читаем мы в одном из его набросков. О Средникове есть любопытные воспоминания И. Г. Прыжова (1827—1885), которые вскрывают не усадебную идиллию, — как в записках Сушковой, — а суровую действительность крепостной деревни. «Отец мой...—

¹ Ср. в стихотворении В. И. Орлова «Жизнь»: «жизнь вечно юная, о перло чудных дел»; «Перун ли режет небеса»; «волна хлебщет по скалам» и т. п.

² Из стихотворения В. И. Орлова «Злато».

писал в своей «Исповеди» нечаевец Прыжов, — был прежде крестьянином в селе Средниково... В этом селе барский дом на горе, а самое село под горой, и вот, когда на этой горе Лермонтов воспевал мадригалы некоей Хвостовой:

Вокруг лилейного чела
Ты дважды косу обвила...¹

тогда в селе, под горой, дело шло совсем не о «лилейном челе», а о кнуте: кнут гулял еще по плечам моей тетки и дяди крестьян... Говорю к тому, что первые песни, баюкавшие мое детство, были рассказы родных о прелестях крепостного кнута»². Эти рассказы Прыжов слышал и в 1861 году, когда приехал весной в Средниково. В фельетоне «Из деревни» (отрывки из письма), напечатанном в «С. Петербургских ведомостях», 1861, № 242 (с отметкой даты: 27 апреля 1861 г.), Ив. Прыжов сообщал рассказы местных крестьян о старине: «Помнят еще Всеволодского. Он в селе построил барский каменный дом, великолепный скотный двор, который теперь в развалинах, насыпал гору сажень в семь вышины, чтоб поставить на ней беседку, и насадил на горе сосновую рощу. Беседку эту помнят еще некоторые. Для реки вырыл другое русло, а из старого сделал пруды; через реку построил мосты, у самой реки мыльню, которая стоила до 30 000 рублей; а на этом берегу развел великолепный английский сад. По концам сада стояли башни, словно церкви, а в середине рядами тянулись оранжереи. Мыльня потом была обращена в крахмальный завод, где бабы руками терли картофель, но и завод недолго стоял, а от сада остался дикий старый лес, который до сих пор слышит у народа английским садом.

По смерти Всеволодского имение перешло к Нестерову. Жадность была страшная — прутика не сломи: «ты мой, и все мое», говорил барин. Милости не было. Весь народ, бабы, девки, ребята, с утра до ночи работали на барщине; придут домой, а дети еще ничего не ели, и отправятся собирать милостыню по соседним селам. Вся округа так и знала, и если постучатся ночью, то вставали и подавали...

«Вот как разорил Нестеров крестьян», сказывал мне один старичок: «да и говорит: я вас продам. И вот достались мы графу Салтыкову. Барин был добрый...»

¹ Ссылка на записки Хвостовой, изд. Семева.

² «Минувшие годы», 1908, февраль, стр. 52.

Потом они перешли к Малышеву, а от него к нынешнему владельцу, Аркадию Дмитриевичу Столыпину...»¹

И. Г. Прыжов ошибался, когда на основании одностороннего изображения поэта в записках Сушковой писал, будто Лермонтов, живя «на горе» в средниковской усадьбе, только и занимался лирическими «мадригалами». До Лермонтова доходили рассказы о горькой жизни «под горой»; изображение крепостной деревни в его ранних пьесах «Люди и страсти» и «Странный человек» слагалось не только по детским впечатлениям в Тарханах и слухам о помещике Мосолове, — виденное поэтом в Средникове и слышанное им о том, как жили «под горой», вошло в состав антикрепостнического чувства негодования и возмущения, которым были насыщены юношеские драмы Лермонтова.

В Средникове среди летних развлечений и интимных переживаний поэт продолжал думать о политических и социальных вопросах; сама жизнь властно ставила перед ним эти вопросы, но характер его отношения к ним расходился с мнениями тех, кто окружал его в усадьбе «на горе».

Мой гений сплел себе венок
В ущелинах кавказских скал, —

писал поэт в 1830 году. Кавказ для Лермонтова был не только предметом эстетических восторгов перед красотой «лесистых гор», ущелий, обвеянных преданиями, народными легендами², но все больше привлекал к себе внимание как край, где кипела борьба, где народы бились за независимость, где проявлялось героичество, где люди покрывали себя славой, свершая подвиги.

Родственные отношения с членами семей Шан-Гирея, Хостатовых поддерживали связи с Кавказом, где поэт не был с 1825 года. Приезды их в Москву, рассказы при свидании, переписка с ними были источником обильных известий о последних событиях, военных действиях на Кавказе и в Закавказьи.

Кавказ! далекая страна!
Жилище вольности простой!
И ты несчастьями полна
И окровавлена войной!..

¹ Неточность: Средниково принадлежало раньше отцу А. Д. Столыпина, Д. А. Столыпину.

² «Утро на Кавказе», 1830.

Кавказ — когда-то «милый край свободе», но бывшая свобода горцев «приметно гибнет», — с грустью констатирует поэт, узнавая о поражениях горцев в неравном бою с их могучим врагом. Поэт с нескрываемым восхищением относился к известиям о восстаниях на Кавказе; национально-освободительный характер этой войны с царскими войсками был ему ясен. Как только он услышал, что летом 1830 года в Анкратле появился проповедник Ших-Шабан, которого все называли пророком, что вокруг него под влиянием его пламенных речей собрались полки горных лезгин, аджарцев, и 17 июня в первой же стычке русские потерпели неудачу¹, — он откликнулся 10 июля (1830) стихотворением, где посылал привет поднявшимся с оружием в руках за свободу своей родины:

Опять вы, гордые, восстали
За независимость страны,
И снова перед вами пали
Самодержавия сыны,
И снова знамя вольности кровавой²
Явилось, победы мрачный знак...³

В начале 1830 года вспыхнуло восстание в Чечне. На территории Дагестана в этом же году вылилось в мощное движение против колонизаторской политики царизма и против местных феодалов восстание мюридов под знаменем «священной войны», возглавлявшееся Гази-Мухаммедом, которого также называли пророком⁴. Лермонтов намеревался посвятить этому народному движению на Кавказе особую

¹ В. Потто. «История 44-го драгунского Нижегородского полка», 1899, т. IV, стр. 2.

² Поэт вспомнил «Полтаву»: «И зная вольности кровавой».

³ Вариант первого стиха: «Опять вы с кликами восстали» соотносится с поэмой «Измаил-бей»:

Гремя, через Кавказ пустынный
Промчался клик: война, война!
И пробудились племена.

После первого стиха первоначально было написано:

Герои дальне(го), —

очевидно, поэт хотел написать: *дальнего Кавказа*. Ср. в поэме «Измаил-бей»:

Кавказ! далекая страна...

В четвертом стихе первоначально стояло: *тиранства низкие [сыны]*. Замена словом: *самодержавия [сыны]* подчеркнула указание на *неудачу царских войск*.

⁴ С. К. Бушуев. «Борьба горцев за независимость под руководством Шамиля», 1939, стр. 62—78.

поэму: «поэма на Кавказе — герой — пророк», — такова запись его нового замысла, оставшегося неосуществленным.

В начале августа до Средникова дошли известия об Июльской революции во Франции, о трехдневных боях на улицах Парижа, о свержении короля Карла X. Эта революция, закончившаяся победой буржуазии, взорвала систему Священного союза и подняла народы Европы к революционным выступлениям против абсолютизма, феодальной аристократии. Июльская революция, реальные результаты которой впоследствии вызвали глубокое разочарование в европейской демократии, произвела сильное впечатление на ту часть русского общества, которая не могла примириться с отечественным деспотизмом и которая в факте падения династии Бурбонов получила поддержку своим оппозиционным настроениям, надеждам на возможность переворота, свержения царизма...

Студент Герцен в августе ¹ 1830 года на пути в село Васильевское прочитал во французской газете о парижских событиях, об *Июльской революции*. «Два листа Journal des Débats»... я перечитал сто раз, я их знал наизусть», — вспоминал он в «Былом и думах». — «Славное было время, события неслись быстро. Едва худошаваая фигура Карла X успела скрыться за туманами Голируда ², Бельгия вспыхнула, трон короля-гражданина качался; какое-то горячее, революционное дуновение началось в прениях, в литературе. Роман, драмы, поэмы — все снова сделалось пропагандой, борьбой.

Тогда орнаментальная, декоративная часть революционных постановок во Франции нам была неизвестна, и мы все принимали за чистые деньги. Кто хочет знать, как сильно действовала на молодое поколение весть июльского переворота, пусть тот прочтет описание Гейне, услышавшего на Гельголанде, что «великий языческий Пан умер». Тут нет поддельного жара; Гейне тридцати лет был так же увлечен, так же одушевлен до ребячества, как мы восемнадцати».

О политическом возбуждении, вызванном европейскими событиями среди студентов Петербургского университета, рассказал В. С. Печерин. Юноше, который в детские годы

¹ 4—5-го числа.

² Карл X жил одно время в королевском замке в Эдинбурге.

под влиянием гувернера-швейцарца был пропитан «жгучими идеями либерализма», стало казаться, что он «начинал уже дремать»: до такой степени в общественной жизни, по его мнению, «всех клонило ко сну...» — «Но вдруг, — писал он в своих «Замогильных записках», — раздался громовой удар, разразилась гроза Июльской революции. Воздух освежел — все проснулись — даже и казенные студенты. Да и как еще проснулись! Словно дух святой снизошел на них. Начали говорить каким-то новым, дотоле неслыханным языком: о свободе, о правах человека и др., и пр. Да чего уж тут не говорили! Даже Николаю приписывали либеральные стремления! Рассказывали, что когда пришло известие о падении Карла X, государь позвал наследника и сказал ему: «Вот тебе, мой сын, урок! Ты видишь теперь, как наказываются цари, нарушающие свою присягу». И мы этому добродушно верили.

*Sancta simplicitas!*¹ С тех пор я более уже не засыпал».

Лермонтов откликнулся на революционные «три дня» в Париже, закончившиеся 30 июля (н. с.) отречением Карла X, стихотворением «30 июля — (Париж) 1830 год»:

Ты мог быть лучшим королем,
Ты не хотел. Ты полагал
Народ унижать под ярмом, —
Но ты французов не узнал! —
Есть суд земной и для царей.
Провозгласил он твой конец;
С дрожащей головы твоей
Ты в бегстве уронил венец. —

И загорелся страшный бой;
И знамя вольности, как дух
Идет пред гордою толпой. —
И звук один наполнил слух;
И брызнула в Париже кровь, —
О! чем заплатишь ты, тиран,
За эту праведную кровь,
За кровь людей, за кровь граждан...

Мало сказать, что Лермонтов в этом стихотворении выразил свое сочувствие деятелям Июльской революции. За фразеологией дворянских революционеров двадцатых годов («тиран», «граждане», «знамя вольности») проступает тема «гордой толпы», своей «праведной кровью» обagrив-

¹ Святая простота! (лат.).

шей улицы Парижа в «страшном бою», то есть тема республиканского, демократического Парижа, плебейских кварталов столицы Франции. Своеобразие этого юношеского стихотворения при всей традиционности его окончания (тема страшного суда) заключается в том, что поэт отмечает роль народной массы в революции 1830 года. Восстания на Кавказе в соединении с рассказами и слухами о непрекращавшихся волнениях крестьянской массы содействовали реалистическому осознанию Лермонтовым значения «толпы», народа в революционном движении. «Винном свободы» «земные опились народы и начали в куски короны бить», — так воспринимал Лермонтов революционные последствия июльских дней в Европе, когда в Бельгии, Саксонии, Гессене и других государствах демократия поднялась на защиту своих прав. В сатирическом стихотворении «Пир Асмодея» европейские события рассматривались как «общая мода» к «разрушению», «винном свободы» «никто не мог жажды утолить», «все цари» в аду стали бояться, чтобы черти не напились этим «сладким напитком», «чтобы и отсюда не прогнали их». Июльская революция 1830 года вызвала у поэта воспоминания офранцузской буржуазной революции XVIII века. В изданной в 1829 году книжке «Некоторые любопытные приключения и сны из древних и новых времен»¹ он прочитал «Достопримечательный случай, описанный Литтератором Лагарпом» (стр. 222—236), как писатель Казот на вечере в начале 1788 года будто бы предсказал участникам беседы на политические, философские, литературные темы (о Вольтере, Гомере) трагическую гибель некоторых из гостей в грядущей революции (Кондорсе, Шамфор) и свою собственную гибель. Этот рассказ Лагарпа, послуживший темой позднейшего стихотворения «На буйном пиршестве задумчив он сидел»², прибавил новый, дополнительный штрих к раздумьям поэта о возможной революции в России и об его роли, об его участии в ней и гибели. Героические образы казненных декабристов, трагическая судьба Андрея Шенье в поэтическом истолковании Пушкина, тема

¹ Цензурное разрешение С. Глижки от 13 августа 1829 г.

² Книжка напечатана в Москве в университетской типографии. Эпиграф из «Гамлета» Шекспира: «Горацио! Небо и земля заключают в себе более, нежели сколько грезится вам в вашей философии».

² В. Г. «Объяснение к стихотворению Лермонтова «Казот». — «Русский архив», 1892, № 7, стр. 382—386.

обреченности в борьбе с царем-«палачом», раскрытая в стихах Полежаева, революционная патетика в стихотворениях Сушковой (Ростопчиной) — все то, что возбуждающе питало воображение поэта, европейской революцией еще резче стало очерчено в его сознании. «Предсказание» (1830) ярко отражало этот сплав разнородных идейных возбуждений. Лермонтов ожидал и желал конца деспотизма в России:

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь...

Поэт представлял, что в стране наступят всеобщий хаос, беззаконие, голод, зарево пожаров «окрасит волны рек»...

...В тот день явится мощный человек...

...И будет все ужасно, мрачно в нем,

...Как плащ его с возвышенным челом.

Предполагали ли Лермонтов этим образом «мощного человека» показать по аналогии с французской революцией, что революция в России кончится диктатурой «военного властителя» типа Наполеона¹, трудно сказать, так как стихотворение «Предсказание» осталось недоконченным, но по аналогии с другими стихотворениями оно дает право думать, что поэт мечтал стать активным участником грядущей революции, что он ожидал конца своей жизни в тревожных революционной эпохи. «Пророческой тоской» были исполнены его думы: «смерть позорная (его) зовет», его глава с груди возлюбленной «на плаху перейдет»...

Настанет день — и миром осужденный,
Чужой в родном краю,
На месте казни — гордый, хоть презренный —
Я кончу жизнь мою,
Виновный пред людьми...
Я твердо жду тот час... —

повторял поэт через год тему своей гибели в политической борьбе, «кровавой вести» о ней.

За дело общее, быть может, я паду,
Иль жизнь в изгнании бесплодно проведу, —

¹ См. комментарий к «Предсказанию» в книге В. Я. Кирпотина «Политические мотивы в творчестве Лермонтова», М., 1939, стр. 26—28.

вновь возвращался он к той же мысли о своем предназначении политического борца — в «толпе мятежной», с «гордыми врагами». Поэт предвидел свой ужасный жребий, осуждение его жизни «с злобой ядовитой» людьми, ожидал провести свою жизнь «в земле изгнания».

Эта мысль о своем политическом избранничестве¹ не была тайной мыслью поэта, он говорил об этом с друзьями, а те или не понимали его, говоря, что «болен (его) разум, желаньем вздорным ослепленный», или сомневались в его силах и готовности к борьбе! Последним он отвечал:

Не говори: я трус, глупец!..
О! если так меня терзало
Сей жизни мрачное начало,
Какой же должен быть конец!..

Лермонтов не был одинок в ожидании трагического конца, в мечте об осуществлении высокого призвания в истории своего народа, даже всего человечества.

Герцен воображал себя то Карлом Моором, то маркизом Позой: «на сто ладов придумывал я, — вспоминал он о своей юности в «Былом и думах», — как я буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнит. Странная вещь, что почти все наши грезы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда торжеством. Неужели это — русский склад фантазии или отражение Петербурга с пятью виселицами и каторжной работой на юном поколении?» («Былое и думы», ч. I, гл. IV).

Огарев, вспоминая свою знаменитую клятву вместе с Герценом на Воробьевых горах, — «в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу», — писал своему другу:

«...мы вошли в жизнь с энергическим сердцем... Хотели какого-то мирового значения, право, мы тогда чуть не воображали, что мы исторические люди»².

В. С. Печерин вложил в уста героя своей трагедии «Вольдемар» тирады о героическом подвиге, об особом избран-

¹ См. указанную книгу В. Я. Кирпотина, стр. 69—76.

² Как другу Герцена казалось, что он
...призван был работать для свободы
И победить или величаво пасть —

так пансионский товарищ Лермонтова Сазонов, по словам Герцена, «свернул в переворот (в России) и что он призван играть в нем большую роль».

ничестве, по настроению родственные тому, о чем мечтали Лермонтов, Герцен, Огарев:

Сам бог с младенчества меня избрал,
Да буду я вождем его народу...

.....
Ринусь в дикое веков боренье!
Лавр меня победный обовьет;
Я паду, — но песню искупленья
Надо мной столетье пропоет!

Факты русской общественной жизни в летние месяцы 1830 года, присоединяясь в восприятии поэта к событиям на Кавказе и в Западной Европе, поддерживали предчувствие Лермонтова, что наступают тревожные времена, чреватые грандиозными переменами.

3 июня 1830 года в Севастополе произошло восстание матросов флотских и рабочих экипажей, солдат и «прочих гражданского звания людей»; до 7 июня город находился во власти восставших. В первый же день «всеобщего мятежа»¹ был убит генерал-губернатор Н. А. Столыпин, родной брат бабушки поэта. Ворвавшаяся в дом толпа сбросила с лестницы генерала, ненавистного ей бесчеловечными приказами, и во дворе убила, а труп выволокла на улицу, где он оставался до другого дня².

До Средникова в середине августа стали доходить слухи о появлении в Саратовской губернии холеры³, о волнениях в городах, деревнях. 15-м августа помечено стихотворение Лермонтова «Чума в Саратове», в августе же было написано стихотворение «Чума». Картины гибели, «голодного мора» в «этот страшный год» настраивали тревожно; «сердца беспокойный вещий глас» подсказывал, что «скоро бьет неизбежный час».

В Москве пока все было спокойно. Лермонтов по возвращении из Троице-Сергиевской лавры подал 21 августа в правление Московского университета прошение о зачислении его в число своекоштных студентов нравственно-политического отделения. При прошении было приложено сви-

¹ Так в официальных документах называлось это массовое восстание против местных властей.

² А. Полканов. «Севастопольское восстание 1830 года». Симферополь, 1936, стр. 73—74.

³ Уже 10 августа тамбовский губернатор получил известие об эпидемии в Саратове. — Сергей Гессен, «Холерные бунты», М., 1932, стр. 13—14.

деятельство из Университетского благородного пансиона о том, что Лермонтов «обучался в старшем отделении высшего класса разным языкам, искусствам и преподаваемым в нем нравственным, математическим и словесным наукам, с отличным прилежанием, с *похвальным* поведением и с *весьма хорошими* успехами».

Лермонтов решил пойти на нравственно-политическое отделение, которое окончил крестник бабушки С. А. Раевский. Поэт и любитель математики, ученик Мерзлякова и Перовощикова, думал, что на этом отделении он приобретет знания, которые нужны будут для его будущей гражданской деятельности.

Этому решению предшествовал план поездки за границу для обучения в одном из европейских университетов, но план этот не состоялся, — если судить по автобиографической трагедии Лермонтова «*Menschen und Leidenschaften*», — из-за разногласий между бабушкой и отцом поэта: первая хотела, чтоб ее внук ехал во Францию, второй предпочитал Германию, где, по его словам, «многие науки более усовершенствованы», чем у французов, хотя последние опередили немцев в «просвещении общественном».

ГЛАВА V

В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

1

Первого сентября в правлении университета было заслушано «донесение» членов экзаменационной комиссии: «По назначению господина ректора университета, мы испытывали Михаила Лермантова, сына капитана Юрия Лермантова, в языках и науках, требуемых от вступающего в университет в звание студента, и нашли его способным к слушанию профессорских лекций в сем звании...» Экзамен происходил в конце августа, в зале конференции, вечером. Профессора в полчаса закончили экзамен. Н. Кацауров дал математическую задачу, которую «тут же под носом у него приходилось решать. Профессор латинского языка (И. Снегирев) молча развертывал книгу, указывая строки которые надо было перевести, останавливал на какой-нибудь фразе, требуя объяснения. Француз (А. Декамп) и этого не делал: он просто поговорил по-французски, и кто отвечал свободно на том же языке, он ставил балл и любезным поклоном увольнял экзаменуемого. Немец (Ф. Кистер) давал прочитать две-три строки и перевести и, если студент не затруднялся, он поступал, как француз»¹. Историк М. Погодин «задавал общеизвестные вопросы о крупных событиях». Профессор русской словесности П. Победоносцев и греческой — С. Ивашковский также задавали вопросы, не выходящие за пределы курса средней школы. Несколько дней спустя Лермантову вместе с другими студентами выдали в правлении латинскую табель величиной в

¹ Н. А. Гончаров. «В университете. Воспоминания».

лист; в заголовке были обозначены фамилия студента и название факультета, первая страница была занята названиями предметов по всем факультетам, и против них оставалась пустая графа, куда вписывались имена профессоров, лекции которых обязан был слушать студент; на остальных страницах были изложены права и обязанности студента¹.

На первом курсе в первую половину учебного года Лермонтов прослушал несколько лекций у профессора богословия Терновского, у которого он учился в пансионе; у профессора русского правоискусства С. Смирнова, у И. Щедритского, читавшего статистику государства Российского, у М. Погодина, читавшего историю восточных государств и европейское средневековье. Вскоре после начала занятий чтение лекций было прекращено: вследствие появления холеры в Москве университет был закрыт 27 сентября, и занятия возобновились лишь после университетского акта 12 января 1831 года. По возобновлении занятий Лермонтов, оставаясь на нравственно-политическом отделении, стал посещать обязательные для него лекции на словесном отделении: в ведомости из класса латинского языка магистра А. Кубарева (с 1 апреля по июнь 1831 г.), — наряду с Сергеем Строевым, поступившим на словесное отделение 5 января 1831 года, с Н. Шеншиным, поступившим одновременно с Лермонтовым², словесниками В. Красовым и А. Ефремовым, — указан М. Лермонтов³. В ведомости профессора П. Победоносцева (с января по июнь 1831 г.) вместе с В. Белинским, Н. Станкевичем, Я. Почкой, В. Топорниным, С. Строевым, В. Красовым и другими (в списке — 75 студентов, помечен также Лермонтов. У профессора Победоносцева Лермонтов пропустил двадцать две лекции⁴; в ведомости русского законодательства (с сентября 1830 по июль 1831 г.) указано, что Лермонтов пропустил 8 лекций, из класса истории 7 лекций, из класса статистики — 10. Результаты учебного года оказались довольно плачевными; в графе *успехи* в ведомости профессора Терновского у Лермонтова стоит двойка (как и у Бе-

¹ Г. Г. «Университетские воспоминания». — «День», 1863, № 42.

² Н. С. Шеншин в январе 1831 г. перешел с нравственно-политического отделения на словесное.

³ Лермонтов надписал свою фамилию на втором томе избранных сочинений Тацита (подготовлен к печати Вейсом. Лейпциг, 1829), выданном ему из студенческой библиотеки.

⁴ Белинский пропустил 8 лекций, Станкевич — 17, Почка — 21, Топорнин — 15, Строев — 13; рекорд отсутствий побил Николай Слепцов, пропустивший 41 лекцию.

линского), в ведомостях С. Смирнова и И. Щедритского у Лермонтова также двойка, в ведомости А. Кубарева уница (как и у Н. Шеншина, А. Ефремова)¹, в ведомости П. Победоносцева против фамилии поэта не проставлена отметка, тогда как у Белинского, Строева и Топорнина стоит двойка, у Станкевича — тройка, у Красова высший балл — четверка; только в ведомости Погодина у Лермонтова за успехи стояла тройка.

Занятия во вторую половину академического года по разным причинам не могли наладиться, и студенты были оставлены на повторительный курс².

С осени 1831 года Лермонтов на словесном отделении. В списке студентов этого отделения за 1832 год против фамилии Лермонтова отмечено следующее о его пребывании и занятиях в университете в 1831/32 учебном году: в графе преподавателя английского языка Гарве стоит нуль, то есть Лермонтов, не посещавший лектора, остался ему неизвестным³; в графе профессора Терновского *abs* — не *ходил весь год*; в графе профессора Победоносцева: *abs 42*; в графе преподавателя греческого языка Оболенского: *abs 35*; преподаватели французского языка (Куртнер), немецкого языка (Геринг) и латинского (Кубарев) поставили *abs*; кандидат Гастев отметил в своей графе: *бол(ен)*. Цифры показывали количество пропущенных лекций; *abs* обозначал, что Лермонтов остался в конце учебного года не аттестованным⁴. Таким образом, Лермонтов на словесном отделении очень редко посещал лекции. Он платил глубочайшим равнодушием рутинерам-профессорам, отсталым

¹ В той же ведомости указан студент И. Вадковский. Иван Яковлевич Вадковский, как было указано выше, знаком был с Лермонтовым еще с 1827 г. Таким образом данная справка позволяет включить еще одного товарища в студенческое окружение поэта.

² По свидетельству Я. И. Костенецкого, это распоряжение министра народного просвещения раздражало многих студентов, особенно старшего курса. — «Русский архив», 1887, кн. II, № 5, стр. 75—76.

³ До сих пор оставался неизвестным факт занятий Белинского английским языком у Эдуарда Гарве; в ведомости с 13 января по июнь 1830 г. указано, что Белинский, пропустивший 8 лекций, получил за успехи тройку (как и А. Закревский, Я. Неверов и Ю. Колрейф). Студенты занимались переводом «Юнговых ночей», Обсиана, Попе и др. (с английского на русский и французский языки и обратно).

⁴ По воспоминаниям Гончарова, «некоторые профессора держались старинного обычая делать переключку и отсутствующего отмечали сокращенным латинским *abs*, то есть *absens*; у кого в течение года число этих абсов превышало известную цифру, того не переводили на следующий курс».

бездарным представителям университетской науки. Московский университет в начале тридцатых годов не блистал, за редкими исключениями, яркими дарованиями среди профессоров. По словам К. С. Аксакова, вступившего в университет осенью 1832 года, «очень тускло и холодно освещало наши умы солнце истины (со стороны профессоров)»¹. Единственным профессором (из тех, слушание лекций которых было обязательно для Лермонтова), который, видимо, заинтересовал поэта, был М. П. Погодин. После Василевского, пансионского учителя, лекции Погодина по курсу европейской истории и истории Польши должны были показаться поэту свежими, исполненными научной трактовки предмета и публицистического отношения к современным событиям. Товарищ Лермонтова, Я. Костенецкий, говорил, что молодой адъюнкт М. П. Погодин «первый дал нам понятие о критической стороне истории, о существовании летописей и других исторических источников, и разбирал их и объяснял с поразительной для нас ясностью... Он познакомил нас с Гереном, Гердером, Нибуrom и всеми вообще современными знаменитыми историческими писателями, — немецкими, французскими, английскими; одним словом, раскрыл перед студентами весь современный кругозор и внушил нам любовь к этому самому интереснейшему предмету знания. На лекциях его, кроме студентов своего факультета, всегда было множество студентов других факультетов и даже посторонних слушателей, так что, несмотря на обширность аудитории, делалось тесно, и студенты окружали даже профессорский стол. Надобно сказать, что голос у Погодина был довольно тих, и он тогда не имел еще дара вести речь плавно, — он, как говорится, мямлил; но его светлые и новые идеи, тогда еще нигде не появлявшиеся в печати, возбуждали самое напряженное внимание к каждому его слову, и тишина на лекциях была невозмутимая»².

Лермонтов всегда любил исторические знания; Погодин, — друг его учителя А. З. Зиновьева, — журналист и беллетрист, мог интересовать молодого студента во многих отношениях: в статье Погодина, намечавшей желательные темы для русского романа, он находил интересовавшую его тему о «бунте Вадима», встречал критическое отношение к тому общественному явлению, которое его са-

¹ К. С. Аксаков. «Воспоминания студентства 1832—1835 годов». П. 1911, стр. 11.

² «Русский архив», 1887, кн. первая, стр. 230—231.

мого возмущало. Погодин писал в «Северной лире на 1827 год»: «Сколько ведется еще в наших провинциях Простаковых, кои каждое воскресенье ездят к ранней обедне, по средам и пятницам пьют чай с липовым медом, и между тем не пропустят ни одного дня без того, чтобы не раздаться по-свойски с своим сухоедым челядинцем. Сколько есть у нас Тарасов Скотининых, кои за все свои прогноры и убытки, — начиная от тысячи, заплаченной за борзую собаку, до тысячи, проигранной на бубновую двойку, — доправляют с бедных крестьян своих и холопей, — и мытьем и катаньем» (стр. 254, 261). Лермонтов слушал Погодина, будучи студентом нравственно-политического отделения; на словесном отделении, на II курсе, историю читал профессор Каченовский — антагонист Погодина во взглядах на происхождение Руси, в оценке исторических памятников Киевского периода. Глава скептической школы также привлекал на свои лекции студентов, которые после заявления Погодина, что он своей лекцией бросает «перчатку Каченовскому и Строеву старшему», шли слушать маститого ученого, «тонкий, аналитический ум» которого нравился молодежи.

Гончаров с любовью вспоминал те моменты в лекциях Каченовского, когда тот касался какого-нибудь спорного в истории вопроса: «щеки его, обыкновенно бледные, загорались алым румянцем, и глаза блистали сквозь очки, а в голосе слышался задор прежнего редактора «Вестника Европы». Он мысленно видел перед собою своих ученых противников и поражал их стрелами своего неумолимого анализа. Он терпеть не мог никаких мифов в истории и начинал лекции русской истории с Владимира, предупредив нас, что он не станет повторять басен, которые мы слышали в школе, например, об оригинальном мщении Ольги за смерть Игоря, о змее, ужалившей Олега, о кожаных деньгах... Он отвергал участие всяких сентиментов в изучении истории, а разнимал ее холодной критикой, как анатомическим ножом труп... Все следившие за непрерывной нитью его исторических рассказов слушали с глубоким интересом этот тонкий анализ, в котором сам профессор никогда не приходил к синтезу. Последний возникал у слушателя сам собою, по окончании лекции или лекций»¹.

¹ Полное собрание сочинений И. А. Гончарова, т. XII, П., 1899, стр. 21—22, 24.

Любимым учеником Каченовского стал Сергей Строев; духе Каченовского писал статью на историческую тему Станкевич; Белинский, Бодянский и К. Аксаков были его последователями; ученики Каченовского считали своего профессора основателем «московской школы» новейшей историографии: «она, подобно философии Декарта, — матери всех новейших исследований и открытий, начинается: благоразумного сомнения и идет к истине путем отрицания»¹.

Лекции Погодина, вскрывая своеобразие русского исторического процесса сравнительно с западноевропейским, заинтересовывали студентов попыткой ученого философски объяснить исторические факты, но одновременно они должны были вызывать, на фоне николаевской действительности, возражения в той же молодежи, которая видела, как точка зрения профессора на прошлое России скатывалась к примирению с существовавшим режимом, с официальной доктриной, с «казенными похвалами»² России.

Скептик Каченовский, отвечая научным воззрениям молодежи, заходил, однако, чересчур далеко в своем историческом скептицизме: поэт Лермонтов как и другие его товарищи, не мог согласиться с профессором, отвергавшим, например, подлинность «Слова о полку Игореве».

Оба историка вызывали у студентов работу критической мысли.

Если Лермонтов, любивший историю, когда-либо заглядывал в аудиторию профессора Ю. П. Ульрихса, читавшего в 1830/31 учебном году на словесном отделении всеобщую историю, то он, конечно, приходил к тому же заключению, что и Я. Неверов, который говорил, что этот «оригинал — седой старик, не вполне владевший русской речью, а потому читавший свои лекции по однажды навсегда составленным им тетрадкам», — отстал от науки.

Что представляли собой другие профессора нравственно-политического отделения в 1830/31 учебном году? С. А. Смирнов, — в оценке товарища министра народного просвещения Уварова, «едва ли обнимающий свой предмет», — был знатоком практического российского законоискусства, но оставался совершенно чуждым научным интересам. Он читал теорию русского права по своему давно написанному

¹ «Телескоп», 1834, № 13, стр. 206.

² По выражению К. С. Аксакова.

им учебнику, сообщая сведения «о присутственных местах и чинах, в оных находящихся, их правах и обязанностях» «о прошениях и жалобах» и т. п., — как значилось в ведомости С. Смирнова о пройденном им курсе, который был прослушан Лермонтовым.

После профессора Сандунова, — замечаний которого кстати, С. А. Смирнов боялся, как огня, — Лермонтов вряд ли мог узнать что-либо новое. На лекциях этого профессора, по словам Я. Костенецкого, «был постоянный шум и гам, и он всегда самым строгим тоном и грозным видом требовал тишины, но никто его не слушал»¹.

Экстраординарный профессор Щедритский, которого Лермонтов слушал еще в пансионе, читал статистику европейских государств. По воспоминаниям того же Я. Костенецкого, «студенты никогда его не слушали и во время лекции страшно шумели, то уходили, то входили, разговаривали между собою, одним словом, поступали, как бы и не было в аудитории профессора. И Щедритский не только никогда этим не огорчался, но даже доволен был таким *modus vivendi* и рад был, что его никто не слушает»².

О профессорах словесного отделения сохранились воспоминания Г. Головачева, однокурсника Лермонтова: «Едва ли не на каждую лекцию Победоносцева на первом курсе повторялось следующее: обычный шум на минуту прекращался, и водворялась глубочайшая тишина, преподаватель наш, обрадованный необыкновенным безмолвием, громко начинал читать нам что-нибудь о Ломоносове (причем он говорил всегда, что и в солнце есть пятна и у Ломоносова есть недостатки) и о хрии простой и извращенной; но тишина эта была самая коварная: раздавался тихий, мелодический свист, обыкновенная мазурка или какой-нибудь другой танец; Победоносцев останавливался в недоумении, музыка умолкала, и за ней следовал взрыв рукоплесканий и неистовый топот... Трудно поверить, что подобная проделка повторялась безнаказанно бесчисленное множество раз. За Победоносцевым следовал преподаватель латин-

¹ «Русский архив», 1887, кн. I, стр. 236—237.

² Лермонтов вспоминал аудиторию подобных профессоров:

Бывало, только восемь бьет часов,
По Моховой валит народ ученый...
...Пришли, шумят... Профессор длинный
Напрасно входит, кланяется чинно, —
Шумят... он книгу взял, раскрыл, — шумят,
Уходит, — втрое хуже. Суший ад!..

кого языка Кубарев; его окружало несколько латинистов, которыми он переводил Цицеронову *De amicitia*¹ и Овидиевы превращения; остальная масса слушателей мало участвовала в преподавании и занималась чем-то посторонним или прогуливала его лекции. Преподаватель греческого языка Оболенский начал с азбуки, потом проходил склонения и спряжения да переводил какую-то хрестоматию. Сверх того на первом курсе мы слушали лекции Гастева, преподававшего нам какое-то смешение географии, тумизматики, герольдики и еще чего-то. Немецким языком мы занимались у Геринга, который заставлял нас переводить из Пушкина; французским — у Куртнера, объяснявшего нам правила французской орфографии и синтаксиса»². К указанным профессорам следует добавить еще профессора Василевского, читавшего политическое право и дипломатию «по Ахенвалю и Мартенсу», и профессора Малова, читавшего гражданское право «по руководству Цветаева и других новейших авторов с применением к российским законам», историю римского законодательства по сочинениям также Цветаева»³.

Обоих профессоров Лермонтов знал еще в пансионе. На лекциях первого он скучал, бессодержательная фразеология второго отталкивала поэта, как и других, кто вынужден был ходить на лекции профессора, «не делавшего чести» университету даже по мнению официальных лиц⁴.

У нас нет данных о посещении Лермонтовым лекций выдающегося ученого М. Г. Павлова, но он был известен Лермонтову еще в пансионе, и, — как мы уже говорили, — влияние замечательного русского мыслителя поэт испытал одновременно с Герценом и Белинским. Другой блестящий профессор Московского университета, о котором восторженно вспоминал Гончаров и которому был многим обязан Станкевич, — Н. И. Надеждин, приступил к чтению своего курса об изящных искусствах только в зимний семестр 1832 года, когда Лермонтова уже не было в Москве.

12 января 1832 года на торжественном собрании в университете произнес «Речь о русском просвещении» памятный Лермонтову по пансиону адъюнкт М. Максимович.

¹ «О дружбе».

² «День», 1863, № 42.

³ «Обозрение публичного преподавания наук в императорском Московском университете с 17 августа 1830 по 28 июня 1831 года». М.

⁴ «Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1871, стр. 217—219.

В этой речи звучала нота несогласия со школой Каченовского, но молодые ученики профессора-скептика прощали этот выпад против их учителя за горячую веру оратора в будущее родины, в ее высокую миссию в истории человеческой культуры: «Мы любим наше *прошедшее*, — говорил М. Максимович, — ибо оно было и дало нам бытие наше, мы любим украшенное надеждами и воспоминаниями наше *настоящее*, ибо в нем хранится наша будущность; мы любим наше *будущее*, ибо оно должно улучшить и возвысить наше настоящее, должно раскрыть хранящиеся в русской земле золотые таланты для славы России и пользы человечества».

«Россия теперь в периоде *юности*, только приблизилась к *расцвету*, меж тем как европейские царства, обогнавшие Россию, уже на отцвете... Таким образом Россия должна будет явить собою новое, самое высокое, полное и прочное, самое *жизненное* образование человеческого духа и составить *средоточие* просвещенного мира». Оратор призывал молодежь к активной работе: «*усовершенствование себя и улучшение участи своих сограждан* — вот истинная *цель* жизни, которая одна только дарует человеку *счастье*, достойное человека...»¹.

Эти мысли Лермонтов услышит через несколько лет в кружке бывшего студента Московского университета А. А. Краевского; созвучные его собственным взглядам, они найдут отражение в его поэтических произведениях студенческой поры и в позднейшем творчестве.

Лермонтов вступил в университет, одушевленный намерением серьезно работать. Его товарищ по словесному отделению П. Ф. Вистенгоф вспоминал: «выделялись между нами и люди, горячо принявшие за науку: Станкевич, Строев, Красов, Ефремов, Лермонтов»². Но Лермонтов скоро перестал посещать лекции большинства профессоров и стал заниматься дома теми дисциплинами, которые входили в программу университета. П. Вистенгоф вспоминает, что на репетициях у Лермонтова произошли столкновения с двумя профессорами:

«Профессор Победоносцев, читавший изящную словесность, задал Лермонтову какой-то вопрос.

Лермонтов начал бойко и с уверенностью отвечать. Профессор сначала слушал его, а потом остановил и сказал:

¹ «Телескоп», 1832, ч. VII, стр. 180, 190.

² П. Ф. Вистенгоф. «Из моих воспоминаний», гл. II, стр. 332. — «Исторический вестник», 1884, т. XVI.

— Я вам этого не читал; я желал бы, чтобы вы мне от-
дали именно то, что я проходил. Откуда могли вы по-
српнуть эти знания?

— Это правда, господин профессор, того, что я сейчас го-
ворил, вы нам не читали и не могли передавать, потому
что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь
источниками из своей собственной библиотеки, снабженной
всем современным.

Мы все переглянулись.

Подобный ответ дан был и адъюнкт-профессору Гастеву,
ставшему геральдику и нумизматику.

Дерзкими выходками этими профессора обиделись и по-
старались срезать Лермонтова на публичных экзаменах».

Последнее замечание мемуариста не точно: Лермонтов
просто не явился на экзамены¹. Публичные годовичные ис-
пытания на словесном отделении в 1832 году происходили
с 16 мая по 18 июня: у кандидата Гастева экзамен по
«вспомогательным историческим наукам» был назначен на
21 мая; мы уже приводили справку, что в графе Гастева
о Лермонтове в 1832 году было указано: бол (ен); экза-
мены магистра Кубарева были назначены на 24 мая, по
немецкому языку у Геринга — на 31 мая (у английского
лектора Гарве — на 17 мая), но оба отметили против фа-
милии Лермонтова: abs. Нового столкновения на экзамене
профессора Победоносцева 6 июня не могло произойти,
так как уже 1 июня Лермонтов подал прошение об уволь-
нении из университета. 18 июня он получил «подлинный
аттестат», где было указано: «и как он, Лермонтов, пол-
ного курса учения не окончил, то и не распространяется
на него сила указа 1809 года, августа 6-го дня, статья
26-ая предварительных правил Народного Просвещения».
Очевидно, в июне 1832 года в приведенной выше справке
(«Список об успехах студентов словесного отделения от
1832 г.») появилась отметка о Лермонтове: «уволен». Тут
же было написано: Consil. abeundi. Выражение это (consi-
lium abeundi) означало: «посоветовано уйти» и в правилах

¹ Рассказ о занятиях Жоржа Печорина в Московском универси-
тете («Княгиня Лиговская») может рассматриваться как автобиогра-
фическая страничка из студенческой жизни Лермонтова: «Приближа-
лось для Печорина время экзамена. Он в продолжение года почти
не ходил на лекции и намеревался теперь пожертвовать несколько но-
чей науке и одним прыжком догнать товарищей. Вдруг явилось об-
стоятельство, которое помешало ему исполнить это геройское наме-
рение... Между тем в университете шел экзамен: Жорж туда не
явился. Разумеется, он не получил аттестат».

о наказании за проступки студентов стояло на предпоследнем месте, после чего следовало «изгнание из университета». Очевидно, независимо от того, что Лермонтов не явился на экзамены в июне 1832 года, администрация решила отделаться от него, хотя он имел право остаться на второй год на первом курсе. По воспоминанию П. Вистенгофа, Лермонтов с возмущением «отзывался о профессорах отсталых, глупых, бездарных, устарелых, как равно и о тогдашней университетской нелепой администрации».

Подобная критика чиновничьего режима в стенах университета, столкновения с профессурой, демонстративное непосещение лекций иерея Терновского, который особенно притеснял студентов, отсутствовавших в его аудитории, и прибегал к доносам на студентов, — всем этим поэт создал неблагоприятное отношение к себе со стороны университетского начальства. Оно постаралось освободиться от студента, который не обнаруживал желания следовать параграфам казенной таблицы о правилах поведения¹.

2

Если университетская наука начала тридцатых годов мало давала молодежи, то, — по общему признанию бывших студентов Московского университета, — университет все же делал большое культурное дело: «больше лекций и профессоров развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений», — вспоминал о своих студенческих годах А. И. Герцен; «в эпоху студентства... первое, что обхватывало молодых людей, это общее веселье молодой жизни, это чувство общей связи товарищества; конечно, это-то и было первым мотивом студенческой жизни; но в то же время слышалось, хотя не сознательно, и то, что молодые силы собраны все же во имя науки, во имя высшего интереса истины... Спасительны эти товарищеские отношения, в которых только слышна *молодость человека*, и этот человек здесь не аристократ и не плебей, не богатый и не бедный, а просто человек. Такое чувство разен-

¹ За энергичную помощь в обнаружении архивных данных о пребывании Лермонтова и его товарищей в университете — моя горячая благодарность начальнику архива Государственного Московского университета, Н. Э. Герману, и главному библиотекарю Публичной библиотеки им. М. Горького того же университета, В. В. Сорокину.

ства в силу человеческого имени давалось университетом и званием студента», — писал К. С. Аксаков спустя двадцать лет по выходе из Московского университета.

Лермонтов учился в то время, когда его товарищами в университете были Белинский, Станкевич, Герцен, Огарев¹, Сатин, Сазонов², С. Строев, Гончаров, поэты Красов и Ключников, Я. М. Неверов и многие другие, чьи имена вошли в историю русской общественной мысли, искусства и науки, публицистики и критики. Вспоминая замечательных деятелей — своих друзей и товарищей, вышедших из Московского университета, Герцен писал в середине пятидесятых годов в «Былом и думах»:

«Тридцать лет тому назад, Россия *будущего* существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, а в них было наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси».

К числу этих деятелей «чисто народной Руси» Герцен, конечно, наряду с Белинским относил и Лермонтова, покинувшего Московский университет почти одновременно с «неистовым Виссарионом».

В каких взаимоотношениях со студенчеством находился Лермонтов? Как к нему относились студенты? Принимал ли он участие в студенческих делах?

Кроме Гончарова, по словам которого Лермонтов, казавшийся ему «апатичным» юношей, «говорил мало и сидел всегда в ленивой позе, полулежа, опершись на локоть», — наиболее выразительный рассказ о студенте Лермонтове, о впечатлении, какое он производил на товарищей словесного отделения, оставил П. Вистенгоф³:

«Мы стали замечать, что в среде нашей аудитории, между всеми нами, один только человек как-то рельефно отличался от других; он заставил нас обратить на себя особенное внимание. Этот человек, казалось, сам никем не интересовался, избегал всякого сближения с товарищами, ни с кем не говорил, держал себя совершенно замкнуто и

¹ Герцен был допущен к слушанию лекций 14 октября 1829 г. Огарев подал прошение в правление Московского университета о допущении его к слушанию лекций на нравственно-политическом отделении 25 января 1832 г. — «Русская старина», 1908, № 3, стр. 584 — 586.

² Поступили на физико-математический факультет 14 августа 1831 г.

³ Приводим отрывок из его воспоминаний, сообщенный им П. Висковатому; он отличается характерными деталями от текста в «Историческом вестнике», 1884 г., т. XVI.

в стороне от нас, даже и садился он постоянно на одном месте, всегда отдельно, в углу аудитории, у окна; по обыкновению, подпершись локтем, он читал с напряженным, сосредоточенным вниманием, не слушая преподавания профессора. Даже шум, происходивший при перемене часов, не производил на него никакого впечатления. Он был небольшого роста, некрасиво сложен, смугл лицом, имел темные, приглаженные на голове и висках волосы и пронзительные темнокарие большие глаза, презрительно глядевшие на все окружающее. Вся фигура этого человека возбуждала интерес и внимание, привлекала и отталкивала. Мы знали только, что фамилия его — Лермонтов. Прошло около двух месяцев, а он неизменно оставался с нами в тех же неприступных отношениях. Студенты не выдержали. Такое обособленное исключительное поведение одного из среды нашей возбуждало толки. Одних подстрекало любопытство, или даже сердило, некоторых обижало. Каждому хотелось ближе узнать этого человека, снять маску, скрывавшую затаенные его мысли, и заставить высказаться».

«Однажды студенты, близко ко мне стоявшие, считая меня за более смелого, обратились ко мне с предложением отыскать какой-нибудь предлог для начатия разговора с Лермонтовым и тем вызвать его на какое-нибудь сообщение. «Вы подойдите, Вистенгоф, к Лермонтову и спросите его, какую это он читает книгу с таким постоянным, напряженным вниманием? Это предлог для разговора самый основательный», — сказал мне студент Красов, кивая головой в тот угол, где сидел Лермонтов. Умные и серьезные студенты Ефремов и Станкевич одобрили совет этот. Не долго думая, я отправился. «Позвольте спросить вас, Лермонтов, какую это книгу вы читаете? Без сомнения, очень интересную, судя по тому, как углубились вы в нее. Нельзя ли ею поделиться и с нами?» — обратился я к нему, не без некоторого волнения, подходя к его одинокой скамейке. Мельком взглянув в книгу, я успел только распознать, что она была английская. Он мгновенно оторвался от чтения. Как удар молнии сверкнули его глаза; трудно было выдержать этот насквозь пронизывающий, неприветливый взгляд. «Для чего это вам хочется знать? Будет бесполезно, если я удовлетворю вашему любопытству. Содержание этой книги вас несколько не может интересовать, потому что вы не поймете тут ничего, если я даже и сообщу вам содержание ее», — ответил он мне резко, при-

являв прежнюю свою позу и продолжая опять читать. Как бы ужаленный, бросился я от него».

Этот рассказ П. Вистенгофа лег в основу канонического представления об одиночестве Лермонтова в студенческой среде, о замкнутости поэта, об оторванности его от общественной жизни университетской молодежи. Правда, сам мемуарист приводит факты, опровергающие его характеристику поэта, якобы «избегавшего всякого сближения с товарищами». В университетских аудиториях часто показывались помощники попечителя учебного округа граф А. Д. Панин и Д. П. Голохвастов, которые, по словам П. Вистенгофа, были «необузданные деспоты, видели в каждом студенте как бы своего личного врага. Они все добивались что-то сломить, искоренить, дать всем внушительную острastку». Голохвастов — воплощенная «русская барская спесь, — по свидетельству историка С. М. Соловьева, — ненавидел университет, считал его учреждением опасным для существовавшего порядка вещей и не скрывал этих мнений своих». Панин «повелительно кричал густым басом, командовал, грозил, страшил». П. Вистенгоф сообщил колоритный эпизод из практики этого университетского Держиморды: «как-то однажды нам дали знать, что граф Панин неистовствует в правлении университета. Из любопытства мы бросились туда. *Даже Лермонтов молча потянулся за нами*¹. Мы застали следующую сцену: два казеннокоштных студента сидят один против другого на табуретках, и два университетских солдата совершают над ними обряд бритья и стрижки. Граф грозно кричал: — Вот так! Стриги еще короче! Под гребешок! Слышишь! А ты! — обращаясь он к другому. — Чище брей! Не жалея мыла, мыль его хорошенько! — Потом, обратившись к сидящим жертвам, гневно сказал:

— Если вы у меня в другой раз осмелитесь только подумать отпускать себе бороды, усы и длинные волосы на голове, то я вас прикажу стричь и брить на барабане, в карцер сажать и затем в солдаты отдавать. Вы ведь не дьячки! Передайте это всем! Ну! Ступайте теперь!

Увидев в эту минуту нашу толпу, он закричал:

— Вам что тут нужно? Вам тут нечего торчать! Зачем вы пожаловали сюда? Идите в свое место!

Мы опрометью, толкая друг друга, выбежали из правления, проклиная Панина»².

¹ Курсив наш. — Н. Б.

² «Исторический вестник», 1884, т. XVI, стр. 335—336.

Итак, Лермонтов не остался в стороне от товарищей, когда в аудитории разнесся слух о грубом поведении начальствующего лица и молодежь думала о возможной помощи пострадавшим студентам.

16 марта 1831 года Лермонтов принял участие в известной «маловской истории». Непопулярный профессор Малов, то подобострастно заискивавший перед студентами, то державший себя заносчиво и не стеснявшийся в оскорбительных выражениях, назвал одного из студентов свиньей. Студенты решили устроить демонстрацию. Лермонтов тем более охотно принял в ней участие, что Малов надоел ему еще в пансионе. Коноводом был Я. Костенецкий, рядом с которым Лермонтов часто сидел на лекциях. На демонстрацию сошлись в аудиторию нравственно-политического отделения студенты словесники, физико-математики, — в том числе Герцен, Я. И. Почека, И. А. Оболенский, А. Д. Закревский, князь В. Гагарин¹. Вначале решено было ограничиться только тем, чтобы перед окончанием лекции студенты шумным поведением вынудили Малова покинуть аудиторию. Но грубая насмешка профессора привела студентов в такое негодование, что раздался общий крик по его адресу: «вон, вон!»; кто пустил в него шапкой, кто — книжкой. Малов «стремглав бросился из аудитории, едва успел схватить свою шубу и шапку и побежал через двор на улицу. Тут вслед ему студенты кричали, атукали как на зайца, ругали его, и когда он выбежал на улицу, то полетели в него и камешки, и толпа далеко по Тверской улице провожала его с гиканьем, бранью и атуканьем, как дикого зверя»². Дело могло бы кончиться суровым наказанием участников демонстрации, если бы университетская администрация не замаяла дело перед Бенкендорфом, уже получившим точную информацию о происшедшем через своего агента. Ползчитель округа С. М. Голицын, воспользовавшись тем, что Малов дал ложное показание, будто студенты были недовольны содержанием его лекции «О благе монархизма», — а на самом деле он читал на невинную тему о брачном союзе, — представил царю Николаю дело, лишенным характера политической манифестации, и ограничился приказом посадить в

¹ Почека поступил в университет одновременно с Лермонтовым на нравственно-политическое отделение; остальные студенты (кроме Герцена) — в 1828 г.

² Я. Костенецкий. «Воспоминания из моей студенческой жизни. — «Русский архив», 1887, кн. I, стр. 339—340.

карцер на несколько дней шесть студентов¹. Профессор Малов должен был оставить Московский университет².

Лермонтов ожидал строгого наказания за участие в ма-ловской демонстрации. Ночью, 23 марта 1831 года, в комнате своего внеуниверситетского товарища Н. И. Поливанова, жившего на Молчановке, он написал стихотворение:

Послушай! вспомни обо мне,
Когда законом осужденный
В чужой я буду стороне —
Изгнанник мрачный и презренный, —
И будешь ты когда-нибудь
Один, в бессонной час полночи,
Сидеть с свечой... и тайно грудь
Вздохнет — и вдруг заплачут очи;
И молвишь ты: когда-то он,
Здесь, в это самое мгновенье,
Сидел тоскою удручен
И ждал судьбы своей решенье!

По словам Вистенгофа, «Лермонтов смотрел с пренебрежением на окружающих его, считал их всех ниже себя. Хотя все от него отшатнулись, а между прочим, странное дело, какое-то непонятное, таинственное настроение влекло к нему и невольно заставляло вести себя сдержанно в отношении к нему, а в то же время завидовать стойкости его угрюмого нрава». Еще П. А. Висковатый усомнился в правильности сообщения мемуариста: «все ли отвернулись от [Лермонтова] и не сошелся ли Лермонтов все-таки с некоторыми товарищами, — это вопрос»³.

Резкий ответ поэта Вистенгофу объяснялся нежеланием сходитья со студентом, обывательские настроения которого Лермонтов мог заметить: Вистенгоф только и мечтал, как бы, промаячив положенный срок для получения диплома, поскорей, по его словам, окунуться «в омут жизни». Показания П. Вистенгофа опровергаются другими мемуаристами, которые отмечали близость с поэтом некоторых его товарищей: так, Г. Головачев писал, что он «сошелся в университете [с Лермонтовым], как со старым товарищем по университетскому пансиону», и сообщил, что после увольнения Лермонтова из университета ходили между

¹ Андрея Оболенского, Михаила Розенгейма, П. Каменского, Я. Арапетова, Орлова, Герцена.

² «Из хроники Московского университета». — «Русский архив, 1901, № 2.

³ П. А. Висковатый, стр. 122.

студентами стихи его к Московскому университету, начавшиеся так:

Хвала тебе, приют лентяев,
Хвала, ученья дивный храм,
Где цвел наш бурный Полежаев,
На зло завистливым властям.
Хвала и вам, студенты-братья¹.

В. Межевич², знавший пансионские стихи Лермонтова, вспоминал, как «хаживал, бывало, в Московский университет (я был в то время студентом) молодой человек с смуглым, выразительным лицом, с маленькими, но необыкновенно быстрыми, живыми глазами. Это был Лермонтов. Некоторые из студентов видели в нем доброго, милого товарища»³.

Почему Лермонтов не принимал участия в студенческих шалостях, вроде тех, которые систематически происходили на лекциях Победоносцева, — слишком очевидно, но что он внимательно вслушивался в серьезные разговоры, которые вели студенты, это заметил и П. Вистенгоф. «Иногда в аудитории нашей, в свободные от лекций часы, — рассказывал мемуарист, — студенты громко вели между собою оживленные беседы о современных животрепещущих вопросах. Лермонтов, бывало, оторвется от своего чтения и только взглянет на ораторствующего, — но как взглянет! Говорящий невольно, будто струсив, или умалит свой экстаз, или совсем замолчит. Доза яда во взгляде Лермонтова была поразительна. Сколько презрения, насмешки и вместе с тем сожаления изображалось тогда на его строгом лице...»

Лермонтов сочувственно вспоминал университетскую аудиторию, где молодежь вела споры по вопросам философского мировоззрения:

Святое место!.. Помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры

¹ «День», 1863, № 42.

² Поступил в университет в 1828 г. и окончил летом 1832 г.

³ «Северная пчела», 1840, № 284. В. Межевич писал в своей статье, что он в университете «с особенным любопытством и уважением» смотрел на Лермонтова «и потому более, что до того времени [ему] не случалось видеть ни одного русского поэта, кроме почтенного профессора [его наставника] Мерзлякова». Межевич не был знаком с Лермонтовым, но он отлично знал тех студентов, с которыми был близок поэт.

О бoге, о вселенной и о том,
Как пить: с водой, иль просто голый ром, —
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их сюртуки, висающие клочками...

В бытовой зарисовке — постановка после серьезных тем вопроса «как пить» — не было авторской иронии: поэт помнил, как студенты, наговорившись о значительном, решали и обыденное, житейское, — у Герцена с товарищами «возникал обыкновенно *капитальный* вопрос, вопрос, возбуждавший прения, а именно: «как варить жженку?», что не мешало друзьям великолепного Александра решать «общие вопросы», гореть «гражданской экзальтацией»¹.

Лермонтов, вращаясь в аристократической среде, выделял в своем воспоминании об университете студентов-бедняков, тех казеннокоштных, которые, бедствуя и подвергаясь оскорблениям со стороны университетской администрации, жили интенсивной умственной жизнью, находили время для научной и художественной работы. К этим казеннокоштным принадлежал Белинский, цензурная история с пьесой которого «Дмитрий Калинин» едва не закончилась катастрофой для автора, по поводу чего студенты сильно волновались и «долго толковали»². Из этой группы студентов-разночинцев вышел переводчик книги Бахмана «Всеобщее начертание теории искусства» (ч. I, М., 1832) Михаил Чистяков, посвятивший свой перевод студентам Московского университета. Предисловие переводчика раскрывает тот круг вопросов, которые волновали студентов и которые Лермонтов отметил в приведенном отрывке из поэмы «Сашка»: «Имея счастье воспитываться в одном из тех заведений, где цветущие поколения русского юношества сливаются в одно прекрасное семейство и образуют святой союз братства, одушевляемый чувствами истинной религии и пламенной любви к своему отечеству, я с радостью заметил кипение юных умов, в сознании полноты и крепости сил своих порывающихся к исследованию таинств природы и духа человеческого, составляющих цель нашего земного бытия, сладостнейшую заботу сердца, утешение и отраду жизни!.. Посвящаю *сту-*

¹ «Былое и думы», ч. I, гл. VII.

² Воспоминания Г. Г.: «История Белинского сильно взволновала студентов, и долго толковали о ней товарищи». — «День», 1863, № 42.

дентам Московского университета первый плод своих занятий потому, что знаю их чувства, отверстые для впечатлений всего высокого и прекрасного. Разделяя вместе труды студенчества, с ними преимущественно я хотел и должен был делиться этим чистейшим, божественным наслаждением, которым упивается сердце наше в безмолвные минуты размышления о великих, священных истинах. Прислушиваясь издали к гулу толков и мнений, часто злобных, бессмысленных, превратных и несправедливых, с шумного позорища света достигающих до мирного приюта наук, я с трепетом повергаюсь в объятия дружбы: от ней только жду искреннего приветия и добродушной улыбки одобрения за ничтожный труд свой»¹.

Предисловие М. Чистякова отлично комментирует воспоминания Лермонтова о студенческих спорах «о боге, о вселенной».

Поэт поставил эти термины один за другим, точно отражая сущность философских разговоров, которые в его присутствии вели его товарищи.

Каждый из этих терминов обставлялся другими терминами, которые звучали в ушах Лермонтова длинной вереницей.

Термины эти выражали основные категории философских систем Спинозы, Фихте и особенно Шеллинга. Первый представлял себе бога как природу; второй представлял бога без природы; третий учил, что бог открывает себя как природа и дух: природа есть не состояние бога, а его объект, его идея, его образ. Природа есть мир, в котором «бог осуществляется идеально, или, — что одно и то же, — познает себя предварительно в своем осуществлении». Юные философы, по Велланскому, Галичу, и Павлову, а иные и по подлинным сочинениям европейских философов, трактовали тему природы, как субъекта-объекта; единство или тождество природы и духа — как принцип всеобщего развития вещей, всеобщего единства мира и природы. «Бог» понимался как процесс и развитие, в котором природа составляет необходимый момент, как бы «ступень» духа: «весь процесс творения мира, все еще продолжающийся процесс возникновения жизни в природе и истории, есть, собственно, не что иное

¹ Предисловие помечено 26 февраля 1832 г. Москва. О труде М. Чистякова была большая рецензия в «Телескопе», 1832, ч. 8.

как процесс совершенствования сознания, совершенного развития личности бога»¹.

Рассуждения студентов о «боге» отражали критический момент в сознании молодежи, порвавшей связи с церковной ортодоксией; их понимание «вселенной», природы разбивало традиционное мировоззрение, внося идею развития, идею единства мира. К этим идеям всяческие ставленники относились враждебно, что и подчеркнул М. Чистяков в своем предисловии к книге Бахмана. Эти идеи облекались в туманную фразеологию, но в них лежало начало разрыва с официальной идеологией, требовавшей безоговорочного признания авторитета церкви, установленного порядка.

Лермонтов был точен в своей характеристике студенческой молодежи, называя ее «гордой», а споры ее — «забавными».

Этот облик студента тридцатых годов в разговоре на общие темы подтверждается современником, который, пролизуя над модой юношей щеголять философскими терминами, писал: «субъект, объект, бесконечное, конечное, индуктивный, продуктивный, абсолют, идеи, проявление — отсылались в ушах всех... Нужно ли кого заставить молчать или разгромить критиков? Стоило только сказать: это обветшало, устарело, не выдерживает философского взгляда, не в духе нового любомудрия; вдобавок к тому — несколько слов, например, синтетический, аналитический, высшее умозрение, — и противник должен был уступить, опасаясь выдать себя за опоздалого на поприще наук»².

Наряду со студентами, интересовавшимися философией, были юноши, увлекавшиеся историческими и общественно-политическими темами. В аудитории одновременно с натурфилософскими слышались речи о современной постановке проблем философии истории в трудах европейских исследователей, которые начали под углом зрения теории классовой борьбы рассматривать прошедшее западных народов, в частности — историю буржуазной французской революции XVIII века.

«Записки москвича»³, недоброжелательно настроенного

¹ Куно-Фишер. «История новой философии» (русский перевод), т. VII, 1905, стр. 737.

² «Атеней», 1828, ч. III, стр. 335—336.

³ Книга III, М., 1830 (цензурное разрешение от 11 сентября 1829 г.)

к молодому поколению, рисуют типичную картину из жизни тогдашней молодежи, поклонников «Московского телеграфа»: «в громе спора беспрестанно раздавались слова: наше новое поколение! Стихия языка! Математический ум! Гизо! Тьерри! Минье! Нибур! Барант! Кузень! Шлегель!.. Это все мальчики, называющие себя мужами *нового поколения*! Они обязались быть мрачными, тоскливыми, неукротимыми: того требует романтизм и Байрон... Они все ученики известных профессоров» (стр. 145—146).

Сочинения Гизо и Минье были запрещены в России. Студенты, как мы видим, доставали запретные книги и обсуждали их.

Русская действительность доставляла обильный материал для оживленных разговоров в студенческой аудитории. Холерные бунты, пронесшиеся по стране в 1830 и 1831 годах, — особенно в начале июля 1831 года в военных Новгородских поселениях, — произвели колоссальное впечатление на общество как кровавыми эпизодами борьбы восставших с их начальниками, так и жестокой расправой Николая с солдатами¹.

Польское восстание в ноябре 1830 года, закончившееся сдачей Варшавы в ночь на 27 августа 1831 года, привлекло к себе напряженнейшее внимание самых разнообразных общественных кругов. Отношение к польской революции в связи с общеевропейским положением было сложное. Пушкин опасался иностранной интервенции, и когда во Франции с трибуны палаты депутатов и в газетах раздавались голоса против России, он даже собирался ехать на войну.

Неудачи генерала Дибича, сопровождавшиеся бесцельной гибелью отрядов русской армии, вызывали возмущение бездарным командованием. Общественное мнение было взбуждено.

Об общественном возбуждении в 1831 году свидетельствует революционное воззвание, напечатанное в Самаре с пометкой 29 января 1831 года, за подписью Ермолова. Неизвестный автор, вспоминая «первых героев свободы нашей» — декабристов, призывал к оружию против тирании: «с мечом в руках, среди столицы, в селах и горо-

¹ 25 июня в Новгород приезжал сам Николай, напуганный восстанием. Суду было предано три тысячи человек (подробности см. *Сергей Гессен*, «Холерные бунты», М., 1932).

дах, на севере и юге, сокрушайте рабство, требуйте национальной свободы»¹ и пр.

В Московском университете польское восстание нашло отголосок среди студентов-поляков, которые, по официальному отзыву, «имели сношения с офицерами [польскими уроженцами] квартировавшей в Москве пехотной дивизии»².

Польские офицеры намеревались бежать в Литву для присоединения к повстанцам. В этом деле был замешан студент-медик Шанявский, которому было предъявлено обвинение «в намерении учинить побег в Польшу для присоединения к мятежникам, в подговоре к тому офицеров, в приобретении за деньги московского ордонанс-гауза у старшего аудиторского писаря Картаева четырех подорожных бланкетов, в намерении употребить оные на проезд в Польшу вместе с сообщниками своими». Вместе со студентом Шанявским пред судом предстал библиотекарь Московского университета Петрашкевич (бывший член виленского общества Филаретов, получивший звание магистра философии в Варшавском университете и поступивший на службу в Московский университет в 1825 году). У него были найдены «дерзкие и вольные стихи», ему вменялось в вину, что он знал о намерении к побегу Шанявского и офицеров, а также хранил «в бумагах противозаконное сочинение, весьма оскорбительное для государства Российского». Это дело, начатое 19 июня 1831 года и оконченное 13 июня 1832 года, вызвало большие толки среди студенчества, тем более, что студент Шанявский перед арестом вел в аудитории политическую агитацию. По донесению Бенкендорфу и. д. начальника II округа корпуса жандармов Шубинского, Шанявский при многих товарищах произносил похвалы польскому народу и «с дерзостью поносил священнейших особ России»³.

Как относился Лермонтов к польскому восстанию? Если признать решение Печорина («Княгиня Лиговская») участвовать в польской кампании отражением мыслей студента Лермонтова, то следует думать, что поэт разделял точку зрения Пушкина. По-пушкински же относился Лер-

¹ «Былое», 1917, № 2, стр. 184—186. См. также материал о тайном обществе братьев Раевских в Курске (в 1831 г.), собранный П. Бейсовым («Литературный альманах», кн. 2, Курск, 1940).

² «Красный архив», т. 46, стр. 141.

³ «Заветы», 1913, № 3, стр. 17.

монтов и к тем бесчеловечным гонениям, которым царская власть подвергла повстанцев.

20 и 21 июня 1831 года была арестована группа студентов по так называемому сунгуровскому делу. Неясна в этом политическом процессе роль Н. П. Сунгурова, окончившего Университетский благородный пансион в 1823 году, но самый процесс чрезвычайно характерен для настроений студенческой молодежи в те годы, когда в университете учились Лермонтов и Герцен. Среди привлеченных студентов был Я. И. Костенецкий, которого Лермонтов знал по маловской истории. Костенецкий вспоминал, что во время посещения им и другими студентами (например, Антоновичем) Сунгурова последний, — а особенно студент Ф. П. Гуров, поступивший в университет в январе 1831 года, — «часто заводили разговоры о деспотизме, о взяточничестве нашего чиновничества, о казнокрадстве даже министров, их глупости и подлости, о бедствиях народа, несправедливости судей и прочих возмутительных предметах. При этом в особенности Гуров отличался своими неистовыми выходками против правительства и царской фамилии, читал насчет них своего сочинения стихи, рассказывал про них самые скандальные истории и проч, и мы, разумеется, согласны были почти со всеми этими мыслями. Не говоря уже о том, что недостатки и злоупотребления тогдашнего нашего правительства были слишком очевидны для каждого сколько-нибудь образованного человека, — а тем более для студентов, знакомых уже достаточно с образом правления других государств, — личные действия правительства в отношении студентов тоже сильно нас раздражали. Еще было в свежей памяти студентов, как поступил государь с даровитым и ни в чем не повинным Полежаевым, к тому же государь никогда не посещал университет, и между нами было убеждение, что он нас ненавидит. Говорили, что он считает студентов бунтовщиками и даже не ездит мимо университета»¹.

Члены следственной комиссии выяснили, на основании показания студента-медика Кошевского, что Костенецкий хотел составить из студентов «Общество друзей» с целью ввести конституцию в России просвещением и действием на народ, что Кошевский предложил Оскару Барье, студенту Медико-хирургической академии, составить общест-

¹ «Русский архив», 1887, кн. II, № 5, стр. 74.

во, главной целью которого было введение конституции в России, для чего Барье познакомил его со студентом Ю. Колрейфом¹, и они решились начать с философского общества для того, чтобы лучше узнать людей. Было установлено, что у Колрейфа бумаги «очень вольного рассуждения» («Если бы всем россиянам врождена была склонность к свободе, то едва ли бы они терпеливо сносили тяжелое иго»)². Процесс Сунгурова вызвал в Москве слухи, будто арестованные собрались «овладеть арсеналом, возмутить чернь и подорвать некоторые здания» и т. д. Приговор по этому делу был вынесен уже тогда, когда Лермонтов покинул университет³. Но история ареста Костенецкого и других произвела на студентов, по воспоминанию Я. Неверова, «самое тяжелое впечатление». «Когда осужденные были освобождены из каземата и, как солдаты, помещены в Спасских казармах, то многие из студентов, в том числе и я, — хотя вовсе не был знаком ни с кем из них, — посетили их...»⁴

Тема о судьбе студента-разночинца, в ссылке кончающего самоубийством, могла скрепнуть в раздумьях Лермонтова, который, как есть основания предполагать, хорошо знал подробности студенческого политического процесса.

Мы видели, как сдавленная общественная энергия студенчества прорывалась то в демонстрациях против университетского режима, то в организации небольших объединений, где молодежь свободно говорила, критикуя произвол властей, мечтая о лучшем политическом строе, об изменении участи крепостного народа. Зимой 1830/31 учебного года существовало общество «Литературные вечера», в котором казеннокоштные студенты, — особенно из камеры «одиннадцатый номер», — среди споров о классицизме и романтизме, чтений Грибоедова и

¹ Приятель Костенецкого; его хорошо знал и Герцен.

² Б. Эйхенбаум. «Тайное общество Сунгурова». — «Заветы», 1913, № 3, стр. 24, 28; № 5, стр. 46.

³ Окончательный приговор состоялся 6 февраля 1833 г., резолюция Николая — 26 января 1833 г. — «Русский архив», 1912, № 12 (сообщение Сазонова).

⁴ Н. Бродский. «Я. Неверов и его автобиография». — «Вестник воспитания», 1915, № 6, стр. 122. Я. И. Костенецкий писал в своих воспоминаниях, что в Крутицких казармах его посещал Почека в особенно Оболенский, а перед ссылкой на Кавказ приходили прощаться вместе с этими студентами Сатин и Огарев. В пользу осужденных собирали деньги Неверов и Огарев.

Пушкина, обсуждали драму Белинского «Дмитрий Каширин»¹. В октябре 1831 года возникло «Дружеское общество» в составе И. П. Ключникова, Я. М. Неверова и И. А. Оболенского².

Гончаров, вспоминая свои студенческие годы (1831—1834), писал, что «все студенты делились на группы близких между собою товарищей, — иногда прежних соучеников в школе или случайных знакомых, иногда просто соседей на университетской скамье... [Было] много мелких кружков»³.

В истории общественной мысли тридцатых годов обычно вспоминаются два студенческих кружка — Станкевича и Герцена. Исторически правильнее рассматривать студенческую жизнь этого периода в ее большей пестроте, сложности, тяге к разнотипным формам объединения. Давно сложилось и прочно вошло в научные исследования по истории литературы и в биографические очерки Лермонтова следующее положение. Были кружки Станкевича и Герцена, Лермонтов не принадлежал ни к тому, ни к другому, так как вел замкнутый образ жизни и держался обособленно. Обычное представление об этих кружках таково: кружок Станкевича интересовался преимущественно немецкой идеалистической философией (Шеллинг и др.), кружок Герцена — политическими вопросами, особенно учением французских утопических социалистов (Сен-Симон). Между обоими кружками лежала межа. В основу этого представления легло утверждение автора «Былого и дум»: «мы могли холодно уважать круг Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философские системы, занимались анализом себя и успокаивались в роскошном пантеизме, из которого не исключалось христианство. Мы мечтали о том, как начать в России новый союз по образцу декабристов и самую науку считали средством» (ч. IV, гл. XXIV).

До сих пор никто не ставил вопроса, к какому времени относится эта герценовская оценка двух кружков. Не подвергалось критическому пересмотру традиционное

¹ П. Прозоров. «Белинский и Московский университет в его время (из студенческих воспоминаний)». — «Библиотека для чтения». 1850, ноябрь, стр. 5—8.

² К. П. Архангельский. «Н. В. Станкевич. (Из истории умственной жизни тридцатых годов.) Оттиск из «Известий СКГУ», стр. 207.

³ Полное собрание сочинений И. А. Гончарова, т. XII, П., 1899, стр. 42. См. также у Я. И. Костенецкого. — «Русский архив», 1887, кн. I, стр. 116—117.

представление о шеллингианском кружке Станкевича и сен-симонистском — Герцена в годы пребывания Лермонтова в Московском университете. Решение вопроса, существовали ли оба кружка с подобными резко очерченными и противоположными идейными интересами *в студенческие годы* Лермонтова, имеет чрезвычайную важность в биографии поэта. Наши разыскания привели нас к выводу, что в те годы, когда Лермонтов учился в университете, ни Станкевич не изучал в своем кружке Шеллинга, ни Герцен с друзьями не увлекались сен-симонизмом. Антиисторично утверждать, как это делалось до сих пор, что Лермонтов не принадлежал к философскому кружку Станкевича и сен-симонистскому (и даже фурьеристскому) кружку Герцена, так как в 1830—1831 и начале 1832 годов подобных кружков в действительности не существовало. Были кружки Станкевича и Герцена, где, как и в других студенческих кружках той поры, интересовались политическими, философскими, литературными, театральными вопросами. Наряду с многочисленными кружками студентов был также кружок, во главе которого стоял Лермонтов, углубленно и оригинально думавший над теми же проблемами, которые занимали лучших представителей передовой студенческой молодежи тридцатых годов.

3

Ни история возникновения кружков Станкевича и Герцена, ни состав участников, ни идейное содержание кружков не были освещены до сих пор с надлежащей полнотой и точностью. А это необходимо сделать, иначе нарушается историческая перспектива, ложно трактуется ход развития умственной жизни тогдашней интеллигенции, стирается эволюция во взглядах «молодой России».

Начнем с кружка Герцена. Герцен, вступивший в университет в 1829 году, не нашел среди студентов-однокурсников близких себе товарищей: воспитанный, по его признанию, на идеях 14 декабря, Шиллера и Руссо, он только с Огаревым, с которым познакомился в 1825 году, чувствовал отраду в беседах на всевозможные темы. «Первый товарищ, ясно понявший нас, был Сазонов», — вспоминал Герцен¹. Сазонов стал студентом осенью 1831 года. Тогда же через Сазонова Герцен познакомился с Сатиным.

¹ «Русские тени». Н. И. Сазонов. — Герцен посвятил «другу Сазонову» очерк «Первая встреча» (1834—1836).

С этими «новыми товарищами, в физико-математической аудитории... мы особенно сблизились, — писал Герцен, рассказывая дальше, — мы подали друг другу руки и à la lettre пошли проповедывать свободу и борьбу во все четыре стороны нашей молодой «вселенной»¹. Проповедывали мы везде, всегда... Что мы собственно проповедывали — трудно сказать. Идеи были смутны, мы проповедывали французскую революцию, потом проповедывали сен-симонизм и ту же революцию, мы проповедывали конституцию и республику, чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе. Но пуще всего проповедывали ненависть к всякому насилию, к всякому произволу». Эта суммарная характеристика политических идей небольшой группы студентов требует хронологического уточнения: пропаганда сен-симонизма не могла вестись, как будет выяснено дальше, ни в 1830/31, ни в 1831/32 академических годах.

В том же (1831) году, как Герцен сблизился с Сазоновым и Сатиным, он встретился у Вадима Пассека с Н. Х. Кетчером². Так как Кетчер (окончил в 1828 г. московское отделение Медико-хирургической академии) вернулся из служебной командировки в Москву в сентябре 1831 года³, то с осени этого года можно более точно вести историю кружка Герцена. Вадим Пассек окончил в 1829 году действительным студентом нравственно-политическое отделение, в 1830 году получил звание кандидата того же отделения. Его специальные интересы лежали в области истории, но он не был чужд и поэзии: он написал романтическую драму, писал стихи. Кетчер, по воспоминанию Герцена, был поклонником Шиллера: «больше деятельный сердцем, чем умом, Кетчер понял, овладел поэтической рефлексией Шиллера, его революционной философией в диалогах и на них остановился. Критика и скептицизм были для него совершенно чужды». Кроме Шиллера, Кетчер был увлечен идеалами французской революции; по словам Герцена, он «вместо молитвы на сон грядущий, читал речи Марата и Робеспьера».

В очерке о Кетчере автор «Былого и дум» писал, что в 1831 году «наш кружок состоял, сверх нас двоих»⁴, из

¹ Universitas.

² Ср. у Герцена: «нас было пятеро сначала. Тут мы встретились с Пассеком».

³ А. И. Герцен. Соч., т. XII, стр. 191.

⁴ То есть Герцена и Огарева.

Сазонова, старших Пассеков и еще двух-трех студентов». Кроме В. Пассека, Герцен имел в виду Диомида Пассека, окончившего в 1829 году со званием кандидата физико-математический факультет. Д. Пассек, подобно другим членам кружка, был настроен свободолобиво: посетив Новгород, он писал, продолжая декабристскую традицию, об этой, — как думали Рылеев и его единомышленники, — колыбели древнерусской вольности: «неужели эти слабые стены могли противопоставить ливонцам, литовцам, полчищам московским. Конечно, нет! Сильный дух граждан хранил их, а не эти слабые ограды, они древни, но не дряхлы... Обширные *ворота* стоят как эмблема... *свободы* Новгорода. Боже мой! стены эти видели славу древнего города...¹

Если присоединить к лицам, названным Герценом, окончивших университет А. Н. Савича², А. К. Лахтина³ и студента М. П. Носкова⁴, которых Герцен упоминал в письмах, то список членов этого кружка с осени 1831 года можно считать установленным. Основным студенческим ядром его были Герцен, Огарев, Сазонов, Сатин. Наибольшая близость была у первых двух с Вадимом Пассеком: «Ты, Вадим, и я — мы составляем одно целое», — писал Герцен Огареву 9 июля 1833 года. Огарев также вспоминал в «Исповеди лишнего человека» трех лиц из кружка, особенно друг другу близких:

... И тут втроем, мы — дети декабристов
И мира нового ученики,
Ученики Фурье и Сен-Симона,
Мы поклялись...

Взаимоотношения между членами кружка не были одинаковыми вследствие различия характеров и наметившихся с течением времени идеологических расхождений. По той же причине не могло образоваться более действенного контакта со студенческой средой в университете. Герцен «делил с Сазоновым... отроческие фантазии о загоре

¹ «Воспоминания Т. Пассек», т. 1, 1905, стр. 345—346.

² А. Н. Савич с 28 октября 1826 г. по 29 июня 1829 г. учился в Московском университете, 6 февраля 1832 г. получил степень магистра физико-математических наук.

³ Алексей Кузьмич Лахтин, из купцов, 5 июня 1828 г. получил свидетельство об окончании словесного отделения; слушал лекции и на физико-математическом отделении.

⁴ М. П. Носков окончил в 1832 г. физико-математический факультет со званием кандидата.

à la Риензи», но тех чувств, которые он питал к Огареву, у него не могло быть в отношении к Сазонову: Сазонов, «чопорный и аристократ по манерам», «имел резкие дарования¹ и резкое самолюбие... Над товарищами он старался брать верх и никого не ставил на одну доску с собой. Оттого они его больше уважали, чем любили». Сатин, о котором Герцен писал, что он никогда его не любил², был недоволен, что Огарев и Герцен не посвящают его в свои тайны; Сатин, между прочим, критиковал стихотворения Огарева. Идейные разногласия между членами кружка обнаружились, когда возникло увлечение сен-симонизмом. После того как Герцен, Огарев и Сазонов сели за брошюры сен-симонистов, Вадим Пассек ушел в историю, магистр А. Н. Савич — в математику; Сатин и Кетчер не выказали стремления идти по новому пути. «Кружок наш еще теснее сомкнулся», — вспоминал Герцен это время. Когда же участники кружка стали знакомиться с учением Сен-Симона? Когда же они понесли пропаганду сен-симонизма в университетскую аудиторию? Припомним рассказ Герцена:

«Время, следовавшее за усмирением польского восстания, быстро воспитывало. Мы начали с внутренним ужасом разглядывать, что и в Европе и особенно во Франции, откуда ждали пароль политический и лозунг, дела идут неладно, теории наши становились нам подозрительны.

Детский либерализм 1826 года, сложившийся мало-помалу в то французское воззрение, которое проповедывали Лафайет и Бенжамен Констан, пел Беранже, — терял для нас, после гибели Польши, свою чарующую силу...

Середь этого брожения, середь догадок, усилий понять сомнения, пугавшие нас, попались в наши руки сен-симонистские брошюры, их проповеди, их процесс. Они поразили нас.

Поверхностные и неповерхностные люди довольно смеялись над отцом Анфантенем и над его апостолами; время иного признания наступает для этих предтеч социализма.

Торжественно и поэтически являлись середь мещанского мира эти восторженные юноши с своими неразрезными жилетами, с отрощенными бородами. Они возвестили новую веру, им было что сказать и было во имя чего позвать перед свой суд старый порядок вещей, хотевший

¹ См. о Сазонове «Воспоминания студентства» К. С. Аксакова.

² Полное собрание сочинений А. И. Герцена, т. II, стр. 97.

... судить по кодексу Наполеона и по орлеанской религии.
С одной стороны, *освобождение женщины*, призвание ее
на общий труд, отдавание ее судеб в ее руки, союз с нею,
как с равным.
С другой — оправдание, *искупление плоти*. Réhabilitation
de la Chair.

Великие слова, заключающие в себе целый мир новых
отношений между людьми, мир здоровья, мир духа, мир
красоты, мир естественно-нравственный и потому нрав-
ственно-чистый... Религия жизни шла на смену религии
смерти, религия красоты — на смену религии бичевания и
худобы от поста и молитвы. Распятое тело воскресало в
свою очередь и не стыдилось больше себя; человек дости-
гал созвучного единства, догадывался, что он существо
целое, а не составлен, как маятник, из двух разных метал-
лов, удерживающих друг друга, что враг, спаянный с ним,
исчез.

Какое мужество надобно было иметь, чтоб произнести
всенародно во Франции эти слова освобождения от спери-
туализма, который так силен в понятиях французов и так
вовсе не существует в их поведении.

Старый мир, осмеянный Вольтером, подшибленный ре-
волюцией, но закрепленный, перешитый и упроченный ме-
щанством для своего обихода, этого еще не испытал. Он
хотел судить отщепенцев на основании своего тайно со-
глашенного лицемерия, а люди эти обличили его. Их об-
виняли в отступничестве от христианства, а они указали
над головой судьи завешанную икону после революции
1830 года. Их обвиняли в оправдании чувственности, а они
спросили у судьи, целомудренно ли он живет.

Новый мир толкался в дверь, наши души, наши сердца
растворялись ему. Сен-симонизм лег в основу наших убеж-
дений и неизменно остался в существенном.

Удобовпечатлимые, искренно-молодые, мы легко были
подхвачены мощной волной его и рано переплыли тот ру-
беж, на котором останавливаются целые ряды людей, скла-
дывают руки, идут назад или ищут по сторонам броду —
через море!

Но не все рискнули с нами».

Этот отрывок из мемуаров Герцена не оставляет со-
мнения в том, что Герцен и его друзья познакомились с
сен-симонизмом *после* известного процесса учеников Сен-
Симона, после Менильмонтанского процесса в Париже
27—28 августа 1832 года. Об этом нашумевшем процессе

печатались известия и в русских газетах, например, в «Северной пчеле» 1832 года.

Как своеобразно преломилась в сознании Герцена одна из систем французского утопического социализма, показывает сравнение типа идей, воспринятых кружком Герцена, с тем отношением к учению Сен-Симона, которое было у Чернышевского. Идеолог крестьянской демократии «основную идею» Сен-Симона формулировал так: «для усовершенствования общества необходимо наискорейшее возможное улучшение материальной и нравственной жизни многочисленного и беднейшего класса. Обязанность каждого хорошего гражданина, каждого честного человека состоит в том, чтобы посвятить все свои силы этому делу»¹.

Дворянская молодежь тридцатых годов, далекая от народа, свидетельница только стихийных народных бунтов, не видя еще перспективы общественной борьбы, встретила в европейском социализме лишь мощную поддержку своему стремлению к освобождению от патриархальных устоев, своей борьбе за право личности на свободное выражение ее запросов. Критика капиталистической системы и различные построения будущей экономической организации казались не первоочередными.

Герцен, много лет спустя вспоминая о своем юношеском увлечении, называл свой сен-симонизм «смутным, религиозным» (и в то же время «аналитическим») и писал, что он и его товарищи видели в сен-симонизме «выражение более искреннего чувства, чем в учениях политических»: «социализм нас затрагивал меньше, чем западную буржуазию».

Интерес к сен-симонизму продолжался у Герцена и на последнем курсе университета, и по выходе из университета². 19 июля 1833 года Герцен писал Огареву: «Ты прав, Saint-Simonisme имеет право нас занять», но он уже критически относился к «религиозной форме», видел «нынешний упадок» сен-симонизма в школе Анфантена; в том же письме он советовал своему другу прочесть во французском журнале Фурье.

Сазонов, по словам К. С. Аксакова, «очень много читавший, впрочем, преимущественно французских писателей», перейдя на словесное отделение, «старался сблизиться с Аксаковым, «желая сделать [из него] прозелита», «чего

¹ «Июльская монархия» («Современник», 1860). Полное собрание сочинений, т. VII, П., 1918, стр. 134.

² Герцен получил звание кандидата 30 июня 1833 г.

...му, однако, не удалось». (Воспоминания эти относятся к тому времени, когда из университета ушли Станкевич, Строев, Ефремов, Красов, Бодянский, в 1834 году получившие звание кандидатов словесного отделения) ¹.

Итак, если о сен-симонизме кружка Герцена можно говорить только с осени 1832 года, то становится очевидной бесполезность экскурсов в историю развития социалистических идей в русском студенчестве во время пребывания Лермонтова в университете. Еще не пришло время для пропаганды утопического социализма даже в небольшом кругу московских студентов: кружок Герцена не опередил идейных исканий студента Лермонтова.

Картина умственной жизни студенческого кружка Герцена была сложнее, чем принято думать. Политические интересы не были в нем исключительными. Друг Герцена, Огарев, напечатал в «Телескопе» две переводные (с немецкого и французского) статьи, обнаруживавшие интерес переводчика к проблемам языкознания и философии: «Сравнительное представление всеобщей пирамиды языков (из философии истории Ф. Шлегеля)» ²; «Современное назначение философии (предисловие к Кузену переводу «Истории философии» Тенемана)» ³. Показательно предисловие Огарева к переводу Кузена, где он защищал философский эклектизм и отвергал французский материализм XVIII века.

Студент Огарев колебался между Кузеном и Шеллингом, как и Герцен ⁴ и другие его современники; переводчику Кузена Герцен писал 1 августа 1833 года: «ты сделался шеллингистом...» ⁵.

Сам Герцен стал знакомиться с Шеллингом еще до поступления в университет: в октябре 1828 года его преподаватель магистр В. И. Оболенский, участник «Московского вестника», принес ему один из трудов немецкого идеалиста. Татьяна Кучина (жена Вадима Пассека), на глазах которой протекала история студенческого кружка, пишет в своих воспоминаниях: «в промежуток между лекциями

¹ Сазонов и Аксаков окончили университет в 1835 г.

² «Телескоп», 1831, ч. IV, № 15.

³ «Телескоп», 1832, ч. XI, № 20.

⁴ Отзвуки Кузена (может быть и Шеллинга) можно указать в статье Герцена «О месте человека в природе» (1832) и в статье «28 января» (1833).

⁵ Ср. еще в письме от 19 июля 1833 г.: «Огарев, ты открыл новый мир в Шеллинге...»

[Саша] ораторствовал с товарищами о философии, политике, о литературе. Шеллинг стоял на первом месте! Можно добавить, что в переписке Герцена этой поры упоминаются Фихте и Гегель², имена которых пестрели в журналах, — особенно Гегель в год его смерти (1831).

Когда биограф Лермонтова пишет, что «в кружке Герцена и Огарева... *наряду с углубленным изучением Гегеля*», Герцен и Огарев увлекались французским утопическим социализмом, главным образом — учениями Сен-Симона и Фурье³, то совершенно искажается история этого кружка. В начале тридцатых годов Герцену приписывается тот момент его философского становления, который имел место спустя много лет. 7 февраля 1839 года, ссыльный Герцен писал из Владимира Кетчеру: «Гегеля я сам не читал». И далее, в письмах от 28 февраля и 16 марта 1839 года, просит Кетчера выслать ему Гегеля. Лишь 11 февраля 1841 года среди планов Герцена мы встречаем его намерение «продолжать изучение Гегеля», лишь в 1841 году он впервые приводит цитату из «Эстетики» Гегеля в очерке «Патриархальные нравы города Манилова». Только 3 февраля 1842 года Герцен сообщал А. А. Краевскому: «Я наконец дочитал и *хорошо* «Феноменологию [духа]» Гегеля». «Углубленное изучение» Гегеля, как мы видим, происходило у Герцена в самые последние годы жизни поэта.

Сазонов много работал по истории, напечатал в «Ученых записках Московского университета» очерк «Об исторических трудах и заслугах Миллера».

¹ «Воспоминания Т. Пассек», 2-е издание, т. I, стр. 245.

² Ср. в письме Герцена к Огареву от 1 августа 1833 г.: «Шеллинг поэт высокий, он понял требование века и создал не бездушный эклектизм, но живую философию, основанную на одном начале, из коего она строино развертывается. Фихте и Спиноза — вот крайности соединенные Шеллингом. Но нашему брату надлежит идти далее, модифицировать его учение, отбрасывать *ipse dixit* (сам сказал) и принимать, не более, его методы. Причина: Шеллинг дошел до мистического католицизма, Гегель — до деспотизма. Фихте, этот *Regim de terreur* философии (как называет Кине) — по крайней мере *хорошо* понял достоинство человека».

³ В. А. Мануйлов. «Лермонтов. «Жизнь и творчество», Л., 1939, стр. 41 (Курсив наш. — Н. Б.)

⁴ Ср. еще признание Герцена по возвращении его из ссылки: «я увидел необходимость *ex ipsa fonte bibere* [пить из самого источника] и серьезно занялся Гегелем». Или в очерке «Н. И. Сазонов»: «с Сазоновым я делил в начале тридцатых годов наши отроческие фантазии... с Бакуниным десять лет спустя в поте мозга завоевал Гегеля» (А. И. Герцен, т. XII, стр. 244).

Сазонов сочувственно относился к психологическому анализу в произведениях художников, к раскрытию поэзии внутренней, богатой «подробностями», жизни человека, к тому, чем насыщена была поэзия его университетского товарища. Понятен его интерес к Лермонтову, стихотворения он переводил на французский язык, явля эмигрантом за границей.

Сазонов оставил замечательную характеристику кружка Герцена: она вносит яркое дополнение в воспоминания Готтора «Былого и дум». «Все, начиная с наших костюмов, называло на самую причудливую смесь: зимой мы носили черные бархатные береты à la Карл Занд и трехцветные французские шарфы. На собраниях нашего кружка мы декламировали запрещенные стихотворения Рыльева и Пушкина и распевали наполеоновские куплеты Беранже наряду с антифранцузскими песнями Аридта, Уланда и Кернера. Наше чтение было еще более разнообразным: мы с одинаковым усердием разыскивали тогда еще очень редкие документы, относящиеся к французской революции, и сочинения Шеллинга и Окена по натурфилософии. Начиная с исторических прорицаний Якова Бёма и вплоть до ямбов Барбье и «Шагреновой кожи» Бальзака, — все волновало нас, все нас интересовало и вызывало в нас энтузиазм, тогда монотонный и бесплодный, но всегда искренний»¹. Итак, Шеллинг, Окен, Кузен и даже Я. Бем — в области философии; Пушкин и Рылеев, Беранже и Бальзак и многие другие поэты и прозаики европейские и русские, которыми зачитывалась молодежь тридцатых годов; исторические труды — словом, богатая и разнообразная умственная пища поглощалась участниками кружка Герцена. Проступающая мысль сильно билась в этом кружке, но была она в 1831/32 году резко отличающейся от настроений, которыми жили другие студенческие кружки того времени?

4

Рассказывая о кружке Станкевича, первый биограф Лермонтова писал: «собирались у Станкевича, собирались ежедневно, друзья, товарищи-студенты и окончившие университет. Там бывали: Ключников, Петров (санскритист), К. Ак-

¹ Из «Gazette du Nord», 1860, 26 мая. См. А. И. Герцен. Соч., т. XIV, стр. 130. — Ношение трехцветных шарфов и берета à la Карл Занд относится, по указанию Герцена, к осени 1833 г. — А. И. Герцен, соч., т. XII, стр. 137, 188.

саков, А. П. Ефремов, Красов и др., позднее примкнул и Белинский»¹. Новейший биограф Лермонтова, не называя участников кружка, лишь перефразировал П. А. Висковатого: «почти ежедневно собирались у Станкевича... Вскоре к кружку Станкевича примкнул и Белинский»².

Если говорить о кружке Станкевича в период студенчества Лермонтова, то надо исключить из числа его членов К. С. Аксакова, вступившего в университет, когда Лермонтов уже не был студентом. Так как трудно представить себе кружок Станкевича без Белинского, то, естественно, прежде всего надо решить вопрос, когда же Белинский примкнул к кружку? В 1831 году Белинский вместе со Станкевичем слушал лекции профессора Победоносцева³, но нет никаких данных, чтобы считать установленным не только вхождение Белинского в «кружок Станкевича», но и самое знакомство их в довольно многочисленной аудитории (75 студентов). Встречи Белинского и Станкевича в университете, по возобновлении занятий после прекращения холерной эпидемии, не могли быть частыми, так как Белинский во вторую половину учебного 1830/31 года некоторое время лечился в больнице и на лекции почти не ходил⁴, с сентября 1831 года фактически перестал быть студентом, а в сентябре 1832 года он был уволен из университета⁵. По его словам, он познакомился с участником кружка И. П. Ключниковым, окончившим университет в 1832 году, за год до появления «Литературных мечтаний», то есть осенью 1833 года⁶.

Есть свидетельство поэта Я. П. Полонского, ученика И. П. Ключникова, что именно последний свел Белинского с кружком Станкевича⁷. К 20 сентября 1833 года относится (в письме к брату Константину) важное признание Белинского: «связь с моим любезным Петровым⁸ и многими

¹ П. А. Висковатый, стр. 111.

² В. А. Мануйлов. «Лермонтов». Л., 1939, стр. 41.

³ Ведомость из класса П. Победоносцева с января по июнь 1831 г.

⁴ Что подтверждается, например, ведомостью из класса профессора Кубарева, где указаны Я. Почека, Станкевич, Иван Арапетов (бывший товарищ Лермонтова по пансиону) и Белинский, но против фамилии Белинского нет никакой отметки.

⁵ «Русская старина», 1876, март, стр. 678.

⁶ В. Г. Белинский. Письма, т. I, стр. 325.

⁷ «Венок Белинскому». Сборник под редакцией Н. К. Пиксанова. М., 1924, стр. 57.

⁸ П. Я. Петров, будучи студентом, печатался в «Галатее» Ранча; в 1830 г. он поместил свой перевод из «Потерянного рая» (ч. 15

другими, можно сказать, отборными по уму, образованности, талантам и благородству чувств молодыми людьми составляет меня иногда забывать о моих несчастьях»¹. Думаю, что приведенные свидетельства позволяют точно установить время вступления Белинского в кружок Станкевича: это было осенью 1833 года, то есть спустя год после выхода его из университета².

Известно, что ближайшим своим другом Станкевич считал Я. М. Неверова.

Станкевич вступил в Московский университет в 1830 году. Неверов, студент-словесник с 1828 года, познакомился с ним в семействе Беер зимой 1830 года, на одном из танцевальных вечеров, «на которые студент Беер приглашал своих товарищей-студентов, в числе коих был и студент Станкевич». «Между студентами известно было, — пишет в своей автобиографии Неверов, — что Станкевич еще до вступления в университет вступил на литературное поприще и напечатал в Воронеже драму своего сочинения «Валентий Шуйский». Это обстоятельство и обратило на него... мое внимание, и с самого первого знакомства между мною и Станкевичем установились весьма теплые отношения, которые вскоре превратились в тесную дружбу»³. Что же тот друг Станкевича писал об его товарищеском кружке? «Станкевич, будучи студентом, жил у проф. Павлова, в пансионе его, на Дмитровке, но жил не как пансионер, занимал только квартиру... Квартира эта была... так попростительна, что весь наш товарищеский кружок очень часто у него собирался и проводил целые вечера в чтении и в одушевленной беседе. Но из всех товарищей Станкевич был особенно близок со мной и Яковом Ивановичем Понеской. Последний, впрочем, был только компаньоном в на-

¹ 22) за подписью «П. П.». Как высоко ценил он Белинского, показывает, что свой перевод из Мильтона он посвятил Белинскому. «Посвящено В. Г. Б.» я расшифровываю как посвящение Виссариону Григорьевичу Белинскому. Знал ли Лермонтов в пансионе, кто скрывался за инициалами этого посвящения?..

² В. Г. Белинский. «Письма», т. I стр. 56.

³ К. П. Архангельский. «Из истории кружка Н. В. Станкевича». — Воронежский краеведческий сборник, выпуск I, Воронеж, 1924.

⁴ Н. Бродский. «Я. Неверов и его автобиография». — «Вестник воспитания», 1915, сентябрь, стр. 111. Станкевич отрывки из своей трагедии начал печатать в петербургской газете «Бабочка», 1830 г., № 21 (12 марта), 22, 47. Трагедия Станкевича была напечатана в Москве.

ших юношеских развлечениях, а наиболее выдающимися членами кружка были: Сергей Строев — историк, и Красов — поэт, помещавший свои стихотворения в тогдашних журналах, Ключников. Впоследствии к кружку Станкевича примкнули Белинский и Бакунин. Последний занимался тогда немецкой философией и старался увлечь ею и Станкевича, чему я... всеми силами противодействовал. Бакунин был старше нас летами и не принадлежал к студенческому кружку»¹. Так как совершенно точно известно, что знакомство Станкевича и Бакунина состоялось только в 1835 году², то ссылка Неверова на Бакунина имеет отношение к столь позднему периоду в истории кружка, что имя Бакунина должно быть исключено, — как об этом говорит и сам мемуарист, — из *студенческого кружка*. Но пометка Неверовым фамилии Белинского рядом с Бакуниным с неопределенным хронологическим указанием их вхождения в кружок («впоследствии...») доказывает, что Неверов лично не помнил Белинского в кружке своего друга, а называл его, зная о нем только из писем Станкевича. Это можно подтвердить и тем соображением, что Я. М. Неверов уже весной 1833 года переехал в Петербург.

Итак, если следовать воспоминаниям Неверова, то в первоначальный состав кружка Станкевича входило пять-шесть человек³, из них С. Строев поступил в университет в январе 1831 года, В. И. Красов осенью того же года. К. С. Аксаков вспоминал, что он в кружке Станкевича впервые «видел Петрова [санскритолога] и Белинского»⁴ — то есть ни того, ни другого он не встречал в университетской аудитории, — что познакомился также в кружке окончившими уже университет, «из которых замечательнее других Ключников»⁴.

В числе вышедших в 1832 году из университета вместе с Ключниковым и Неверовым был, как мы говорили, О. Бодянский (славист), которого Гончаров называл в числе близких товарищей Станкевича: «[я] не был знаком

¹ Н. Бродский. «Я. Неверов и его автобиография». — «Вестник воспитания», 1915 сентябрь, стр. 17.

² А. Корнилов. «Молодые годы Михаила Бакунина». М., 1915. стр. 90.

³ Считаю и Я. Почеку, который, по словам Неверова, не был постоянным участником товарищеских бесед.

⁴ «Воспоминания студентства», стр. 17.

Там же, стр. 112—113.

К. Аксаковым, Станкевичем, Бодянским, Сергеем Строевым]. Я слышал только тогда, — пишет в своих воспоминаниях И. А. Гончаров, студент с 1831 по 1834 год, — что они, составляя одну группу и занимая угол в обширной аудитории, собирались друг у друга, читали, менялись мыслями». В письмах, записочках Станкевича в 1832 году упоминается товарищ Неверов и Ключников И. А. Оболенский (наряду с Сергеем Строевым и Почекой). В 1833 году Станкевич сообщает Неверову, что к нему ходят Строев, Жеер, Красов, Ключников, Оболенский, Почека и чаще других Ефремов¹.

Из всех приведенных данных, имеющих значение первоисточника, следует сделать следующий вывод: вряд ли можно говорить о возникновении кружка Станкевича ранее 1831/32 учебного года²; первоначальное ядро его было очень невелико³; лишь с 1833 года число участников кружка закрепилось, и кружок стал идейным объединением, в котором происходила «подземная работа» в то «удивительное время наружного рабства и внутреннего освобождения», — как называл Герцен эпоху николаевского абсолютизма, — когда, по его словам, «настоящая история того времени [была] в двух-трех бедных профессорах, в нескольких студентах, в кучке журналистов».

Неверов ввел Станкевича в дом Н. А. Мельгунова, у которого он стал жить с марта 1831 года в качестве компаньона — бедного студента. В этом доме литературно и философски образованного хозяина, отличного музыканта, они встречались с Иваном и Петром Киреевскими, Погодиным, Шевыревым, Кошелевым, Языковым и Хомяковым. Так Станкевич вошел в соприкосновение с Любомирами двадцатых годов из кружка В. Ф. Одоевского. Но бывшие философские устремления уже не были типичными для людей этого круга (кроме И. Киреевского) в тридцатых годах. Тем не менее можно предполагать, что Станкевич, помимо М. Г. Павлова, мог через братьев Киреевских услышать о немецкой философии, об их встречах с Шеллингом. Однако необходимо подчеркнуть, что в первое время студенчества Станкевич оставался в стороне от увлечения шеллингианской философией, что в его пере-

¹ Переписка Н. В. Станкевича. М., 1914, стр. 218, 232.

² В октябре 1831 г. Неверов, собираясь организовать «Дружеское общество», не упоминал о студенческом кружке Станкевича.

³ Станкевич, Неверов, Почека, С. Строев, Краснов, Ключников,

писке нет упоминания о чтении им Шеллинга. Станкевич упоминает Кузена¹, его книгу «Cours d'histoire de la philosophie», 1826, в которой Кузен, — тогда еще не последователь Шеллинга, — называл себя сторонником психологического метода. Философский очерк Станкевича (в письмах к Неверову) «Моя метафизика» (1833) привел исследователя к заключению, что свести «метафизику» Станкевича только к шеллингианству невозможно, что очерк Станкевича — итог влияния разнородных философских течений: «первая строка этого очерка, признающая значение опыта, напоминает первые строки трансцендентальной эстетики Канта (в «Критике чистого разума»), затем следуют положения, отзывающиеся пантеистическими взглядами Спинозы, после чего автор обнаруживает стремление к монистическому взгляду на «природу» и «разумение» в духе Шеллинга»².

Когда биограф Лермонтова пишет, что, «подобно Белинскому и Станкевичу, Лермонтов, несомненно, читал сочинения Шеллинга и его последователей»³, то, — не касаясь пока вопроса о философских чтениях поэта, — положение этого исследователя о чтении Станкевичем Шеллинга в студенческие годы надо считать не только ни на чем не основанным, но и прямо противоречащим словам самого Станкевича, который в 1836 году (29 сентября) писал Т. Н. Грановскому: «Вышедши из университета [1834], я не знал, за что приняться — и выбрал историю... это было подражание всем, влияние людей, которые не верили теории; привычка к недеятельности, которая делала страшным занятие философиею... Шеллинг, на которого я напал почти нечаянно, опять обратил меня на прежний путь, к которому привела была эстетика — и с тех пор более и более, при всей моей недеятельности, я начал сознать себя»⁴.

Только осенью 1834 года Станкевич стал штудировать «Систему трансцендентального идеализма» Шеллинга (1800), и любопытно: только что окончивший универ-

¹ «Переписка», стр. 210.

² А. Корнилов. «Молодые годы Михаила Бакунина». М., 1915, стр. 125. Другой исследователь добавляет к Канту и Спинозе воздействие Лейбница, а также статей и лекций Павлова, Надеждина, эстетики Бутервека, немецких романтиков и учения Кузена. К. Архангельский. «Н. В. Станкевич». «Из истории умственной жизни тридцатых годов», стр. 136—138.

³ В. А. Мизулов. «Лермонтов», М., 1939, стр. 42.

⁴ «Переписка Н. В. Станкевича». М., 1914, стр. 450.

петскую школу, хорошо осведомленный в исторических
удах¹, он возражает немецкому философу, соглашаясь
понимании исторического прогресса не с ним, а с фран-
зским историком Гизо, автором «Истории европейской
цилизации»².

Традиционное представление о шеллингианском кружке
Станкевича в студенческие годы Лермонтова не выдержи-
вет критики. Шеллинг в эти годы не играл в этом кружке
роли главного учителя; знакомство с немецким философом
происходило преимущественно из вторых рук — в изложе-
нии, пересказе, пронизанном другими философскими тече-
ниями, из журнальных статей и пр.

Преодолевая большие трудности в овладении немецкой
философией, Станкевич прошел долгий и мучительный путь
от Кузена до левого гегельянства; он выстрадал свои фи-
лософские искания; автобиографично звучит описание пе-
реживаний героя его повести «Несколько мгновений из
жизни графа»: «Система за системой создавалась и разру-
шалась в уме его: он уже начинал сомневаться, не слиш-
ком ли много надеется на мощь ума своего; все утешитель-
ное каждой системы гибло без возврата, а леденящие со-
нения все усиливались». Станкевичу было тесно в «отвле-
енном абсолюте», он мечтал «перенести идеал в жизнь и
дать жизнь идеалу»; он называл «бесполезными» «нелепые
твлеченные занятия».

Любимой темой разговоров Станкевича с его другом Не-
еровым было искусство (поэзия и театр)³. Юноша-поэт
печатал свои стихи в журналах по настоянию Неверова,
который «мечтал видеть в нем второго Пушкина и усердно
поощрял его занятия поэзией, так что, когда он, — по сло-
вам его друга, — впоследствии стал увлекаться филосо-
фией, то я всячески старался отвлечь его от этого, из опа-
сения, что он перестанет заниматься стихотворством»⁴.
Станкевич печатал свои стихотворения — оригинальные и
переводные (из Гете) — в «Атенее» (1830), в «Телескопе»
(1831), в «Северных цветах» на 1831 и 1832 годы.

И. В. Киреевский в своем известном «Обзрении русской
словесности», напечатанном в альманахе М. Максимовича
«Денница», писал: «трагедия наша ожила наконец в по-

¹ Станкевич упоминает в письмах Гердера, Эверса, Геерена, Гизо.

² Н. В. Станкевич. «Переписка», стр. 291.

³ «Переписка», стр. 214—215.

⁴ «Вестник воспитания». 1915, сентябрь, № 6, стр. 112.

следние два года... Назовем *Василия Шуйского* — первый опыт г. Станкевича»¹. Студент Неверов также пробовал свои силы в качестве литератора: он перевел с английского поэму Мура «Любовь ангелов», написал повесть «Гулянье под Новинским»². Красов, будучи студентом, напечатал патристическое стихотворение «Куликово поле» в «Телескопе» (1832, ч. XI) и несколько стихотворений в «Молве» (1833 г.) с исторической тематикой и отзвуком увлечения Байроном. Ключников писал эпиграммы на профессоров; его скептицизм и настроения рефлексии гораздо позже стали выливаться в те стихотворения, которые одно время приводили в восхищение Белинского³. С. Строев с головой ушел в исторические разыскания, печатался в «Ученых записках Московского университета»; будучи студентом, выпустил брошюру под псевдонимом С. Скромненко против историографических суждений Сенковского. Но почти вся указанная печатная продукция членов кружка Станкевича падала на 1833—1835 годы, то есть на поздний период, на те годы, когда манифест кружка, «Литературные мечтания» Белинского (1834), отражал в основном уже не студенческий кружок Станкевича⁴.

Итак, первоначальный период жизни кружка меньше всего можно назвать философским. Литература, история стояли на первом месте. Философские проблемы трактовались в общей форме, постольку, поскольку философские идеи воздействовали на молодежь со страниц журналистики, с университетских кафедр, обсуждались в студенческих аудиториях. К. С. Аксаков, вспоминая свои частые посещения кружка Станкевича (в течение семи лет, — то есть с 1832 по 1839 г.), писал, что «в этом кружке разработа-

¹ «Денница, альманах на 1831 год», стр. IX—X. См. еще отзывы в «Литературной газете», 1830 г., № 38.

² «Вестник воспитания», 1915, сентябрь, стр. 20. В «Телескопе» была его статья о Нибуре.

³ См. мою статью «Поэты кружка Станкевича» в «Известиях русского языка и словесности Академии наук», 1912, т. XVII, кн. 4.

⁴ О полном единстве взглядов участников кружка Станкевича говорить не приходится хотя бы по одному факту: С. Строев всегда враждебно относился к деятельности Белинского как литературного критика, называл его статьи «кабацкими». Даже тогда, когда имя Белинского стало знаменем новой эстетики, когда великий критик развенчал Марлинского и Бенедиктова, был автором блестящей статьи о Гоголе, — С. Строев напечатал в «Сыне отечества» (1840, № 11) статью под заглавием «Отчего у нас нет критики?»

ь уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир, — воззрение большею частью отрицательное. Как всегда бывает, отрицание лжи доводило и нас до односторонности... Одностороннее всего были нападения на Россию, возбужденные казенными ей похвалами... Я был поражен таким направлением, и мне оно было больно; в особенности больны были мне нападения на Россию, которую люблю с самых малых лет».

С. Аксаков, составляя свои воспоминания в 1855 году, сколько передвинул факты исторической жизни, пересел в начальные годы тридцатых годов то, что составляло сущность литературной и общественной жизни более позднего периода. К тому же дальнейшие его признания, что «кружок этот, будучи свободомыслен, не любил ни рондерства, ни либеральничанья... даже вообще, политическая сторона занимала его мало», заставляют еще уверенней предполагать, что славянофил-мемуарист в своей характеристике перемешал разные моменты в жизни кружка, — в итоге трудно согласовать его утверждение почти безразличном отношении кружка к политической жизни России с утверждением, что в кружке происходили односторонние «нападения на Россию».

Одно можно сказать: что как ни умеренны были политические взгляды кружка, члены его критически относились к казенной идеологии: «насмешливость и иногда горькая шутка часто звучали в этих студенческих беседах», вспоминал К. С. Аксаков.

Только в этих оттенках политического свободолюбия можно усмотреть черты различия между студенческими кружками Герцена и Станкевича. Все остальное — в годы студенчества Лермонтова — не разъединяло их, а сближало: и философские чтения, и интерес к историческим дисциплинам, и художественные вкусы. А главное, — как это подтвердил и сам Герцен, — оба кружка роднило «глубокое чувство отчуждения от официальной России, от среды их окружавшей».

Эволюция Станкевича и некоторых его друзей в сторону углубленного изучения немецких философов падает на середину тридцатых годов. Герцен, относивший «последний праздник дружбы» членов своего студенческого кружка к последним числам мая 1833 года, писал: «год, проведенный нами после курса, торжественно заключил первую юность. Это был продолжающийся пир дружбы, обмена идей, вдохновения, разгула».

Арест Герцена и Огарева в июле 1834 года и ссылка Герцена, Огарева и Сатина в 1835 году прервали этот «пир обмена идей».

К концу 1833 года относится период формирования *нестуденческого кружка* Станкевича с углубленными философскими изучениями.

Вот к этому-то моменту четко обозначившихся идейных разногласий между обоими московскими кружками и относится не раз цитировавшееся исследователями воспоминание Герцена: «до ссылки между нашим кругом и кругом Станкевича не было большой симпатии — им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондерами и французами, мы их сентименталистами и немцами». Эта характеристика не имеет отношения к *студенческому периоду* в истории кружков. В начале тридцатых годов и «немецкое» и «французское» входило в круг интересов обоих кружков...

Оба идеологические течения, — как правильно отмечает И. В. Киреевский, — отражали «стремление к *лучшей действительности*»¹, чем тот мир крепостников и обывателей, благонамеренных *существователей*, мундирных повелителей, осыпанных «казенными похвалами» «грачей-разбойников» из «Северной пчелы», — тот мир, который стоял «огромным, стозевным чудищем», готовым немедля пожрать всякого, кто усомнился в праве на торжество грубого насилия и всяческого мракобесия.

5

Приблизительно в то время, когда Костенецкий и другие студенты собирались у Сунгурова, когда начинали формироваться кружки Герцена и Станкевича, когда в других студенческих группах молодежь горячо трактовала вопросы нового мировоззрения, решала основную для себя проблему, как спастись в царстве «мертвых душ», — в это самое время возник кружок Лермонтова. Как и в других студенческих кружках, число молодых людей, входивших в кружок Лермонтова, было невелико. Основной группой надо считать Андрея Дмитриевича Закревского, Николая Семеновича Шеншина, Владимира Александровича Шеншина, Николая Ивановича Поливанова и Алексея Алек-

¹ И. В. Киреевский. Соч., т. II, стр. 18.

сандровича Лопухина. Через А. Д. Закревского Лермонтов был знаком с князем Валерианом Павловичем Гагариным и Дмитрием Павловичем Тиличевым. Кроме В. А. Шеншина и Н. И. Поливанова, все были студентами; за исключением Лермонтова, Лопухина и Н. С. Шеншина, все были в университете с 1828 года на словесном отделении¹.

Закревский, Гагарин и Тиличев, как видно из ведомостей профессоров, на всех курсах, почти на всех лекциях, постоянно занимались вместе с той группой талантливых студентов, имена которых не раз упоминались выше и которые будут встречаться в дальнейшем. К этой группе относились Я. М. Неверов, И. П. Ключников, П. Я. Петров, Михаил Чистяков, В. М. Межевич, К. Н. Лебедев. Все они со званием кандидатов окончили Московский университет в 1832 году, кроме В. П. Гагарина, который не добрал на экзамене нужного количества баллов для получения звания действительного студента и вышел из университета в 1832 году без аттестата. В таком же положении находился студент Александр Рыков, знакомый Лермонтова; он поступил в университет еще в 1825 году, очень редко ходил на лекции и, получив на экзамене в 1832 году всего 14 баллов, был уволен.

А. Д. Закревский² — остроумный весельчак, с замечательными актерскими способностями, страстный театрал (однажды вместе с приятелем Трубецким, также знакомым Лермонтова, из-за своих пристрастий к одной балерине Большого театра так шумно держал себя в партере, что обратил на себя внимание московской полиции)³. Он был начитанным человеком, чрезвычайно интересовался исто-

¹ А. Д. Закревский 24 августа 1828 г. подал заявление на нравственно-политическое отделение, но потом перешел на словесное.

Все сведения об указанных студентах заимствованы из архива Московского университета. О Закревском, Гагарине и Тиличеве Лермонтов упомянул в своем послании «А. Д. З.» Расшифровке послания с подробной характеристикой этой студенческой группы посвящена моя статья «Лермонтов-студент и его товарищи» в сборнике «Жизнь и творчество Лермонтова», М., 1941 (Институт мировой литературы им. Горького).

² Родился 12 августа 1813 г. в Одоевщине, Саратовской губернии; сын генерал-майора.

³ См. дело о Закревском 30 декабря 1832 г. у В. П. Погожева, «Столетие императорских театров», выпуск 1, кн. III, стр. 206—207. О том, как «Закревский отличался, играя в «Недоросле», в любительском спектакле» в сентябре 1833 г., см. «Из писем А. Я. Булгакова к его дочери». — «Русский архив», 1906, № 5, стр. 73.

рией, пробовал свои силы как беллетрист, получил известность в качестве автора анонимной брошюры о Царегорохе, в которой, обнаружив дар превосходного памфлиста, иногда с легкой иронией, иногда зло и метко, высмеивал внешность и манеру читать профессоров Павлова, Качковского, Погодина, Давыдова; стиль полемики Н. А. Погодина; тематику повестей некоторых тогдашних писателей. Особенно издевательским в сатирическом памфлете Закревского был тон по адресу Булгарина и Греча — главных представителей рептильной прессы, которых товарищ Лермонтова явно ненавидел и презирал, использовав в своем выпаде против петербургских журналистов статьи Пушкина — Феофилакты Косичкина в «Телескопе». Этот памфлет, вышедший в 1834 году, наделал много шума в университетском мире¹. Закревский, внимательный читатель современной французской литературы (Бальзака, Стендаля), написал в стиле европейского психологического романа произведение под названием «Идеалист», в котором намеревался создать образ романтического героя из разряда «лишних людей» среди светской черни. Он принес свой роман профессору и цензору И. Снегиреву; тот 26 января 1834 года записал в своем дневнике:

«Вечером был у меня А. Закревский, прочел со мною свой роман *Идеалист*, в коем много есть хорошего в неровных позывах духа, видны ум тонкий и проникательность, сила души и глубокая чувствительность сердца, прикрытая в нем юмором. Он обещает в себе автора оригинального, если не будет раболепствовать иностранным писателям и если станет работать над собою и заниматься изучением ума и сердца в книгах, в себе и в других. Его слог есть живое выражение его духа, тяготимого плотью и рассеиваемого светом. Надобно собираться с собою...» До нас дошло «Рассуждение студента Андрея Закревского, поданное 29 апреля 1832 г.». Небольшое сочинение на тему «Показание главных обстоятельств, побудивших римлян к восстановлению монархического правления» обнаруживает знакомство студента с сочинениями античных историков в оригинале, с современной европейской литературой и сквозь официальный тон дает возможность уловить сочув-

¹ См. университетские воспоминания Гончарова: «Некто студент З. написал... брошюру о царе Горохе: я ее читал... Брошюра действительно произвела эффект и смех. Она ходила по рукам. Профессоры вознегодовали» и т. д. Полное собрание сочинений, П., 1899. т. XII, стр. 86.

ствие автора римской вольности, негодование по адресу извращенных Сарданапалов — похитителей престолов, военного деспотизма, тяготение к прочным «законам», регулирующим государственную жизнь, и к смягчению ужасающих противоречий богатства аристократии и нищеты низшего класса». Бросается в глаза попытка понять исторические явления в свете общих философских законов: студент тридцатых годов с кафедры и в книгах, европейских и русских, постоянно слышал о различных теориях всемирно исторического процесса, смене народов-гегемонов в истории культуры человечества и т. п. Мы видели, как идеи Гердера, Шеллинга, Гизо горячо обсуждались студенческой молодежью¹.

Свои общественные идеалы А. Д. Закревский раскрыл в статье, напечатанной в «Телескопе» (1834, № 20) под названием «Взгляд на русскую историю». Автор, склонный к философской постановке исторических проблем, энергично защищал идею национальной самобытности России и горячо верил в ее великое предназначение. Ему присущ культ Петра — «гения-преобразователя».

Молодой публицист был противником подражательного периода русской литературы. По его убеждению, «1812 год — эпоха столкновения Запада и Востока — родил сознание народа Русского. 1812 год есть начало самобытной, национальной жизни России. В самом деле, какой великий переворот произвел в умах этот год наводнения галлов и двадесяти языков! Какой переворот произошел в полете русского гения, когда на полях отчизны он встретил чужеземца с оружием, готового похитить святое достояние! Дотоле подражатель, русский спознал себя: ибо воля претыкается о чужую волю, ибо человек, ибо народ только между другими народами делается отдельною нацией! Это проникновение есть начало народного сознания, начало самобытной жизни... Полнота жизни проявилась не в скудном и неблагоприятном подражании, не в безусловной переимчивости и приноровке, но в собственном полете гения Жуковского и хотя слабых, но отечественных звуках Батюшкова. От времен романтизма Северной Семирамиды до нашего времени продолжался период преобразования: сознание развилось, личное значение прояснилось...»

¹ Выдающийся интерес представляла собой книга К. Н. Лебедева «История, 1 ч. введения — идея, содержание и форма истории». М., 1834 г. К. Лебедев был близким товарищем А. Д. Закревского.

В заключении статьи, посвященной спору с профессором Погодиным и профессором Дерптского университета Блужским во вопросам древнерусской истории, автор говорил о славном будущем, ожидающем его родину:

«Мы вступили Петром, мы вступили 1812 годом. Как же должно быть дальнейшее шествие, если так славно, так громко было начало!»

В рассуждениях А. Закревского заслуживает внимания его взгляд на значение Отечественной войны. Студенты тридцатых годов вырастали под обаянием рассказов о героической эпопее 1812—1814 годов, о «гордой славе», которой покрыли себя русский народ, русская армия в тяжелой борьбе с наполеоновскими полчищами. Романы (например, «Рославлев» Загоскина, 1831 г.), лирические отклики Пушкина, Дениса Давыдова, мемуары, журнальные статьи поддерживали патриотическое одушевление, которым были проникнуты рассказы о 1812 году. Москва должна была питать особые чувства у студента Московского университета при воспоминании о недавнем прошлом... А. Д. Закревский повторил в своей статье мнение популярного среди студенчества журнала «Телескоп», где в 1831 году студенты читали следующие патетические строки о 1812 году и о значении московского пожара: «1812 год составляет важнейшую и блистательнейшую эру в общей биографии человеческого рода... Великое зрелище представлял народ русский тогда, когда, с беспримерным самоотвержением, принес сердце свое — Москву, во всеожжение и дымящимися ее развалинами подавил врагов своего величия»¹.

Закревский, благодаря родственным связям и умению быстро сходиться с людьми, располагал обширными знакомствами: он знал известного любителя истории и археологии А. Ф. Малиновского и одного из оригинальнейших представителей тогдашнего дворянского общества Ю. П. Бартенева². Этот директор костромской гимназии завязал связи с самыми разнообразными литераторами и учеными: Пушкин и В. Ф. Одоевский, Полевой и Погодин,

¹ «Телескоп», 1831, № 14, стр. 221.

² П. А. Вяземский писал Бартеневу из Петербурга в Кострому 23 февраля 1833 г.: «Почтеннейший Квакер-Бевеерлей, мистик, философ, классик, романтик, хиромантик, естествоиспытатель, первый чудодей по Костромской губернии и едва ли не третий или много что четвертый по всей империи и разве десятый по целому божьему миру...» — «Русский архив», 1897, X, стр. 285.

Загоскин, Лажечников, А. Зиновьев и многие другие были с ним знакомы. В одном московском салоне в начале тридцатых годов он, сильно окая, нападал на Чаадаева, называя его «Дон-Кишотом», «лысым доктринером»... Получив от приятеля тетрадки Кузена, читатель немецких философов и отцов церкви посылал их профессору духовной академии Голубинскому, о котором Шеллинг всегда расспрашивал приезжавших к нему русских. В альбом этого Ю. П. Бартенева¹ Пушкин вписал в Москве 30 августа 1830 года свой «Сонет» («Мадонна») «в память любезному Юрию Петровичу Бартеневу». А. Д. Закревский 15 августа 1831 года, будучи в Костроме, вписал начало поэмы Лермонтова «Демон», «Азраил» и стихотворение «1831 г., января...», видимо, особенно понравившееся ему философской насыщенностью:

Редеют бледные туманы
Над бездной смерти роковой,
И вновь стоят передо мной
Веков протекших великаны;
Они зовут, они манят,
Поют, и я пою за ними,
И полный чувствами живыми
Страшуся поглядеть назад,
Чтоб бытия земного звуки
Не замешались в песнь мою,
Чтоб лучшей жизни на краю
Не вспомнил я людей и муки;
Чтоб я не вспомнил этот свет,
Где носит все печать проклятья,
Где полны ядом все объятья,
Где счастья без обмана нет.

Вместе с Лермонтовым посещал лекции профессоров Терновского и С. А. Смирнова Н. С. Шеншин². Ему поэт посвятил романтическую повесть о новгородском республиканце Вадиме «Последний сын вольности». Во второй строфе посвящения Лермонтов вскрывает лирическую настроенность своего друга и особенную задушевность их отношений:

И я один, один был брошен в свет,
Искал друзей — и не нашел людей,
Но ты явился: нежный твой привет
Завязку снял с обманутой очей, —

¹ Альбом был описан Б. Л. Модзалевским в «Известиях 2-го отделения русского языка и словесности», 1910, т. XV, кн. 4; хранится в Пушкинском доме.

² Родился 3 октября 1813 г., сын мценского помещика, гвардии поручика.

Прими же песню родины моей,
Прими ж, товарищ, дружеский обет,
Хоть эта песнь, быть может, милый друг, —
Оборванной струны последний звук!..

Тон этого посвящения напоминает послание Лермонтова к лучшему его другу, Дурнову, и может служить подтверждением душевной близости между двумя студентами. Политический характер темы о Вадиме, продолжавшей гражданскую традицию Пушкина и декабристов, указывал на сочувствие Н. С. Шеншина к историческим экскурсам и политическому вольнолюбию поэта.

В. А. Шеншин¹ был почитателем Байрона.

Выбором для перевода главы «Байрон в Греции» он показал свое сочувствие английскому писателю как политическому борцу. Этот перевод из книги «*Histoire moderne de la Grèce.. par Jacovaky Rizo Neroulous*», Genève, 1828), был напечатан в «Галатее» (1830, ч. II, апрель). Я приведу из него небольшой отрывок, показательный для отношения переводчика к поэту Англии: «Уже несколько лет человек, рожденный быть поэтом, восхищал образованные народы. Превосходный гений его парил выше обыкновенной сферы и проникал испытательным взором своим в сокровеннейшие глубины сердца человеческого. Зависть, не могли вредить поэту, устремилась на человека и жестоко уязвила его. Но он не стал защищаться, будучи могущественен; не хотел мстить врагам, ибо был великодушен; он искал одних сильных впечатлений и жил высокими чувствованиями. Способный к благороднейшим жертвованиям и уверенный, что прекрасное можно найти только в справедливом, он посвятил себя делу Греции... Он пожелал биться за свободу Эллады...» (стр. 93—95).

О том, как тепло относился Лермонтов к В. Шеншину и как последний дорожил расположением поэта, свидетельствует письмо В. А. Шеншина к Н. И. Поливанову от 7 июня 1831 года: «мне здесь очень душно, и только один Лермонтов, с которым я уже пять дней не видался... меня утешает своею беседою». В 1831 году Лермонтов посвятил ему стихотворение «К другу В. Ш.»:

До лучших дней! перед прощаньем,
Пожав мне руку, ты сказал;
И долго эти дни я ждал,
Но был обманут ожиданьем...

¹ Родился в 1814 г.

Н. И. Поливанов¹, будущий Лафà (герой «Гошпиталя», «Уланши»), в начале тридцатых годов, по словам В. Шеншина, «силился принять меланхолический оборот своему характеру». Но в его настроениях было, видимо, что-то более органичное, чем только поза; по крайней мере Лермонтов находил его переживания родственными своим и, делясь с «любезным другом» интимными тревогами, писал ему: «нет, друг мой! мы с тобой не для света созданы...» Поливанов пытался писать, причем поэтическим наставником он признавал своего друга; по словам В. Шеншина, Поливанов «следовал Лермонтову, которого [он] безжалостно изувечил, подражая ему на французском языке».

А. А. Лопухин был любим поэтом и называл его своим «милым другом». С ним Лермонтов делился мечтами о своей будущей литературной деятельности и встречал поддержку в его уверенности, что поэт при всякой жизненной обстановке найдет время для творческой работы; в его квартире на стене Лермонтов нарисовал сходный с собою портрет, памятный Лопухину по многим дружеским беседам со своим другом². Живой характер поэта и его склонность к печальным раздумьям были близки А. А. Лопухину, жизнерадостное самочувствие которого сменялось иногда ипохондрией.

Эту группу молодежи во главе с Лермонтовым прозвали в Москве «la bande joyeuse»; «отцы» ворчали, слыша о шалостях молодых людей на гуляньях в Петровском, Сокольниках и Марьиной роще, называли их «пострелами», «негодяями», с чем «дети» не были согласны...

В этом кружке Лермонтов искал и находил удовлетворение своей жажды дружбы, товарищества, спасался от тоскливого чувства одиночества, находил радостные минуты общения со своими сверстниками, к которым обращался с веселой песнью:

Ликуйте, друзья, ставьте чаши вверх дном,

Пейте!

На пиру этой жизни, как здесь на моем,

Не робейте...

Члены кружка считали поэта «славным товарищем»: «Ты любим молодежью», — говорит один из персонажей

¹ Родился в 1814 г., сын тайного советника, одного из московских тузов, о балах которого печатались статьи в московских журналах; его младшие братья учились в Университетском пансионе.

² См. ниже.

«Странного человека» (1831) Арбенину, автобиографичность которого не подлежит сомнению, — «и хотя иногда слишком резкие истины говоришь в глаза, тебе все-таки прощают, потому что ты их умно говоришь, и это как-то к тебе идет...»

В кружке Лермонтов читал свои произведения, слышал восторженные оценки, находил признание своему необыкновенному дарованию. Драма Лермонтова «Станный человек» включает в себе интереснейший материал для характеристики отношения этого студенческого кружка к поэту: студенты в «Странном человеке»¹ обсуждают поэтические произведения своего товарища Арбенина.

Студент Заруцкий (не Закревский ли?) читает Снегину одно из самых примечательных стихотворений Лермонтова (Арбенина):

Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала...

Снегин, прослушав, говорит полный восторга: «он это писал в гениальную минуту...»² По поводу другого стихотворения Арбенина Заруцкий отзывается: «он чувствовал все, что здесь сказано. Я его люблю за это». В прочитанном товарищами Арбенина стихотворении находились типичные лермонтовские настроения: поэт — «на свете всем чужой», он не знал счастья, ему назначен «одиноким путь», «он проклят строгою судьбой»... Оценка Заруцкого вскрывает, как товарищи Лермонтова принимали к сердцу его муки, его скорбные чувства, как верили они в подлинность, искренность мрачных мелодий его лирических созданий.

Младшие современники Пушкина, студенты, товарищи Арбенина, ценят в поэзии реалистическую правду, просто, одновременно преклоняясь пред гением Байрона, ценят психологические нюансы, чутки к тонкому анализу душевных эмоций. По поводу стихотворения Арбенина («Я видел юношу») Заруцкий говорит: «вот этот отрывок тем только замечателен, что он — картина с природы.

¹ Их пять человек.

² Лермонтов, без сомнения, слышал подобные признания среди своих слушателей или читателей в том обществе, где вращался. Один из гостей у Загорских говорит о сочинениях Арбенина: «У него нашли множество тетрадей, где отпечаталось все его сердце; там стихи и проза, есть глубокие мысли и огненные чувства. Я уверю... он мог бы сделаться одним из лучших наших писателей: в его опытах виден гений».

Арбенин описывает то, что с ним было, просто; но есть что-то особенное в духе этой пьесы. — Она в некотором смысле подражание «The Dream» Байронову. Все это мне сказал сам Арбенин... Все, что тут описано, было с Арбениным; для другого эти приключения ничего бы не значили, но вещи делают впечатление на сердце, смотря по расположению сердца!»

В словах Заруцкого отголоски тогдашних теоретических споров о назначении нового искусства, о поэзии как своеобразном отражении природы, действительности, о психологизме как главенствующей особенности новоевропейской романтической литературы. Достаточно припомнить, что Надеждин, путаясь и противореча сам себе в оценках современных ему литературных явлений, начинал прокладывать пути для реалистической эстетики, которую утвердит в дальнейшем сотрудник «Телескопа» критик Белинский, преодолев ограниченность эстетических суждений редактора этого журнала. Надеждин в «Телескопе» стал положительно относиться к Пушкину и к его трагедии «Борис Годунов», выдвинул чисто пушкинский принцип «поэзии жизни», «соединение жизни с поэзией»¹, в «миниатюрной живописи действительности» видел «господствующую потребность гения»². «Телескоп» часто печатал Бальзака; дал место переводной статье «Современный дух анализа и критики», в которой так расценивалось содержание новой литературы: «Наш век — век критики и анализа. До излишества простирает он разыскание своих достоинств и недостатков и любопытное внимание к самому себе...»³ Сотрудник «Атеней» И. Средний-Камашев видел значение новой поэзии прежде всего в психологизации индивидуального мира. «Человек в нашем новом литературном мире живет в частностях, в особенностях, в характеристике предмета... у нас изящество предмета должно заключаться в выражении его духовности, внутреннего бытия... Человек есть та характеристика, которая должна отличать изящное новейшее от изящного древних», — писал молодой критик, защищая центральный принцип нового искусства как «выражение самого развития, самой изменчивости духа»⁴.

¹ «Телескоп», 1831, ч. I, стр. 38, 39.

² Из речи в университете 6 июня 1833 г. — М., 1833, стр. 54.

³ «Телескоп», 1832, ч. XI, стр. 290.

⁴ «Атеней», 1830, январь, № 2, стр. 191, 192, 193.

Стихотворения Лермонтова полностью отвечали этому принципу. Глубочайший самоанализ Лермонтова, поэтический рисунок психологических состояний в их «изменчивости и развитии» были признаны его молодой аудиторией как исповедь души гениального поэта.

Из европейских писателей, особенно вдохновлявших членов кружка, можно указать лишь немногих; их оценка дошла до нас в свидетельствах Лермонтова и его друзей. Это те литературные гиганты, пред которыми благоговели современники поэта — Герцен, Белинский и другие. Белинский-студент «читал Шиллера, Байрона, бредил романтизмом»¹; в первой своей критической статье восторженно восклицал: «Шекспир божественный, великий, недостижимый Шекспир постиг и ад, и землю, и небо. Царь природы, он взял равную дань и с добра и зла; и подсмотрел в своем вдохновенном ясновидении биение пульса вселенной!» В. Шеншин переводил из книги о Байроне, английский поэт указан в беседе студентов в драме «Станный человек»; о Шиллере с энтузиазмом говорили после театра; Шекспиру Лермонтов посвятил целое рассуждение в письме 1831 года к М. А. Шан-Гирей: «*Ma chère tante*. Вступаюсь за честь Шекспира. Если он велик, то это в Гамлете; если он истинно Шекспир, этот гений необъемлемый, проникающий в сердце человека, в законы судьбы, оригинальный, то есть неподражаемый Шекспир — то это в Гамлете...»

Взгляд Лермонтова на Гамлета как на «существо, одаренное сильною волей», был исключением в то время: Гете в своем «Вильгельме Мейстере», отрывок из которого был напечатан в «Московском вестнике» 1827 года утвердил то представление о принце датском, которое разделял и Белинский в «Литературных мечтаниях», когда писал о «бедном Гамлете с замыслом гиганта и волею ребенка», падающем на каждом шагу «под тяжестью подвига предпринятого не по силам»³.

Для оценки литературных воззрений Лермонтова имеет большое значение его запись 1831 года (летом в Среднем) о Гете и Руссо: «Я читаю «Новую Элоизу». При-

¹ Белинский. «Письма», т. I, стр. 165 (цитата приведена мной по экземпляру без купюр; она отсутствует в обычном издании «Письм» Белинского).

² «Характер Гамлета («Из Гетева романа «Вильгельм Мейстер»», т. I.

³ Мнение Лермонтова о «волевом» Гамлете совпадало с истолкованием шекспировского образа в игре Мочалова.

яюсь, я ожидал больше гения, больше познания природы и истины. Ума слишком много, идеалы... что в них? Они прекрасны, чудесны; но несчастные софизмы, одетые блестящими (красноречивыми) выражениями, не мешают видеть, что они все идеалы. Вертер лучше. Там человек — более человек. У Жан-Жака даже пороки не таковы, какие они есть. У него герои насильно хотят уверить читателя в своей великодушности... Но красноречие удивительное. И после всего, я скажу, что хорошо, что у Руссо, а не у другого родилась мысль написать «Новую Элоизу». Лермонтов по-пушкински дорожит в искусстве «познанием природы и истины». Гамлет близок ему как психологический портрет большой человеческой правды, истинно человеческого.

В кружке Лермонтова велись разговоры о современных театральные постановках. Нет указаний на то, как Лермонтов отнесся к постановке «Горе от ума» (впервые в изуродованном виде комедия Грибоедова шла в Большом театре 27 ноября 1831 г.) с неудачной игрой Щепкина — Фамусова и Мочалова — Чацкого, которого рецензент «Телескопа» называл «трезвым Репетиловым», хотя находил, что Мочалов был «местами очень хорош, прекрасен»¹. Отзвук «Горя от ума» слышится в реплике Арбенина: «со мной случится скоро горе, но не от ума, но от глупости».

Студенты в «Странной истории» говорят об «общипанных «Разбойниках» Шиллера». «Мочалов ленился ужасно, жаль, что этот прекрасный актер не всегда в духе; случиться могло бы (говорит Челяев), что я бы его видел вчера в первый и последний раз; таким образом он теряет репутацию»².

Лермонтов, который еще в пансионе преклонялся перед Мочаловым, разделял свои восторги перед великим трагиком со студентами Московского университета, отмечая неровности его игры. Из всех московских артистов только Мочалова Лермонтов включил в «студенческую сцену» своей пьесы: Мочалов был созвучен героическому романтизму юноши, его ощущению трагичности жизни. Хорошо определил роль Мочалова, «великого трагика», один из современников Лермонтова: «Мочалов была целая эпоха... Он на все налагал свою печать, печать внутреннего ду-

¹ «Телескоп», 1831, ч. V. стр. 592, 593, 594.

² Владимир Арбенин видел Наташу Загорскину в театре: «слезы блистали на глазах ее, когда играли «Коварство и любовь» Шиллера...»

шевного трагизма, печать романтического, обаятельного и всегда зловещего. Он не умел играть рыцарей доброты и великодушия... Пошлый Мейнау Коцебу вырастал у него в лицо, полное почти Байроновской меланхолии...»¹

В кружке Лермонтова были студенты, подобные Закревскому, которых интересовали философские проблемы «о боге, о вселенной», вопросы морали, взаимоотношения личности и общества и пр.

Тема «бездны смерти роковой», противоречий «бытия земного»² и многое другое, о чем трактовалось в современных философских трудах, журнальных статьях, служило предметом размышлений, оживленного обсуждения. Студенты обсуждали философско-исторические темы, как и все их выдающиеся современники от Пушкина с Чаадаевым до И. В. Киреевского с Надеждиным.

Вопросы о путях развития России, об ее прошлом и будущем, об ее национальной самобытности, о величайших моментах в ее народной жизни ставились в кружке молодежи. Приведем конец IV сцены:

«— *Вышневецкий*: Господа, когда-то русские будут русскими?

— *Челяев*: Когда они на сто лет подвинутся назад и будут просвещаться и образовываться снова здорово.

— *Вышневецкий*: Прекрасное средство! Если б тебе твой доктор только такие рецепты предписывал, то быюсь об заклад, что ты теперь не сидел бы за столом, а лежал бы на столе.

— *Заруцкий*: А разве мы не доказали в 12-м году, что мы русские? Такого примера не было от начала мира... Мы — современники и вполне не понимаем великого пожара Москвы; мы не можем удивляться этому поступку; эта мысль, это чувство родилось вместе с русскими. Мы должны гордиться, а оставить удивление потомкам и чужестранцам. Ура! господа! Здоровье пожара московского!..»

Реплика Заруцкого перекликалась со статьей Надеждина («Современное направление просвещения») в «Телескопе» (1831, № 1), с мнением А. Д. Закревского об Отечественной войне и московском пожаре, всецело разделялась Лермонтовым, автором стихотворения «Поле Бородина» (1831). Как ни был несовершенен этот юношеский

¹ «Русское слово», 1859, январь. Смесь, стр. 19.

² См. еще стихотворение «Чаша жизни» (1831).

збросок в зарисовке Бородинского боя и его участника, — ему не хватало бытовой типичности, чтоб стать полноценным выразителем народной психологии и героики реальных деятелей знаменитого сражения, решившего 26 августа 1812 года судьбу России как независимого государства, — но поэт исторически правдиво понимал исключительное значение в жизни его родины Бородинской битвы, что и выразил следующей пафосной концовкой:

...в преданьях славы
Все громче Римника, Полтавы
Гремит *Бородино*.
Скорей обманет глас пророчий,
Скорей небес потаснут очи,
Чем в памяти сынов полночи
Изгладится оно¹.

Подобное признание за Бородинской битвой важнейшего, послепетровской России исторического события разделялось таким современником поэта, как Белинский, который спустя несколько лет после Лермонтова писал: «Много славных и блестящих мгновений пережила молодая Россия — молодая и юная, несмотря на свою девятивековую жизнь; много перетерплено было ею славных бед, много перепраздновано славных торжеств; но все они помрачаются 1812 годом... уже не раз опытом блестящих побед и славных торжеств сознавала [Россия] свои испоконные силы: но что все эти опыты перед эпохой XII и XIV годов?..»

В своем стихотворении Лермонтов нашел превосходную формулу для определения патриотического одушевления вооруженного народа, готового на жертвенный подвиг во имя родины:

И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Поэт-патриот выразил в своем стихотворении убеждение, что под Бородиным победа осталась за русской армией:

Противник отступил...

Лермонтов включил в свое стихотворение немало точных деталей в описании Бородинского боя, например, многократность неприятельских атак на Семеновские флеши:

¹ Ср. еще:

Что Чесма, Римник и Полтава?

Шесть раз мы уступали поле
Врагу и брали у него¹.

Бородинское сражение и московский пожар рассматривались поэтом как героические страницы в жизни русского народа, как величайшее напряжение народной воли к победе над чужеземным врагом, как выражение патристической любви народа к своей отчизне, ее свободе.

Польское восстание, война России с Польшей, аресты студентов-поляков и, конечно, известного студентам заведующего университетской библиотекой также обсуждались в кружке Лермонтова; по крайней мере о войне с Польшей шла речь, что явствует из зачеркнутой Лермонтовым реплики одного из студентов в IV сцене «Странного человека».

Указание Лермонтова: «почти все действующие лица писаны мною с природы» позволяет рассматривать «студенческую сцену» этой пьесы, как художественную зарисовку встреч, разговоров, споров студенческого кружка Лермонтова. Если данное предположение является только правдоподобным, то совершенно точно устанавливается факт участия Лермонтова в маловской истории с близкими и знакомыми ему товарищами-студентами. Я. И. Костенецкий помнил, что на его призыв устроить демонстрацию нелюбимому профессору в назначенный день явились студенты словесного отделения Закревский и князь Гагарин. Костенецкий, который, по его словам, был мало знаком с Лермонтовым, не упомянул в числе демонстрантов поэта, но участие в демонстрации Лермонтова, Закревского и Гагарина приобретает значение сговора, предварительного обсуждения в товарищеском кружке формы протеста против казарменного режима в университете.

Лермонтов иронически отнесся к Валерьяну Гагарину в своем послании «А. Д. З.» Но этот юноша был хорошим товарищем и, несмотря на принадлежность его отца и родни к титулованной знати, принял участие в маловской истории; выказал сочувствие Я. Костенецкому, когда тот был арестован, и все сделал, чтобы настроить своего отца, — члена следственной комиссии по сунгуровскому процессу, — в пользу пострадавшего товарища. Костенецкий рассказывает, что, когда он в доме генерал-губернатора был введен в зал, где заседала комиссия, там нахо-

¹ Подробный анализ «Поля Бородина» в связи со стихотворением «Бородино» дан во втором томе биографии Лермонтова.

ились только князь П. П. Гагарин и флигель-адъютант граф Строганов... «Князь Гагарин сказал графу мою фамилию и начал ему по-французски очень хвалить меня, называл благороднейшим и даровитым молодым человеком, завлеченным злонамеренными людьми»¹.

Ясно, что П. П. Гагарин благожелательно аттестовал подсудимого со слов своего сына. Студент Гагарин мог узнать от отца и сообщить Лермонтову подробности дознания и показаний арестованных студентов-разночинцев, которые резко критиковали политический режим. Автор «Монолог» понимал настроения арестованной молодежи, пытался найти выход из тупика, в котором бились его мысли о борьбе с политической системой. Жертвы гнета власти роковой все более усиливался. Поэт, чувствуя ответственность за «кровь братьев, кровь стариков, растоптанных детей», лелеял мысль о мщении, но замысел борьбы за вольность народа не мог в то время перейти у него за черту борьбы одинокого героя:

Но, потеряв отчизну и свободу,
Я вдруг нашел себя, в себе одном
Нашел спасенье целому народу...

Это индивидуалистическое решение социальной проблемы было окрашено у поэта героической патетикой, но в то же время усиливало чувство бессилия, ложилось дополнительным гнетом на юношу, когда он задумывался над политическими вопросами, которые действительность ставила перед ним, вырывая жертву за жертвой даже из близких ему студенческих рядов.

Никакой кружок в тридцатых годах не мог дать Лермонтову ясного ответа на вопрос, что делать, чтоб засияла над рабской страной «вольность, сильная и святая»². Оставалось мечтать о будущем, которое рисовалось в очень неопределенных очертаниях:

Наш прах лишь землю умягчит
Другим, чистейшим существам.
Не будут проклинять они;
Меж них ни злата, ни честей
Не будет. — Станут течь их дни,
Невинные, как дни детей;
Меж них ни дружбу, ни любовь
Приличья цепи не сожмут,

¹ «Русский архив», 1887, кн. II, стр. 226 (глава VII).

² «Отрывок» (1831).

И братьев праведную кровь
Они со смехом не прольют!..
К ним станут (как всегда могли)
Слетаться ангелы. — А мы
Увидим этот рай земли
Окованы над бездной тьмы...

В каких отношениях находился кружок Лермонтова с другими студенческими кружками?

В воспоминаниях Я. И. Костенецкого есть любопытное место, до сих пор не привлекавшее внимания ни одного из исследователей Лермонтова, а между тем бросающее неожиданный свет на студенческую жизнь поэта.

Костенецкий, писавший свои мемуары в 1872 году, вспоминал, что «*Николай Огарев, Герцен и Закревский* составляли какой-то триумвират, и хотя они были и разных факультетов, но они всегда ходили вместе и неразлучно»¹. Таким образом, Закревский, товарищ Герцена и Огарева, служил нитью, связывавшей Лермонтова-студента с двумя замечательными представителями молодой радикальной интеллигенции тридцатых годов. В беседах с Закревским до Лермонтова доходили идейные токи, воспламенявшие будущего Искандера и его друга.

Станкевич, слышавший от профессора Павлова о поэтическом таланте Лермонтова, был заинтересован им. Лермонтов знал, что Станкевич печатал своих стихи и, вероятно, читал их; одно стихотворение Станкевича появилось в том альманахе, где были напечатаны такие произведения Пушкина, мимо которых не мог пройти поэт: «Анчар», «Моцарт и Сальери», «Эхо», «Бесы», «Делибаш»². Другое стихотворение Станкевича («Ночные души»), напечатанное в «Телескопе» 1831 года, должно было обратить на себя внимание Лермонтова сходством с его собственными раздумьями о гибели вселенной.

И, однако, хотя А. Д. Закревский, пропагандировавший стихи Лермонтова в Костроме, наверное, говорил Герцену и Огареву о поэте Лермонтове, хотя Станкевич и Красов были заинтересованы им, — точных данных о знакомстве Лермонтова с главами двух замечательных студенческих кружков до нас не дошло. Но некоторые особенности в построении литературной характеристики Лермонтова в статье Герцена «О развитии революционных

¹ «Русский архив», 1887, кн. 1, № 1, стр. 111.

² «Северные цветы» на 1832 г.

идей в России»¹ (1851) таковы, что возникает предположение, не состоялось ли их знакомство, хотя и кратковременное: Герцен не только сообщал подробности биографии поэта, — о которых он, конечно, мог узнать от близких к Лермонтову лиц или услышать в обществе, — но в его очерке есть такие детали, как будто Герцен вспоминал внешний облик поэта, памятный ему по личным встречам, и знал о внутренней, сложной жизни поэта; Лермонтов, по словам Герцена, «влачил тяжесть скептицизма во всех своих фантазиях и наслаждениях. Мужественная, грустная мысль никогда не покидала его чела... О Лермонтове говорили как об избалованном аристократическом ребенке, как о каком-нибудь бездельнике, погибающем от скуки и пресыщения. Никто не хотел видеть, сколько боролся этот человек, сколько он выстрадал, прежде чем решился высказать свои мысли».

Лермонтов вышел из университета в то время, когда Герцен с товарищами развешивал там политическую пропаганду. Сатин и Сазонов рассказывали Герцену, как Лермонтов уже в пансионе писал стихи, идейно близкие их кружку. Случайные обстоятельства помешали произойти сближению поэта в его студенческие годы с Герценом и Огаревым. Но в кружке Лермонтова обсуждались те же темы, что и на собраниях у Вадима Пассека или Огарева, в квартире Станкевича, в камерах казеннокоштных студентов: политика и история, философия и эстетика, поэзия и театр притягивали оживленное внимание молодых людей на Никитской и на Молчановке.

Лермонтов-студент жил одними думами с Герценом, Станкевичем, Белинским, Огаревым. Слова Герцена: «[Лермонтов] всецело принадлежит к нашему поколению», — историческое свидетельство, до сих пор еще не раскрытое в полной мере. Лермонтов, будучи студентом, стал подлинным поэтом этого поколения, иногда опережая в понимании злободневных вопросов русской социальной жизни наиболее политически развитых представителей своего поколения. Его идейный путь не знал тех зигзагов, которые выпали на долю Герцена, пережившего в ссылке волну мистицизма. Лермонтов оставался реалистом в моменты наивысшего подъема романтических настроений, своеобразно сочетал философскую рефлекссию с полити-

¹ А. И. Герцен. Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 374. В статье «Еще раз Базаров» Герцен писал: «Лермонтов был вместе с нами в университете» (т. XXI, стр. 235).

ческой гражданственностью, интимный психологизм с критикой быта, мечту о будущем с чувством земного. То, что поражало Белинского в зрелом поэте, уже лежало в основе юношеских произведений Лермонтова: «глубокость и разнообразие идей, необъятность содержания, — везде вопросы, которые мрачат душу, леденят сердце».

Вопрос о *правах и судьбе человеческой личности* был движущим принципом мировоззрения Лермонтова и того поколения, к которому принадлежали Герцен и Белинский, Станкевич и Грановский. Этот принцип нес с собой разложение «старого порядка», феодально-крепостнического строя и потому в то время был революционным: борьба за *человека*, за его свободу, за его право на радости жизни; борьба за утверждение *личности*, независимо от звания и состояния, взрывала консервативный быт, выбрасывала из сознания, как ветошь, иерархические различия, ветхозаветные верования, сословные предрассудки. Связь *человека с общечеловеческим* в постановке проблем философских, эстетических, социальных, в поисках целостного мировоззрения обеспечивала выход из эгоцентризма человеческой особи в общественный мир, — хотя бы на первое время без понимания сущности классового антагонизма.

Идея *отрицания* тогдашнего строя, с его привычными нормами эгоистического поведения, косного мышления, рабских навыков в быту, — определяла идеологическое содержание «молодой России». Отрицание исходило из предпосылок об идеальной жизни, из поисков *совершенной личности и совершенного общества*.

6

Единство тем, вопросов, идейных исканий у Лермонтова и его современников проявлялось постоянно¹.

Постановка проблемы демонизма у подростка Лермонтова² была типологичной для того времени. Мировая поэ-

¹ См. мою статью «Поэтическая исповедь русского интеллигента 30—40-х годов» в сборнике «Венок Лермонтову» (М., 1914).

² Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ. — Меж иных видений
Как царь, немой и гордый, он сиял
Такою волшебной-сладкой красотой,
Что было страшно... и душа тоскою
Сжималася — и этот дикий бред
Преследовал мой разум много лет... («Сказка для детей»)

ния (Сатана Мильтона, Мефистофель Гете, Люцифер Байрона) только усиливала умственное брожение среди молодежи, видевшей в демоне выстраданное ею начало критицизма. Пушкинский «дух отрицанья; дух сомненья» впервые оформил в русской поэзии и общественном сознании эту подкопную работу разума против традиционализма. По словам Белинского, демон «служит и людям и человечеству, как вечно движущая сила духа человеческого и исторического. То страшный и мрачный, то веселый и злой, он, как Протей, неистощим в формах своего проявления, как Антей, неистощим в своих средствах...»¹ Герцен извещал своего друга 27 апреля 1836 года: «теперь меня чрезвычайно занимает религиозная мысль — падение Люцифера, как огромная аллегория, и я дошел ко весьма важных результатов»².

Друг Белинского и Герцена, В. П. Боткин, характеризуя «новую эпоху» в европейской жизни — эпоху борьбы «мысли» с догматами средневековья, — писал Белинскому: «дух анализа, сомненья и отрицания, составляющий теперь характер современного движения, есть не что иное, как тот диавол, демон — образ, в котором религиозное чувство воплотило различных врагов своей непосредственности»³.

План Лермонтова «написать длинную сатирическую поэму «Приключения Демона»⁴ имел аналогию в неосуществленном до конца произведении известного поэта кружка Станкевича, И. П. Ключникова, который в монологе Мефистофеля изображал впечатления последнего по приезде «с того света в Париж, где был в связях с гризеткой», а в *Прологе* «действие [происходило] в преддверии ада во времена терроризма»: «очерк всеобщей истории Мефистофеля — умрешь со смеху», — писал он 12 сентября 1836 года Белинскому⁵.

Философская поэма Лермонтова, которую он в 1831 году читал своим товарищам в кружке, одним из источников своей идейной направленности могла иметь ту атмосферу споров и чтений, которая характеризовала молодежь

¹ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 485—486.

² А. Н. Герцен. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 122, 325—327; т. XIII, стр. 388.

³ В. Г. Белинский. «Письма», т. II, стр. 419.

⁴ Не «Пир ли Асмодея»?

⁵ А. Корнилов. «К биографии Белинского». — «Русская мысль», 1911, кн. 6, стр. 39—40.

тридцатых годов с ее интересом к европейской философии и романтической поэзии, где в разнообразных формах трактовалась проблема зла как отражения стихийной, темной, «древней природы»; где подвергались обсуждению образ Сатаны, сущность дьявола, его безграничность и вездесущность; где демон, орудие бога, рассматривался силой, особенно привлекающей к себе духовно одаренных людей; где «демоническое» начало скептицизма признавалось «*principiū mōvenē* истории».

Лермонтовский демон вырастал в общеевропейской атмосфере философских размышлений о добре и зле, о «божественном» и «демонском». Поэма Лермонтова (в варианте 1831 г.) намечала образ демона в философском плане: когда-то демон «не был злым», отпал от бога «по несправедливому приговору», «бесконечность жилище для него была. Он равнодушно видел вечность, не зная ни добра и зла», но стал он «злым духом», «успело зло укорениться в его душе с давнишних дней, добро не ужилось бы в ней... оно в нем было бы чужое...» Слова демона о его печали, «земных мученьях» и любви пробудили любовь к нему монахини («Ты был любим»); религиозно настроенная, «вдохновенная певица», она потянулась к демону, который скептически говорил о боге («он небом занят, — не землей»). Тема о тяготении духовно одаренного человека, «исполненного какой-то думы», к силе зла, «духу гордости и отверженья», концовка поэмы о демоне, «улыбкой горькой» упрекнувшем «дитя Эдема», «мирного ангела», некогда вместе с ним взиравшего на «славу бога», тема «злого духа», который «искушать хотел»¹, — все это не может быть отнесено только к литературным источникам поэмы. «Демон» Лермонтова обвеян философскими раздумьями: ведь поэт ставил перед собой вопрос: «ангел и демон не от одного ли начала»² и погетевски размышлял о «таинственном влечении двух душ, уже знакомых прежде рождения». Последняя тема должна была заполнить сюжет «Азраила» (1831); в этой незаконченной поэме, как и в «Демоне», Лермонтов пытался обрисовать образ богоборца, существа «полужемного, полунебесного», «гонимого участью чудесной», любовь

¹ Ср. Вадим думал: «если б я был чорт, то не мучил бы людей, а презирал бы их; стоят ли они, чтобы их соблазнял изгнанник рая, соперник бога!...»

² «Что такое величайшее добро и зло? Два конца незримой цепи, которые сходятся, удаляясь друг от друга» («Вадим»).

бессмертного к смертной», к деве, которая, не зная, кто он: «ангел? демон?», говорит ему: «моя душа с твоей одно». «Ангельское» и «демонское» у Лермонтова в 1831 году облекалось в сходную поэтическую форму:

По небу полуночи ангел летел...

По голубому небу пролетал
Однажды Демон...

«Демон» и «Азраил» — богоборческие поэмы. Их тематика перекликается с рассуждениями Арбенина, полными религиозного скептицизма, неверия. Его спрашивает Белинский: «Разве ты не веришь в Провидение? Разве отвергаешь существование бога, который все знает и всем управляет? — Арбенин (смотрит на небо): Верю ли я? — верю ли я? — Белинский: Твоя голова, я вижу, набита ложными мыслями...»

Подобно Дмитрию Калинину (1830—1831), в душе которого поселилось *мрачное сомнение*, уста которого гремят хулою на бога: «А ты, существо всевышнее, скажи мне, — насытилось ли моими страданиями, наиталось ли моими муками, навеселилось ли моими воплями, упилось ли моими кровавыми слезами?.. Вот как играет беспощадная судьба с слабыми смертными! Нет, видно, милосердный бог наш отдал свою несчастную землю на откуп дьяволу, который и распоряжается ею истинно по-дьявольски», — подобно герою трагедии студента Белинского, Юрий Волин — тоже автобиографический образ в трагедии «Люди и страсти» (1830) — обнаруживал свои антирелигиозные чувства, обращаясь к «богу всемогущему» с гневным протестом: «О! во мне отныне нет к тебе ни веры, ничего нет в душе моей, но не наказывай меня за мятежное роптанье, ты... ты сам нестерпимой пыткой вымучил эти хулы... Пусть гром упадет на меня, я не думаю, чтобы последний вопль давно погибшего червя мог тебя порадовать». Далее этот герой продолжал свои сомнения в церковных верованиях: «но если [бог] точно всемогущ, зачем... не удержал удары людей от моего сердца?.. Зачем хотел он моего рожденья, зная про мою гибель? Где его воля, когда по моему хотенью я могу умереть или жить? О, человек, несчастное, брошенное создание...» Юрий Волин говорит девушке Любви: «Друг мой! нет другого света.. есть хаос, нет рая — нет ада...»

Наряду с образом демона воображение поэта увлекало образ Прометея — протестанта и гуманиста, воспетого Байроном и Шелли.

Сочинение о Прометее и Геракле было им написано еще в конце 1828 года, но тема Прометея не была забыта и в юношеской поэме 1832 года:

— Так, есть мгновенья, краткие мгновенья,
Когда, столпясь, все адские мученья
Слетаются на сердце — и грызут!
Века печали стоят тех минут. —
Лишь дунет вихрь я сломится лилея;
Таков с душой кто слабою рожден,
Не вынесет минут подобных он: —
Но мощный ум, крепясь и каменея,
Их превращает в пытку Прометея!

Идейная основа мифов о Прометее и Геракле была подчеркнута в «Атенеи»: «Что хотели выразить греки в своих произведениях драматических? В Прометее — ненависть к несправедливости и угнетению... в Неистовом Геркулесе — дружбу. В каждом их произведении ощутительна господствующая идея и всегда благородная»¹.

Образ Прометея применялся Белинским к Байрону². Критик в Москве ходил смотреть картину Доминикино «Прометей»³. Герцен по поводу «Прометея» Эсхила писал в дневнике (4 мая 1842 г.): «Что за громкий, энергический протест этот прикованный Титан, пренебрегающий Зевса, ругающийся над ним, и этот хор океанид, верный Титану даже после угроз. Сколько человеческого прекрасного в молчании Прометея, когда его приковывают, и в отказе Юпитеру объяснить пророчество о низвержении его с престола». Прометей был предметом многочисленных стихотворных произведений тридцатых — сороковых годов. В. Тепляков, находясь на кавказских минеральных водах, написал стихотворение «Кавказ», в котором, обращаясь к «пасмурному Бешту», вспоминал о гордом противнике Зевса:

Вещай, отчизна гор: которая скала
Кровь Прометееву пила?
Скажи: — как он страданий вечность,
Неволи горькой бесконечность
За дружбу к Смертному сносил?

¹ «Атенеи», 1828, № 1, стр. 23.

² Сочинения Белинского, М. 1860, ч. VII, стр. 17.

³ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений под редакцией С. А. Венгерова, т. IV, стр. 435.

И никогда душой высокой
Глухую непреклонность рока
О примиреньи не молил? ¹

Цикл стихотворений о Прометее ² в эпоху Лермонтова закончил Огарев в «Отечественных записках» 1841 года (т. XVIII).

Лермонтова манили исторические деятели с необыкновенной судьбой, с необычайными характерами. Кроме Наполеона, он заинтересован был римским императором Нероном, прославившимся кровавыми деяниями, и знаменитым римским полководцем Марием. О каждом из них он собирался написать трагедию; для трагедии «Марий» (в пяти действиях) он составил даже план. Плутарх был источником исторических сведений об этом герое, жизнь которого сопровождалась «тиранствами, убийствами и проч». «Жизнь знаменитых мужей, описанных Плутархом», была любимой книгой юношей. Герцен и Белинский заражались энтузиазмом перед героическими образами из истории античного мира ³. *Плебей Марий* вспоминался разночинцем Белинским, когда он сравнивал игру Мочалова и Каратыгина. Герцен вспоминал Мариа, когда рассуждал, что «человек, не согнувший выю свою перед обстоятельствами, выдержавший твердую борьбу с ними, может сознать свое достоинство и посмотреть на людей тем взором, которым смотрел Марий с развалин Карфагена на Рим и Наполеон из Лонгвуда ⁴ на вселенную...» ⁵

Не потому ли и Лермонтова привлек образ Мариа, человека, выдвинувшегося благодаря личным качествам, врага аристократии? Герцен называл *плебеем* также Наполеона. Марий и Наполеон в глазах молодого поколения были символами разложения старого мира, борьбы человеческого «я» с традициями, трагической гибели в поединке «гения» и «рока».

О многом глубоко и содержательно передумал Лермонтов в свои студенческие годы. Это был период его необычайного духовного роста, выработки мировоззрения, сложения типических особенностей его интеллектуального

¹ «Московский телеграф», 1829, № 1, июнь, стр. 302—303 (посвящено Г. А. Римскому-Корсакову).

² «Прометей» в сонетах И. Бутырского. — «Библиотека для чтения», 1834, т. IV; «Прометей» Менцова — в «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду», 1837, № 10.

³ А. И. Герцен. Соч. т. III, стр. 399.

⁴ Место могилы Наполеона на острове св. Елены.

⁵ Полное собрание сочинений, т. I, стр. 236.

облика. Во взглядах и настроениях его, в отдельных проявлениях было близкое другим гениальным и выдающимся людям того времени, но было и то характерное, *личное*, что выделяло его натуру из галлерей портретов его современников. Как поэт, Лермонтов уже студентом писал нередко *по-лермонтовски*, то есть с той энергией выражения, остротой анализа, с тем неповторимым своеобразием, которое выделяло его из всех поэтов, — начиная с его учителей и кончая сверстниками. Среди груды поэтического сырья, поисков, срывов — обильной дани традиционной манере — у Лермонтова уже в это время слагались призывы, по художественной зрелости равные его позднейшим шедеврам. В его творчество в эти годы врываются звуки, исполненные такой неведомой дотоле силы, диссонансов и сложности, которые не повторялись у поэта и впоследствии.

Значительную часть своих раздумий о себе, о мире Лермонтов вложил в наиболее полный отрывок из своего поэтического дневника — стихотворение «1831-го июня 11 дня», к анализу которого мы присоединяем тематически родственные другие стихотворения:

Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала...

Как часто силой мысли в краткий час
Я жил века и жизнь иную,
И о земле позабывал...

...все образы мои,
Предметы мнимой злобы иль любви,
Не походили на существ земных.
О нет! все было ад иль небо в них.

Под этим признанием мог бы подписаться любой европейский и русский романтический юноша. «Скучные песни земли» так отрывали поэта от реальной почвы, что воображение жило лишь нечеловечески грандиозным, гиперболическим в добре и зле, не похожим ни на что земное. Русский быт, «свет, в котором жил» (поэт), мир уродливых масок, самодовольных посредственностей, бесчеловечных кнутобойцев; картины Москвы, где на улицах слышался звон кандалов в медленно бредущей толпе арестантов, где на площади публично пороли крестьян — мужчин и женщин; где мчались тройки с отправляемыми в Сибирь участниками польского восстания, — все это и многое другое на время отталкивало от «земли», застав-

до отворачиваться от нее, населять творческие созда-
ния чудесными странами, «роковыми» страстями, людьми
тверженными, одинокими в мире, странниками с печатью
необычного. Лермонтовская жажда «чудесного» была
близка студенту Белинскому, который также испытывал—
реди «печали, радости, восторгов, равнодушия, волнения
гостей» — «порыв к чему-то неопределенному, тоску по
ему-то неведомому», думал «о другом таинственном
мире»¹.

Огарев и Станкевич, Красов и Бакунин переживали
тогда же и позже острые ожидания фантастического,
гранного, необыкновенного. Уход в себя, в пристальное
самонаблюдение был естественной реакцией в подобном
состоянии. Начиналось то, что на философском языке в то
ремя называлось *самопознанием*.

«... Жадно я искал самопознания», — говорил поэт, упо-
ребляя термин, который применяли Галич, Павлов, со-
рудники «Московского телеграфа», «Московского вестни-
ка», «Телескопа» и который можно встретить у Герцена²,
Бакунина³ и т. д. Владимир Арбенин признавался: «тя-
желая ноша *самопознания*... с младенчества была моим
делом...»

Это самопознание, связанное с напряженной работой
мысли, «борением *дум*», на его высшем подъеме проявля-
лось в стремлении человека к совершенствованию, к улуч-
шению своей моральной природы.

Следивший за новыми философскими течениями «Мо-
сковский телеграф» в 1826 году писал на эту тему: «Та-
кое самопознание доказывает нам, что человек и на земле
составляет высочайшую степень... что природа есть только
средство проявить дух человеческий. Дух человека, как
отблеск Бесконечного и Бессмертного, в самой конечности
преломляется бесконечно. Высшая степень самопознания
духа есть стремление совершенствоваться. Оно происхо-
дит от того, что человек, не находя себе полного удовле-
творения в видимой природе, стремясь духом к высочайшему
совершенству, которое темно представляет ему бессмерт-
ный дух его, составляет себе великий идеал сего совершен-
ства и все стремление к тому, чтобы и в здешнем мире

¹ Из предисловия к «Дмитрию Калинину».

² Сочинения под редакцией Лемке, т. I, стр. 75; т. IV, стр. 129
и др.

³ А. Корнилов. «Молодые годы Бакунина», стр. 131.

осуществить сей идеал собою, проявить его сколько возможно»¹.

Станкевич видел задачу человека в том, чтобы «беречь свое достоинство», «совершенствовать себя в нравственном отношении»; Белинский в своей юношеской трагедии побуждаем был желанием выразить идею «нравственного величия» человека и через год после «Литературных мечтаний», — где патетически обращался к читателям с призывом стремиться к «высочайшему совершенству человека», — писал: «святая вера и святое убеждение в бесконечном совершенствовании человеческого рода должны обязывать нас к нашему личному, индивидуальному совершенствованию».

Михаил Бакунин в одном из писем (7 мая 1835 г.) поучал своих сестер, что есть «три главные идеи жизни: любовь к людям, любовь к человечеству, стремление ко Всему, к совершенствованию». В полном согласии с этим стремлением, охватившим молодую интеллигенцию тридцатых годов, Лермонтов *«искал в себе и в мире совершенство»*:

Но хочет все душа моя
Во всем дойти до совершенства².

Процесс самопознания проходил через моменты самоанализа, критики традиционных понятий, сомнений во всем. *«Размышление о людях»* было лучшим разговором Юрия Волина, который «нетерпеливо старался узнавать сердце человеческое». Владимир Арбенин «привык рассматривать со всех сторон, анализировать каждую крошку горя, которую судьба [ему] посылает...» Третий литературный персонаж любил «погружаться в себя». Это состояние было типичным для поэта. «Углубление в себя» — характерный момент также в развитии Герцена³, Белинского⁴, Станкевича с его «беспокойным» сердцем, Грановского. «тревожащая мысль» которого приводила его к сходному с поэтом состоянию: «я думал, — признавался он в одном письме к В. П. Боткину, — что счастье отучит меня от глупой привычки сверлить себя (по выражению Станкевича) и подсматривать, что там внутри делается. Но я

¹ «Московский телеграф», 1826, ч. VII, стр. 239.

² «Образ совершенства» манил его «предчувствием блаженства» («Мой демон»).

³ Полное собрание сочинений, т. III, стр. 44.

⁴ Выражение «углубление в себя» находим в предисловии к «Дмитрию Калинин» (раньше, чем у Герцена).

тался верен этой привычке. Зато как я высмотрел себя! Кажется, нет ни одного закоулка в сердце моем, в котором бы я не побывал и не посмотрел, как там все обстоит...»

Углубленный самоанализ окрашивался у поэта мучительными переживаниями:

Находишь корень мук в себе самом...
Лишь в человеке встретиться могло
Священное с порочным. Все его
Мученья происходят от того.

В лирике Лермонтова есть и другие объяснения «мучений» поэта и страданий идейно близких ему людей: причины этих мук коренились в социально-политических условиях тогдашней жизни. Здесь же Лермонтов подчеркнул сознание им дуализма человеческой природы, присущее ему и его современникам в период господства философского идеализма¹. Рассуждение Лермонтова важно в том смысле, что оно сгущенно формулировало ту философскую концепцию о дуализме и полярности в природе и человеке, которая в русской поэзии нашла отражение у Тютчева, писавшего о «страшном раздвоении», и изложение которой молодой поэт мог найти в первой книжке «Атеней» (1830), в статье Н. И. Надеждина.

Мучительное сознание дуалистической основы интеллекта преодолевалось у Лермонтова убеждением, — тоже поддержанным теоретической мыслью, — что человек свободен в выборе добра и зла, что сущность жизни — в борьбе между полярными тенденциями, что человек обладает великой силой — волей, что жизнь — процесс вечного движения и становления человеческого хотения к совершенству:

...Нет звуков у людей
Довольно сильных, чтоб изобразить
Желание блаженства. Пыл страстей
Возвышенных я чувствую, но слов
Не нахожу и в этот миг готов
Пожертвовать собой, чтоб как-нибудь
Хоть тень их перелить в другую грудь...

Динамическое, волевое начало было природой Лермонтова и в то же время актом его сознания. Разрушительная сила мысли не останавливалась на скептицизме, сомнении, поток чувств не иссякал под напором рефлексии:

¹ См. в предисловии Белинского к «Дмитрию Калинин»: «размышление о человеке, о непонятной смеси доброго и злого, высокого и низкого».

Под ношей бытия не устает
И не хладеет гордая душа;
Судьба ее так скоро не убьет,
А лишь взбунтует...

Поэт говорил, что его «дух бессмертен *силой*»:

Так жизнь скучна, когда боренья нет...
Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал, как тень
Великого героя, и понять
Я не могу, что значит отдыхать.
Всегда кипит и зреет что-нибудь
В моем уме. Желанье и тоска
Тревожат беспрестанно эту грудь.
Но что ж? Мне жизнь все как-то коротка,
И все боюсь, что не успею я
Свершить чего-то! Жажда бытия
Во мне сильнее страданий роковых,
Хотя я презираю жизнь других.

Немногие из современников Лермонтова были наделены такой «жаждой бытия», действия. Только Белинский и Герцен могли бы найти в словах поэта созвучное себе. 22-я и 23-я строфы стихотворения «1831-го июня 11 дня» комментируются всего полнее только «Литературными мечтаниями» Белинского да многочисленными признаниями Герцена в его статьях, письмах, дневнике.

«Гордись, гордись, человек, своим высоким назначением, но не забывай, что божественная идея, тебя родившая, дала тебе ум и волю, которые ставят тебя выше всего творения, что она в тебе живет, а *жизнь есть действие*, а *действие есть борьба*... Вот нравственная жизнь вечной идеи. Проявление ее — борьба между добром и злом, любовью и эгоизмом... Без борьбы нет заслуги, без заслуги нет награды, а без *действия нет жизни*», — так, «волнуясь и спеша», Белинский передавал своим читателям задушевные мысли о сущности жизни, сходные с лермонтовскими.

Лейтмотив признаний Герцена — это «жажда деятельности, движения»¹, ему дорога «личность, кипящая жизнью»; по его убеждению, человеку «мало блаженства спокойного созерцания и видения, — ему хочется полноты упоения и страданий жизни, ему хочется *действия*, ибо одно действие может вполне удовлетворить человека. *Действование сама личность*»². «В разумном, нравственно-свободном и страстно-энергическом деянии человек

¹ Соч., т. III, стр. 28, 29, 65 и др.

² Там же, стр. 216.

достигает действительности своей личности и увековечивает себя в мире событий. В таком деянии человек вечен во временности, бесконечен в конечности, представитель рода самого себя, живой и сознательный орган своей эпохи»¹.

Теория дуализма преодолевалась, как известно из истории идеологического развития Белинского и Герцена, признанием ими личности в ее «деянии свободном, разумном и сознательном». Подобно тому как Белинский и Герцен в своих гимнах «действию», человеку как «существу действующему» исходили из теоретического обоснования своих личных влечений, Лермонтов, когда выдвигал действие и волю как основное в природе человека, оформлял свои размышления над проблемами этики.

Присоединим к приведенной стихотворной формуле поэта его замечательное рассуждение в юношеской повести: «Что может противустоять твердой воле человека? Воля представляет в себе всю душу: хотеть — значит ненавидеть, любить, сожалеть, радоваться, жить; одним словом, воля есть нравственная сила каждого существа, свободное стремление к созданию или разрушению чего-нибудь, отпечаток божества, творческая власть, которая из ничего создает чудеса... О, если бы волю можно было разложить на цифры и выразить в углах и градусах — как всемогущи и всезнающи были бы мы!» Философическая основа этого рассуждения невольно бросается в глаза.

Если Лермонтов ставил знак равенства между *хотеть* и *жить*, если *волю* он считал творческой первоосновой, то это не значило, что он не придавал огромного значения *разуму* и *чувству*. Поэт знал мощную силу ума, способного «потрясать цепь предубеждений», сокрушать оковы авторитарного мышления. Поэт также знал могущество чувств, страсти; из них он выделял по многоцветности переживаний чувство любви. И Станкевич выдвигал это чувство: «чтобы познать жизнь отчасти, — говорил он, — чтобы действовать по одним законам с ней, надобно любить» («Моя метафизика»), и Герцен заявлял: «мы — реалисты, нам надобно, чтобы любовь становилась действием». Лермонтов признавался:

Я не могу любовь определить,
Но это страсть сильнейшая! — любить
Необходимо мне, и я любил
Всем напряжением любви.

¹ Соч., т. III. стр. 218; ср. еще: «мысль без дел мертва, как вера» (т. VII, стр. 260).

Любовь к женщине была не только сложнейшей игрой эмоций. Выработана была целая теория романтической любви, которую нередко исповедывали и переживали с катастрофическими перипетиями знаменитые идеалисты тридцатых годов. Романы Станкевича, Белинского (в Прямухине), Герцена, Огарева, Бакунина представляют собою психологические документы, насыщенные удивительной амальгамой тончайших эмоций и рассудочности, подлинных ярких чувств и «головного» отношения к предмету любви. Женщина рассматривалась как источник силы, преобразующей мужчину, пробуждающей в нем его идеальную основу, как воплощение на земле «небесного», мечты о самом лучшем, что есть в человеке. Чтобы понять особую тональность неоднократно, даже до одного образа повторявшихся мотивов в лирике любви у Лермонтова, надо прислушаться к лирическому голосу его современников, к их фразеологии, — тогда станет понятно, почему любовная тема звучала у Лермонтова с такой силой, страстью, облечена была в такую повышенно патетическую форму. Роман Герцена и Наташи Захарьичной вспоминается прежде всего. Герцен писал ей из Вятки (5 декабря 1835 г.), как в его груди раздалось «огненное слово — любовь» и как сразу опостытели ему «поддельные страсти», весь «смрад» обыденной жизни: «опостытели мне эти объятья, которые сегодня обнимают одного, а завтра другого, гадок стал поцелуй губ, которые еще не остыли от вчерашних поцелуев. Мне понадобилась душа, а не тело.

Мысль любви высочайшая, отстраняющая все нечистое, мысль святая, любовь — это все, ибо сама идея есть любовь, самое христианство — любовь. Чувство строящее». 12 февраля Герцен признавался девушке, с которой ссылка его разлучила: «ангел мой, Наташа, я тону, тону совершенно в этом море любви; светлы, прозрачны его волны, глубоко оно и обширно. Наташа! Бог послал тебя мне, он знал, что душа моя будет страдать от людей, он знал, что обстоятельства будут терзать меня, и ему стало жаль, и он послал тебя... Теперь нравственное начало моей жизни будет любовь к тебе. Так слетала к Данту его Беатриче из рая в виде ангела, чтобы вывести его из обители скорби бесконечной туда, в обитель радости...» «Наташа! Наконец, я нашел чувство, занявшее все, не наполненное в моей душе. Наконец, всякое стремление, всякое земное чувство, всякий порыв получил значение и

ель — любовь к тебе. Вот высокая идея изящного, напол-
нившего грудь мою».

Представление юноши Лермонтова о любви, язык его
признаний так же романтичны, как чувство Герцена и
стиль его многочисленных писем к невесте:

О! когда б одно люблю
Из уст прекрасной мог подслушать я.
Тогда бы люди, даже жизнь моя
В однообразном северном краю
Все б в новый блеск оделось!
(7 августа 1831 г.)

Такова «построяющая» сила любви, по признанию поэ-
та. Он ищет в любви осуществления своей мечты о пре-
красном в мире, восполнения недостающей ему полноты
жизнеощущения:

Есть рай небесный! звезды говорят,
Но где же? Вот вопрос — и в нем то яд;
Он сделал то, что в женском сердце я
Хотел сыскать отраду бытия.
(1831)

Моя душа — твоей вечный храм;
Как божество твой образ там;
Не от небес, лишь от него
Я жду спасенья своего.
(1831)

Любовь для неба и земли святыня
И только для людей порок она!
Во всей природе дышит сладострастье;
И только люди покупают счастье!
(1832)

Ты для меня была, как счастье рая
Для демона, изгнанника небес.
(1832)

В лирике Лермонтова нередки обычные для языка любви
того времени сравнения любимой с «ангелом», «создани-
ем бога»:

Кто скажет мне, что звук ее речей
Не отголосок рая?
(1831)

В поисках идеала совершенной личности Лермонтов
находил помощь в идейных течениях своего времени.
Разрабатывая этот идеал одновременно с другими моло-
дыми современниками, поэт пропускал через «горнило

сознания»¹ встававшие перед ним вопросы о смысле жизни:

Грядущее тревожит грудь мою,
Как жизнь я кончу, где душа моя
Бродить осуждена...

Метафизические проблемы, тревожившие Белинского Станкевича, не были чужды Лермонтову. В его стихах нередки упоминания о «вечности», «бесконечности», «бессмертном», о «тайнствах гробов», о «тайнах природы

...я мыслю в тишине
Про *вечность* и любовь.
(«Вечер»)

Унылый колокола звон
В вечерний час мой слух невольно потрясает,
Обманутой душе моей напоминает
И *вечность*, и надежду он...

(1830—1831)

Смело верь тому, что *вечно*,
Безначально, бесконечно.
(1832)

Тому ль пускаться в *бесконечность*,
Кого измучил краткий путь —
Меня раздавит эта *вечность*,
И страшно мне не отдохнуть.
(1832)

Есть чувство правды в сердце человека,
Святое *вечности* зерно.
(1830—1831)

Поэт, как его литературные герои, думал о «вечности», когда созерцал природу:

И мысль о *вечности*, как великан,
Ум человека поражает вдруг,
Когда степей безбрежный океан
Синеет пред глазами; *каждый звук*
Гармонии вселенной, каждый час
Страданья или радости для нас
Становится понятен, и себе
Ответ мы можем дать в своей судьбе .

¹ Выражение Герцена (Соч., т. III, стр. 34),

² Лермонтов повторил эту тему в журнале Печорина: «душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно... она проникается своей собственной жизнью — лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие божие».

Чувство гармонии вселенной — следствие размышления, космосе — возникало в итоге философского восприятия мира. Одновременно с Лермонтовым оно было присуще таким современникам поэта, как Белинский, который в предисловии к «Дмитрию Калинин» писал, что он намеревался «выразить этот внутренний мир самого себя, этот мир собственных мыслей и чувствований, возбуждаемых в нем созерцанием чудесной, гармонической, беспредельной вселенной, в которой он обитает» (ср. тезис Белинского в «Литературных мечтаниях»: «гармония царствует в этом вечном брожении, в этой борьбе начал и веществ», тезис, источником которого для Белинского была помимо лекций и статей проф. Павлова «История философских систем» Галича (1818—1819), где среди рассуждений о «вселенной» — *всеобъемлющем живом организме, беспредельном развитии конечных явлений*» утверждалось: «Вселенная, как образ и подобие божественного, есть *единая и живая* — в самомалейшей пылинке и огромнейших массах. *Единая жизнь* должна проникать всюду, — как тело. В ней ведь связь и гармония...»). Этот строй мыслей был знаком Лермонтову еще в пансионских лекциях Павлова и Максимовича. Идейная атмосфера студенческой аудитории, студенческого кружка оформила философское представление Лермонтова о вселенной. Постигание этой «всеобщности», единства природы и человека открывало перед поэтом его внутренний мир, требовало осмысления его «судьбы», поведения, чувств, чтоб быть достойным звания *человека*. Образ гармонически развитой личности, многогранной в единстве, выступал как желанная норма. За этот идеал билась мысль передовой молодежи тридцатых годов. Белинский утверждал, что «только в гармонии ума и чувства заключается высочайшее совершенство человека», жизнь которого, — как и «вечной идеи», — в то же время «состоит в беспредельной деятельности». Герцен пламенно защищал дорогй для него принцип: «все стороны, составляющие живой дух человека, должны слиться, гармонически участвовать в его деянии, иначе выйдет односторонность»¹.

Лермонтов потратил много усилий на то, чтобы отдавать отчет себе в своих чувствах, в отношении к жизни, к людям. Как часто в своих стихах (и прозе) он говорил о

¹ А. И. Герцен. Соч., т. III, стр. 366.

добре и зле! Как часто встречаются у него термины *вы*ших объективных ценностей: *истина, правда, красота* о чем неустанно трактовал и Белинский.

Есть чувство *правды* в сердце человека...

.....

Холодный слушатель есть камень —

В простом не видя совершенства,

Он не привык *прекрасное* ценить...

.....

... пылкая мечта

Приводит в жизнь митнувшего скелет,

И в нем почти все та же *красота*,

.....

Неправдой *истину* зови,

.....

— Но верь, о верь моей любви.

У Лермонтова вообще нередки философские термины: *бытие, сущность, дух* («дух мой, жизни дух» и пр.).

Привычка к философским размышлениям, постоянное «кипение ума» «глубокими думами» проявлялись у Лермонтова в склонности к афористической манере выражать мысли по различным вопросам. Его юношеские стихи насыщены формулами: «кто близ небес, тот не сражен земным»; «кто в морях блуждал, тот не заснет в тени прибрежных скал»;

Чем реже нас балует счастье,

Тем слаще предаваться нам

Предположеньям и мечтам.

Лермонтов иногда бросал замечания, источником которых была прочитанная им философская или научная книга. Так, в юношеской повести есть сценка неожиданной встречи Палицына с сыном Юрием. Описав, как они плакали от радости и горя, и начав новое предложение фразой: «и волчица прыгает и воет и мотает пушистым хвостом, когда найдет потерянного волченка», — автор продолжал: «а Борис Петрович был человек, как вам это известно, то есть животное, которое ничем не хуже волка, — по крайней мере, так утверждают натуралисты и философы... а эти господа знают природу человека столь же твердо, как мы, грешные, наши утренние и вечерние молитвы, — сравнение чрезвычайно справедливое». Лермонтов, очевидно, имел в виду натуралистов Кювье и Линнея и натурфилософа Окена. Любопытно, что в 1832 году Герцен ссылался на мнения указанных европейских мыслителей в своей статье «О месте человека в природе», когда

ставил вопрос, какое место человеку дают естествоиспытатели: «У Линнея человек в один порядок с обезьянами и нетопырями... Но; скажут, это было давно, теперь мы ушли далеко. Возьмем Кювье. Году нет, что он умер, и из современной славы нет выше его... Говоря о различиях его с животными, вот с чего он начинает: «нога человека весьма отличается от обезьяничей, — она шире...» Нам могут сделать два возражения: что естествоиспытатели рассматривают одну животную сторону человека и что приведенные нами — сенсуалисты... [На первое] скажем... что это их обыкновенная защита. Для опровержения второго стоит только привести в пример Окена, — Шеллингова последователя, натурфилософа Окена. Человек у него — животное...»

Наряду с вышеуказанными философскими категориями Лермонтов знал иные, коими «одействоворялось»¹ его понятие о совершенном человеке: *свобода* (воля, вольность), *родина* (отчизна, земля родная), *человечество*, — таковы были общественные идеалы, без которых юноша Лермонтов не мыслил себе действующей в обществе личности.

История народа цементировала связь человека с обществом. Призыв к *свободе, вольности* индивидуальной личности и народа — лейтмотив юношеских произведений поэта.

Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?
Зачем не могу в небесах я парить
И одну лишь свободу любить? —

восклидал поэт в стихотворении, написанном 29 июля 1831 года (в Средниково).

Воля волюшка,
Вольность милая,
Несравненная...

Прекрасны вы, поля земли родной...

И степь раскинулась лиловой пеленой,
И так она свежа, и так родня с душой,
Как будто создана лишь для свободы.

...я родину люблю
И больше многих... —

писал поэт в 1831 году, вспоминая в том же году «славу 1812 года», полный жажды борьбы «за счастье и славу отчизны своей» («Из Паткуля»).

¹ Выражение Герцена.

Лермонтов рано стал думать — так же, как Герцен, — что «всеобщее без личности — пустое отвлечение, но личность только и имеет полную действительность по той мере, по которой она в обществе». Поэт идеей *личности* прежде всего разрешал для себя общественные вопросы, и в этом была его слабость и трагизм, но он уже в студенческие годы добирался до истины, что вне народа нет спасения для индивидуума, что в любви к родине залог освобождения личности от «бесплодных дум» и страданий. Лермонтов долго бился в поисках выхода из своих противоречий между «безбрежной свободой» личности, — утверждающей единственным критерием истины свое бунтующее «я», — и признанием *общего* [народа], как питательной почвы для органического развития *отдельного* [человека].

Как ни казалась «несбыточной» мечта Юрия Волина (Лермонтова) о «земном, *общем братстве*», но герой юношеской трагедии Лермонтова считал ее «прекрасной», у него «при одном названии свободы сердце вздрагивало и щеки покрывались живым румянцем». Эта мечта о *братстве народов*, эта «искра любви к человечеству» — были выражением социального гуманизма поэта. Слово *братство* в рассуждениях Ю. Волина вскрывает его идеологический источник. *Братство* — одна из основных идей Сен-Симона в его «Nouveau Christianisme» (1825). Мог ли знать Лермонтов об этой книге? Своего друга С. Раевского Лермонтов называл «эконом-политическим мечтателем», то есть сторонником идей французского утопического социализма¹. Не указал ли юноше на эту книгу бывший студент Московского университета, бывая в доме Арсеньевой? С другой стороны, читая французские журналы, поэт мог встретиться с именем Сен-Симона и самостоятельно заинтересоваться им. Сен-Симон как автор «Нового христианства» был известен в России в начале тридцатых годов (например, Чаадаеву). Наша догадка о знакомстве Лермонтова с учением французского утопического социалиста имеет основание: из ответа Лермонтова во время репетиций двум профессорам видно, как была богата его домашняя библиотека иностранной литературой.

Во всяком случае можно отметить новое подтверждение единства идейных устремлений двух студентов — Лермонтова и Герцена, но со своеобразным отличием: первый в

¹ См. мою статью о С. А. Раевском во втором лермонтовском томе «Литературного наследия».

обращении к Сен-Симону схватил положительное ядро учения — идею *братства*, второй в обращении к сен-симонистам взял идею *личности*, свободной от всяческого догматизма.

Юрий Волин признавался: «любовь мою к свободе человечества почитали вольнодумством». Любовь Лермонтова к свободе упиралась в рабство, царившее на его родине. Но она горела в юноше, переходя в готовность погибнуть за нее. Строфы 28—30 стихотворения «1831-го июня 11-го» возвращают нас к той теме избранничества и ожидания гибели в революционной борьбе, которая созревала у поэта еще до его поступления в университет.

Я предузнал мой жребий, мой конец,
И грусти ранняя на мне печать,
И как я мучусь, знает лишь творец;
Но равнодушный мир не должен знать.
И не забыт умру я. Смерть моя
Ужасна будет; чуждые края
Ей удивятся, а в родной стране
Все проклянут и память обо мне.
Кровавая меня могила ждет;
Могила без молитв и без креста,
На диком берегу ревуших вод
И под туманным небом, пустота
Крутом...

Русские и европейские общественные события 1830—1831 годов продолжали питать в сознании поэта эту тему ожидаемой им трагической участи. И философские раздумья о дуализме человека вызывали его «мученья»; и политические думы накладывали на него «печать грусти». Так противоречиво размышлял юноша, пытаясь уяснить себе причины «беспокойства» своего внутреннего мира.

Мы уже говорили, как Герцен, Огарев, Сазонов ожидали, подобно Лермонтову, своей гибели в кровавой борьбе с деспотизмом.

Насколько типичны были настроения поэта для лучших представителей «молодой России», видно еще из двух признаний, сходных с лермонтовскими, — Станкевича и Костенецкого, товарищей Лермонтова по университету. Приведем эти признания для завершения исторического комментария данной темы.

Первый, мечтая о благе человечества, обращался к де-ве, звавшей его разделить с ней наслаждения любви:

Пора. Иду я в путь труда и славы,
Ты, дева, друг, прости любви моей;
И ты, черта природы величавой,
Прости и ты, я снова друг людей.

Я совершу свое предназначенье,
Я все отдам: подругу, славу, честь,
Я принесу себя во всеобщее.
О, тяжек крест, но должно его несть.

Костенецкий мечтал сделаться революционным героем, готовый к «страданиям неудачи». «Я знал историю декабристов», — рассказывал он о своих политических настроениях перед вступлением в сунгуровское общество, — «и участь их не только меня не пугала, но я всегда, подобно им, рад был пострадать за великое дело введения в своем отечестве правления, которое, по моим понятиям, было бы для него благодетельным, и уже во всяком разе лучше тогдашнего сурово-деспотического правления...»¹

Выработка мировоззрения сопровождалась у Лермонтова, как и у Белинского, Станкевича, Герцена, муками сомнений, тревогами, душевной болью. Постоянная, нагнетательная тема в лирических произведениях об одиночестве, страдании, разбитых надеждах, «увядших мечтах», «видениях, обманувших жизнь», о муках, тоске, о «пустой, черной жизни», о мире, где «обман», «счастья мало», о том, что поэт «сам себе в тягость, как другим», «болен болезнью жизни, скукой» и т. д., — заставляла друзей и знакомых Лермонтова видеть в нем второго после Пушкина русского Байрона. Он слышал эту оценку своего творчества в обществе девушек от Е. Сушковой, А. Верещагиной, в своем студенческом кружке, от поэтов пансионской поры, например, Лукьяна Якубовича.

Не отрицая сходства с английским поэтом, но защищая свою самостоятельность, оригинальность, Лермонтов энергично возражал своим слушателям:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я начал раньше, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? кто
Толпе мой расскажет думы?
Я — или бог — или никто!

В этом поистине пророческом стихотворении юноша властно утверждал свою кровную связь с своей родиной, говорил, что его творчество порождено русской жизнью.

¹ «Русский архив», 1887, кн. II, № 5, стр. 76.

Поэмы и трагедии, написанные Лермонтовым в течение двух университетских лет (1830—1832), преимущественно посвящены злободневным вопросам действительности того времени и, если касаются других стран, то на иноземном материале решают проблемы, актуальные для русского общества. Наряду с традиционными мотивами русской литературы Лермонтов заимствовал элементы стиля из мировой литературы: Шиллер, Шекспир и Лессинг, мелодрама и драматургия «неистой французской поэзии», Байрон, Гюго и Вальтер Скотт были литературной школой молодого драматурга и автора поэм, который отбирал в поэтике указанных авторов то, что соответствовало его собственным творческим замыслам. Патетическая риторика, «странные» характеры героев, «мятежные», одинокие и «сумрачные, как див», с «мрачным взором», «гордыми думами», преступные страсти, братоубийство, измены, изгнание, самоубийства и т. п. — все это было сделано по рецепту новейшей романтической поэзии, транспонируя в том же тоне и потому видоизменяя детали, заимствованные из сочинений писателей прежнего времени и другого направления.

Речевой склад — декламационный, полный гипербол («из мертвых тел вокруг него была ограда»), антитез («ад — рай», «огонь иль сумрак», «бог или злодей»), эпитетов и сравнений, не связанных с реальным опытом («и вокруг него летал чудесный сон», «а ветер осени сырой поет им песни неземные», «как призрак злой, от сна могил волшебным словом пробужденный», «роса... блистая райским жемчугом», «мила, как сонный херувим», «не дух коварства и обмана манил трепещущим огнем, не очи злобного шайтана светились в ущельи том: — две сакли белые, простые таятся мирно за холмом»), и других, уже применявшихся поэтом еще в пансионе, стилистических средств, — в основном не выходил за рамки лексики поэм Подолинского, беллетристических опытов Вельтмана, повестей Марлинского, студенческой трагедии Белинского, ранних статей Герцена... Поэтический рост Лермонтова проявлялся в стихотворной технике, в умении строить драматургическую интригу, в единстве психологической окраски персонажа, но творческим шагом, новым качеством надо признать прежде всего стремление поэта прикрепить к земле романтическую тему, вдвинуть сюжетику в историческую почву, насытить поэму, или трагедию, социальным, злободневным, бытовым; наполнить пейзажи конкретными деталями.

Современная ему отечественная действительность рожидала тему: жизнь — тюрьма, монастырская келья. Так создавалась поэма «Исповедь» с героем — испанцем «родом и душой», в словах которого:

Но под одеждой власяной
Я человек, как и другой, —

Лермонтов выражал протест свой и многих своих современников против оков жизни, запрета свободному проявлению человеческих чувств (молодой отшельник казнен за любовь к монахине). Сластолюбивый иезуит-инквизитор, считавший сказками церковные догмы; спесивый дворянин, хваставшийся одним из предков потому, что тот «три тысячи неверных сжег и триста в различных наказаниях замучил»; гордый юноша, «в низком состоянии» отстаивавший свое право на равенство с другими, полный ненависти к «предрассудкам» соотечественников:

У них и рай и ад — все на весах:
И деньги сей земли владеют счастьем неба,
И люди заставляют демонов краснеть
Коварством и любовью к злу...
У них отец торгует дочерьми,
Жена торгует мужем и собою,
Король — народом, а народ — свободой;
У них, чтоб угодить вельможе или
Монаху, можно человека
Невинного предать кровавой пытке...
И сжечь за слово на костре, и под окном
Оставить с голоду погибнуть для того,
Что нет креста на шее бедняка, —
Есть дело добродетели великой!.. —

гонимые евреи; слуга, сердце которого сжалось, когда он узнал о «бедной женщине с шестью-семью ребятами в лохмотьях, лежавших на соломе без куска хлеба насущного», народный певец, окруженный любовью простолюдинов. — эта тематика «Испанцев» разоблачением князей церкви, аристократии, богачей, сочувствием к униженным отражала на материале кошмарных впечатлений реальной жизни¹ и книжной традиции² гуманистические взгляды автора, близкие русским слушателям трагедии Лермонтова. Режим самовластья, последекабрьская политическая атмос-

¹ Л. Гроссман указал на знаменитое велижское дело по обвинению евреев в ритуальном преступлении, о чем Лермонтов знал по рассказам Ек. Сушковой.

² В том числе книги Сен-Симона «Новое христианство», полный страстного обличения инквизиции.

фера толкнули поэта к теме «Последнего сына вольности». Лермонтов завершил легенду о «Вадиме», начатую в русской литературе в конце XVIII века, над которой работали Ф. Ф. Иванов — друг Мерзлякова, автор трагедии «Марфа посадница»¹, насыщенной тирадами о *вольности*, «священном даре *свободы*», о *рабстве*, *тиране*, — Пушкин², А. С. Хомяков³, А. Подолинский и другие. Лермонтов создал образ новгородского витязя, решившегося отомстить варягу Игорю за поруганную князем «старинную вольность», но к политической причине мести присоединил еще личную: Игорь был виновником бесчестия и гибели Лады, возлюбленной Вадима. На бой с варягом призывал отважного юношу старик Ингелот. Автор поэмы включил в нее свои раздумья над судьбой ссыльных, участников 14 декабря, живших мечтой о воле, и приписал новгородцу свою уверенность, что в борьбе с самовластьем слава должна венчать погибшего за свободу народа:

Но через много, много лет,
Все будет славиться Вадим,
И грозным именем твоим
Народы устрашат князей,
Как тенью вольности святой,
И скажут: он за милый край,
Не размышляя, пролил кровь,
Он презрел счастье и любовь...
Дивись ему — и подражай!..⁴

¹ Сочинения и переводы Ф. Ф. Иванова, ч. II, М., 1824.

² Отрывок из неоконченной поэмы в пятой части «Московского вестника», 1827.

³ Из 2-й песни поэмы «Вадим» в № 18 «Московского вестника», 1827, ч. XI; «Вадим», отрывок из неоконченной поэмы в первой части «Московского вестника», 1829.

⁴ См. также «Балладу» (конец 1830 г.): молодая слазаянка поет, качая детскую люльку:

Отец твой стал за честь и бога
В ряду бойцов против татар,
Кровавый след ему дорога,
Его булат блестит как жар...

Ее муж вернулся и, сообщив жене, что «наш милый край порабощен», «орда взяла наши поля», умер «кровавой смертью борца»...

Жена ребенка поднимает
Над бледной головой отца:
«Смотри, как умирают люди,
И мстить учись у женской груди!..»

См. сюжет о героическом подвиге Мстислава, который после боя с татарами умирает «и просит, чтобы [старый воин] рассказал его дела какому-нибудь певцу, чтобы этой песнью возбудить жар любви к родине в душе потомков».

Героика поэмы не спасла ее от абстрактности образов, что было следствием неопытности автора, не овладевшего историческим материалом.

Краски поэзии иначе засверкали, когда Лермонтов в драмах и поэмах коснулся современного, знакомого ему быта, лично пережитого опыта. Книжная патетика героя стала перемежаться с картинами реальной жизни, с просторечьем, с остро подмеченными мелочами. Крестьянская жизнь, ужасы крепостничества, противоречия богатства и нищеты — вот одна из тем, включенная поэтом в его драмы «*Menschen und Leidenschaften*» и «Странный человек».

Одновременно с Белинским, который в трагедии «Дмитрий Калинин» по-радищевски развернул антикрепостническую пропаганду против бар, издевавшихся «над правами природы и человечества», Лермонтов в монологе одного из персонажей (Владимира) после расказа крестьянина о том, как помещица тиранит крепостных («долг мы переносили, однако, пришел конец... хоть в воду...»), возмущенно восклицал: «Люди! люди!.. И до такой степени злодейства доходит женщина, творение, иногда столь близкое к ангелу!.. О, проклиная ваши улыбки, ваше счастье, ваше богатство!.. Все куплено кровавыми слезами... Ломать руки, колоть, сечь, выщипывать бороду, волосок по волоску... О, боже! при одной мысли об этом я чувствую боль во всех моих жилах... Я бы раздавил ногами каждый сустав этого крокодила, этой женщины!.. Один рассказ приводит меня в бешенство... О, мое отечество! мое отечество!»

В другой трагедии помещица-ханжа, после чтения главы из евангелия о прощении согрешений каждому, накидывается с ругательствами на «поваренка Ваську», разбившего ее хрустальную кружку, и приказывает: «в плети его, в плети, на конюшню!» Автор негодует, слыша о помещичьих бесчинствах; его возмущает тиранство дворян над личностью мужика, он понимает незащитное положение крепостного, которому нигде найти управу на помещика, так как администрация и суд «подкуплены [крестьянским же] оброком», но он полагает, что «есть люди, более достойные сожаления, чем этот мужик. Несчастья внешние проходят, но тот, кто носит всю причину своих страданий в глубине сердца, в ком живет червь, пожирающий малей-

¹ «Не срывай покрова с души, где весь ад, все бешенство страстей...» «овинцовая слеза моих страданий, упала ему на грудь...» «Змея ревности клубится в груди моей...» и пр.

не искры удовольствия, тот, кто в тягость всем, тот», по
его мнению, заслуживает большего сожаления, чем раб:
один — раб человека, другой — раб судьбы. Первый мо-
жет ожидать хорошего господина или имеет выбор; вто-
рой — никогда». Эта индивидуалистическая точка зрения, на-
поминающая размышления раннего Толстого (Андрей Бол-
онский в романе «Война и мир»), раскрывала противоречия
общественного мировоззрения Лермонтова: его протест про-
тив социального явления — крепостничества — таил в себе
элемент полного отрицания данного общественного строя,
абсолютного сверху донизу, в то же время не касаясь сущно-
сти крепостного права и ограничиваясь возмущением со-
знания и совести дворянина-протестанта. Юноша-драма-
тург не мог тогда прийти к иному решению: он и
без того опередил своих современников, остро поставив
вместе с В. Г. Белинским вопрос о крепостничестве как ан-
тичеловечном институте. Тема о бедных и богатых стоя-
ла перед глазами поэта, тревожа его мысли, поражая кон-
трастом жизни двух общественных классов. Старая слу-
жанка Аннушка («Странный человек»), антипод барской
прихлебательницы и хищницы Дарьи («Люди и страсти»)¹,
размышляет: «Ветер и дождь стучат в наши окна, как запоз-
далые дорожные. Кто им скажет: ветер и дождь, подите
прочь, мешайте спать и покоиться богатым, которых здесь
так много; а мы и без вас едва знаем сон и спокойствие».
Тема о богатых и об участи их жертв была рано намече-
на Лермонтовым: поэт задумался над судьбой «падших
женщин», тех, кого судьба загоняла на путь проституции.
Зосчитанная «старухой чужой», в пятнадцать лет, «по во-
ле злой судьбы», одна из них была «продана мужчине»:

...ни мольбы

Ни слезы не могли спасти меня:

С тех пор я гибну, гибну — день от дня...

.....

Печать презренья на моем челе,

Но справедлив ли мира приговор?

Что добродетель, если на земле

Проступок не бесчестье — но позор?

Поверь, невинных женщин вовсе нет,

Лишь по желанью случай и предмет

Не вечно тут. Любить не ставит в грех

Та одного, та многих — эта всех!

¹ Прототипом служила крепостная Е. А. Арсеньевой Дарья Кур-
цова.

Лермонтов повторил последнюю тезу в другом стихотворении¹, подчеркнув тем самым, что он защищает эту женщину от общественного мнения «света», тех, кто под маской приличий, сохраняя внешнее благообразие семейного очага, распутничает, растлевает почти детей, по праву сильного с кошельком, набитым деньгами. Столичный город с его контрастами и соблазнами поставил перед Лермонтовым эту тему, которая впоследствии в *лермонтовском* плане будет разработана в стихах Добролюбовым и Некрасовым, в прозе — Достоевским.

В обеих трагедиях («Люди и страсти» и «Странный человек») Лермонтов — сатирик, бичующий дворянское общество, нравы, семью. Он сознательно ставил перед собою задачу реального воспроизведения жизни, близости к «природе» и сгущения красок в показе пороков: «справедливо ли описано у меня общество, — не знаю; по крайней мере, оно всегда останется для меня собранием людей бесчувственных, самолюбивых в высшей степени и полных зависти к тем, в душе которых сохраняется хотя малейшая искра небесного огня»². Часть подлинных событий из истории семейной вражды Ю. П. Лермонтова и Е. А. Арсеньевой вошла в первую трагедию. В другой — следы воспоминаний о матери, детстве, отражение сердечных увлечений самого поэта. Но если это автобиографическое еще не стало преобразованным в той мере, которая необходима для превращения факта жизни в явление искусства, то все же элементы типизации были найдены молодым драматургом: картина дворянского быта выступала в резких очертках писателя-обличителя, от которого не укрылись новые, денежные отношения: брак — купля-продажа, карьеризм — условие житейского благополучия, вражда между родными, на время затихающая из-за материального расчета; «несносное полотерство, стремление к ничтожеству, пошлое самовыказывание завладело половиной русской молодежи; без дела таскаются всюду, наводят скуку себе и другим»; дворянин — хапуга, живущий тем, что дает деньги взаймы, и радующийся всякой «бумажке, которая содержит в себе цену многих людей»; образ разочарованного юноши, «двадцатилетнего старика», который убежден, что «во всей ледяной России нет сердца, которое отвечало бы ему», что «он не сотворен для людей теперешнего века и нашей

¹ «Девятый час».

² Предисловие к «романтической драме» «Странный человек» (1831).

страны», — все это, иногда мельком брошенное, не раскрытое в типических образах, обнаруживало и меткую наблюдательность автора и понимание им социальной основы жизненных явлений¹.

8

Особое место среди поэм 1831—1832 годов занимают кавказские поэмы «Каллы», «Аул Бастунджи», «Измаил-бей» — вдохновенные гимны героическому подвигу, действенным натурам. Сочувствие борьбе народов Кавказа за независимость придавало поэме «Измаил-бей» характер смелого политического протеста против царизма.

Современность тематики, историческая документация — существенные особенности поэмы, в которой художественный вымысел автора опирался на впечатления лично им виденного, на его знание и изучение исторического и литературного материала. Жажда действия нашла благоприятную почву в творческом переживании шумных исторических событий на Кавказе, который с детских лет стал второй родиной поэта, с 1825 года вызывал у него восторженные воспоминания «о далекой, святой земле»:

...ни свет, ни шум земной
Их не убьет...

Лермонтов из разнообразных источников собирал сведения о Кавказе, где в эти годы кипели восстанием Чечня и Дагестан, Джаро-Белоконская область, где имам Казимулла, овеянный народными легендами, с сумой и посохом в руке, обходил селения и в пламенных речах рисовал перед собравшимися картины войны, походов на Стамбул, а рядом с ним подымали клич к борьбе с царскими войсками Гамзат-бек, Шамиль; где враги не щадили друг друга, мирились и снова враждовали; где развалины и пустыри сжимали тоской путника, помнившего цветущие аулы; где разыгрывались бои, потрясающие по жестокости, отчаянной смелости и кровавым исходам¹. О Кав-

¹ Судя по проекту трагедии, Лермонтов намеревался разработать тему о молодом дворянине, который ради денег готов на все; в трагедии среди персонажей были ростовщик, девушка, у которой, — по слухам, — миллион. Действие должно было происходить в знатном доме и среди тех, у кого «ничего нет».

казе, горцах, их быте, о войне в конце двадцатых — начале тридцатых годов на страницах печати появлялось много этнографических материалов, путевых записок, повестей, поэм, стихотворений. Кавказские поэмы Лермонтова были частью большого литературного потока, возглавлявшегося не только Пушкиным², Нарезным³, Полежаевым⁴ и Марлинским.

Часто встречалось имя В. Н. Григорьева, присылавшего с Кавказа то «Песнь черкеса» и «Трубку казака»⁵, то очерки («Алавердский праздник», «Грузинская свадьба», «Бештау», «Переезд через Кавказские горы», «Грузинка»).

И. Т. Радожицкий в своем рассказе⁶ из жизни кабардинского аула показал отвратительную роль муллы, из-за внушений которого погибла невинная женщина, сброшенная по суду шарията в пропасть.

Широкую картину кавказского быта встречаем в «черкеской повести в стихах» того же автора «Али-Кара-Мирза» (М., 1832). Герой повести — историческое лицо, кабардинский князь, бежавший за Кубань во время восстания Кабарды в 1822 году; он поселился между бислинейцами, на вершине реки Лабы, за горою Ахмат, в почти неприступном ущельи. Отсюда он делал многочисленные набеги на русских; в 1824 году он был убит русскими. В повести дана была общая характеристика горцев как смелых джигитов, которым вольность милей всего:

Им мило жить всегда в горах,
Без принуждения, по воле,
Летать орлами в чистом поле...

Кара-Мирза сзывает на совет князей. В повести названы Джем-Булат и Мисост Атажухов, видные кабардинские

¹ В одном селении Герменчуг, например, кончили жизнь семьдесят два чеченца, не желавшие сдаться; отряд русских войск под командованием генерала Эммануэля потерял в Аухе до тысячи человек (в 1831 г.) (Т. «Воспоминания о Кавказе и Грузии». — «Русский вестник», т. 80, № 3, стр. 128, 150).

² «Монастырь на Казбеке», «Отрывок» («На холмах Грузии»), «Обвал».

³ Роман «Черный год или горские князья», 1829.

⁴ «Эртели» (1830), «Чир-Юрт» (1832), «Герменчугское кладбище» (1832—1833), «Акташ-Аух» (1832) и др.

⁵ «Календарь муз на 1826 год», П., 1826, стр. 11—13.

⁶ «Кыз-брун. Черкесская повесть». — «Отечественные записки», 1827, ч. 32, № 91, 92.

нязья, также князь Расланбек, Широх и Дударуков. Мир-а обращается к ним с призывом:

Товарищи! За честь и за свободу!
Спасение кавказскому народу,
Сберемся все, ударим, разобьем.
Иль — славную могилу **там найдем!**..

После гибели Кара-Мирзы в честь его были сложены песни, в одной из них говорилось о страданиях, которые вынесли горцы, борясь за свободу.

Автор повестей «Кыз-Брун» и «Али-Кара-Мирза» вводил в текст местные выражения с объяснением их: например, *бжегопха* (тонкое женское покрывало), *юзлук* (турецкая монета в рубль серебром), *лов* (конь) и т. д.

Лермонтов, вероятно, читал в журналах и альманахах очерки и повести о Кавказе, встречал имена горцев, знакомые ему по рассказам Шоры в Пятигорске¹, Шан-Гирея — в Москве, по семейным преданиям в роде Арсеньевых и Хостатовых; дополнял свои воспоминания об обычаях, нравах народов Кавказа. Но, если бы три его поэмы появились в печати в 1831—1832 годах, русская литература обогатилась бы произведениями не только большой познавательной ценности о Кавказе, но и новым освещением быта горцев, более решительным разоблачением религиозного фанатизма, старинных обычаев (адатов), закрепощавших личность. Кровная месть в «черкесской повести» «Каллы»² показана во всей своей губительной силе: юноша Аджи, у которого погибли отец, мать и брат, по настоянию муллы («мои советы — бсжий глас»), должен был отомстить убийце Акбулату, дал клятву «исполнить свято над врагами обычай дедов и отцов» и вонзил нож «во тьме ночной» троим из семьи Акбулата. Но голос мести был побежден ненавистью к

¹ Шора Бекмурзин Ногмов — знаток кабардинского и черкесского фольклора, — согласно передаваемому в Кабарде из поколения в поколение преданию, был знаком с Лермонтовым и рассказывал ему о горских преданиях, сказках, легендах. С. А. Андреев-Кривич. «На горячих водах, в 1825 году». — «Социалистическая Кабардино-Балкария», 1941, № 119.

² Ф. И. Леонтович в своем труде «Адаты кавказских горцев. Материалы по обычному праву Северного и Восточного Кавказа», II выпуск (Одесса, 1883), писал в разделе «Право канлы»: «Канлы состоит в том, что родственник убитого должен убить убийцу или кого-либо из его родных. Те, с своей стороны, опять должны отомстить за кровь кровью, и таким образом убийства продолжаются бесконечно» (стр. 93).

тому, кто толкал на преступление: юноша-кабардинец убил муллу... Образом Аджи автор смело раскрывал бессмысленную жестокость одного из адатов и, — что замечательно, — в конце поэмы картинкой счастья, наступившего после смерти муллы для его жены:

Другого любит без боязни
Его любимая жена,
И не боится тайной казни
От злобной ревности она!..

показывал, как радостно можно жить на земле, отдаваясь свободно велению чувства любви. В нескольких словах была образно показана тема, так пленившая Герцена в учении сен-симонистов — «оправдание, *искупление плоти*», оправдание «естественно-нравственных и потому нравственно-чистых» отношений между людьми.

Те, кто видел в поэме «Каллы» влияние «Гяура», не заметили преодоления Лермонтовым мировоззрения Байрона: «восточной поэме» чужды были то любованье жизнью, та юношеская вера в земное счастье, которыми дышала «черкесская повесть»: бунт Аджи против адата был криком жизни против мертвой догмы религии и уродливого обычая старины.

Тот же мотив борьбы с бытовым укладом лежит в основе поэмы «Аул Бастунджи»¹. Она отражала местные предания о соперничестве и вражде между родственниками из-за женщины: в тридцатых годах была известна вражда между двумя двоюродными братьями — Хамурзиными и кабардинскими князьями Адель-Гиреем и Аслан-Гиреем — из-за красавицы Гуаши-Фуджи, сестры бесленеевского князя Айштеки Канукова, закончившаяся тем, что после того, как братья ранили друг друга, один из них (Адель-Гирей) увез красавицу в Чечню. Среди черкесов был известен также рассказ о вражде двух братьев: старшего Атвонука и младшего — красавца Канбулата, к которому Атвонук ревновал свою жену². Поэма Лермонтова о двух братьях, Акбулате и Селиме, о любви Селима к Заре, жене старшего брата, о вражде из-за нее, приведшей к трагической смерти Зары, — колоритна по многим бытовым подробностям, что автор подчер-

¹ Один из аулов около Бештау, по кабардинскому преданию, носил название «Бастунджи» («Новый мир», 1941, № 1, стр. 253).

² Н. Дубровин. «История войны и владычество русских на Кавказе», кн. I, П., 1871, стр. 80—84, 134. См. также «Русский вестник», 1844, № 1 («Князь Конбулат, черкесское предание», Хан-Гирей).

л приурочением события к точному географическому месту («между Машуком и Бештау, назад тому лет пять был аул...») и локальными, или «восточными» именами: *арчаг, сайгак, алла, алкоран, мечеть*. Стремление автора к исторической точности с наибольшей полнотой было проявлено в третьей поэме. Измаил-бей — не выдуманная фигура. О нем еще в 1805 году в «Северном архиве» было напечатано сообщение одного из иностранных путешественников, который, — как записал он в 1810 году, — познакомился в издике с кабардинским князем Аджа (Атажуха) Измаил-беем: «он полковник в российской службе, кавалер Георгиевского ордена, и получает пенсию. Привязанность его к своему отечеству, в котором он еще имеет владения, кажется, нимало не изменилась в течение долголетнего отсутствия; он состоит еще в тесном с оным сообщении. — Жена и сын живут там... Он говорит по-русски и по-французски, ростом высок, красив собой и обходится, как образованный светский человек»¹. Эти сведения можно дополнить: Измаил-бей брал штурмом турецкую крепость Измаил вместе с Арсеньевым и Хостатовым, был одним из главарей восстания в Кабарде, в начале XIX в., подвергся ссылке в Екатеринослав, после прощения вернулся в Кабарду, с 1810 года находился в тесных связях с горцами, возбуждая недовольство в умах кабардинцев².

Лермонтов сохранил многие подробности из биографии Измаил-бея: кабардинский князь в молодости действительно жил в Петербурге; рассказ офицера (ч. II, строфа XXIII) о том, что «служил в российском войске Измаил; но, образованный меж нами, родными бредил он полями... в битвах отличался», соответствует подлинным фактам; «белый крест на ленте полосатой», найденный черкесами у убитого Измаил-бея — указание на георгиевский крест, полученный князем от русского правительства. Измаил-бей был «к русским послан своим отцом», то есть был аманатом. О том, что горцы отдавали своих детей в заложники, встречались известия в журналах. В «Московском телеграфе», например, в 1829 г. был напечатан отрывок письма из Прочно-Окопской крепости

¹ «Журнал путешествия по земле донских казаков к Кавказу и в Астрахань (из немецкого журнала)». — «Северный архив», 1825, № 7, стр. 249.

² Исследование С. А. Андреева-Кривича о поэме «Измаил-бей».

под заглавием «Измаил Ашаев, Князь Мангатовских Нагайцев», в котором рассказывалось, как этот российской службы поручик, живший в ауле за Кубанью, некогда был врагом России, участвовал в закубанском походе (с 9 ноября по 15 декабря 1828 г.), был убит чеченцами (18 апреля 1829 г.) и перед смертью выражал желание, чтобы его сын был отдан русским, в корпус¹.

Убийца, коварный Бей-Булат, преследовавший отца Измаила, по имени — тоже историческое лицо. Это чеченский наездник Бей-Булат Таймазов, который в 1824—1825 годах стоял во главе восстания, перешел в 1829 году в русское подданство, но нередко совершал нападения на русские войска. Пушкин писал о «славном Бей-Булате, грозе Кавказа» в «Путешествии в Арзрум»².

Братом Измаил-бея в поэме назван «умный князь, лукавый Росламбек»; его исторический прототип — кабардинский князь Росланбек Мисостов, полковник лейб-гвардии казачьего полка, однажды бежал из русского лагеря за Кубань с подвластными ему аулами и стал одним из непримиримых абреков³.

Образ Зары, девушки-воина, которая участвовала в боях в отряде Измаила-бея, исторически правдоподобен: горянки бились с врагом рука об руку со своими отцами и мужьями. В 1842 году, — пишет Л. П. Семенов со ссылкой на статью Е. Вейденбаума «Чеченская девушка-кавалерист», — в числе пленных, близ селения Большой Яндырки, с партией чеченцев была взята девушка, одетая в мужской костюм. Оказалось, что она уже более десяти лет участвовала в военных делах. Ее, в национальном воинском платье, возили на показ Николаю I. Затем она была отправлена в крепость Грозную, где жила в большой нужде⁴.

В поэме рассыпаны подробности, которые указывают, как прекрасно был осведомлен поэт в исторических событиях Кавказской войны, с каким знанием дела он описывал быт горцев. В жестоком бою, в котором был ране

¹ № 12, июнь, стр. 441—443.

² Л. П. Семенов. «Лермонтов на Кавказе», Пятигорск, 1932, стр. 35—36. Ср. С. Андреев-Кривич в «Новом мире», 1941, № стр. 253.

³ Там же, стр. 37. Ср. в поэме:

Уж Росламбек с берегов Кубани
Князей союзных поджидал...

⁴ Там же, стр. 38.

змаил-бей, участвовали «ширванские полки». Ширванский полк на самом деле участвовал в одном из самых кровопролитнейших сражений при подавлении восстания в Чечне недалеко от берегов реки Аргун, упоминаемой и в поэме.

...Русский стан
Пришел к Оссаевскому полю... (ч. III, XII).

Комментатор поэмы, Л. П. Семенов, подтверждает, что равнина, по которой протекает река Асса, в начале XIX века часто называлась «Оссай» или «Оссая», и что, таким образом, главное действие в поэме происходит в пределах Чечено-Ингушии, между реками Асса и Аргун¹.

Лермонтов, упомянув про коня — «питомца смелого грамских табунов», — показал, что ему известна абазинская порода известного конского завода Трама².

Исторически точно описал Лермонтов вооружение черкесов: железная броня, шишак, колчан, лук у Измаил-бея и Зары соответствовали военному одеянию черкесов. Историк С. Броневский писал в 1823 году: «без сабли, пистолета и кинжала никогда не отлучаются от двора; но в полном военном наряде вооружаются еще луком, колчаном со стрелами и ружьем и, у кого есть, надевают на себя панцырь»³.

Лермонтовское описание боев, нападений на аулы, кровавых эпизодов Кавказской войны, в сущности, не нуждается в комментировании историческими документами, официальными донесениями, воспоминаниями мемуаристов. Оно само является точным историческим документом, одновременно разоблачавшим хищнический характер войны со стороны царизма и прославлявшим идею свободы, за которую бились горцы (ср. I строфу III части).

Вторая строфа третьей части поэмы «Измаил-бей» справедливо считается одним из самых энергичных в русской поэзии памфлетов против завоевательной войны царского правительства:

Горят аулы; нет у них защиты,
Врагом сыны отечества разбиты,
И зарево, как вечный метеор,
Играя в облаках, пугает взор. —

¹ Л. П. Семенов. «Лермонтов на Кавказе», Пятигорск, 1939, стр. 35.
² Г. И. Филипсон. «Воспоминания». — «Русский архив», 1883, т. III, стр. 175.

³ Л. П. Семенов. «Лермонтов на Кавказе», стр. 49. См. также Потто. «Кавказская война», т. I, вып. IV, 1898, стр. 639.

Как хищный зверь, в смиренную обитель
Врывается штыками победитель;
Он убивает старцев и детей;
Невинных дев и юных матерей
Ласкает он кровавою рукою;
Но жены гор не с женскою душою!
За поцелуем вслед звучит кинжал, —
Отпрянул русский, — захрипел — и пал!
«Отмсти, товарищ!» — и в одно мгновенье
(Достойное за смерть убийцы мщенье!)
Простая сакля, веселя их взор,
Горит, — черкесской вольности костер!..

Лермонтов неизменно подчеркивал свободолюбие народов Кавказа:

Им бог — *свобода*..
Черкес удалой в битве правой,
Умеет умереть со славой,
А у жены его молодой
Спаситель есть — кинжал двойной, —
И страх насильства и могилы
Не мог бы из родных степей
Их удалить; — позор цепей
Несли к ним вражеские силы!
Мила родная сторона,
Но вольность, вольность для героя
Милей отчизны и покая. —
. и волю
И степь свою не отдадим
За злато роскоши нарядной..

Автор поэмы не говорил о вражде, которая нередко разделяла народы Кавказа, но показывал их единство в борьбе с врагом, что также имело место в истории Кавказа: Измаил — *черкес* и Зара — *лезгинка* символизируют это единодушие горских народов в защите их вольности. Автор поэмы не говорил о социальных противоречиях в аулах, где еще властвовали феодальные пережитки, — были рабы; он с симпатией зарисовывал простоту нравов, патриархальные обычаи горцев (обычай гостеприимства, суд старейшин), их развлечения, праздники (байрам), воинственные и мирные песни, «дышавшие весельем», их предания: некогда

Черкес счастлив и волен был..
Они тогда еще не знали
Ни золота, ни русской стали!

В их жизнь не проникал «яд просвещения душевной Европы», — думал Лермонтов, по-руссоистски противопоставляя цивилизации эксплуататорских классов мнимую илил-

нию патриархальных народов. Но автор «Измаил-бея», преодолевая литературную традицию, показывал различные характеры горцев: рядом с Измаил-беем — его «жестокый брат, завистник вероломный», его убийца Росламе-к; образ Зары контрастен «в кругу черкесов праздных, жестоких, буйных, безобразных». «Бесплодного Кавказа демена» «растут среди разбоев тайных, жестоких дел и дел необычайных»...

Там поразить врага не преступленье;
Верна там дружба, но вернее мщенье;
Там за добро — добро, и кровь за кровь
И ненависть безмерна, как любовь, —

Так, на основании устных рассказов, прочитанных книг о Кавказе, поэт представлял себе характер горцев, полный противоречивых склонностей.

Поэма «Измаил-бей» (как и две другие кавказские поэмы 1831 г.) была воплощением сильных сторон жанра романтической поэмы: героизация лиц и событий, национальный отпечаток жизни, психологизм образов, — все это осуществлено было с таким художественным мастерством, равного которому не было в русской романтической поэзии тридцатых годов. Студент Лермонтов, читая в своем кружке эту поэму, по праву вызывал восхищение молодежи своей гениальностью. Поэма в две тысячи двести семьдесят семь стихов удивляла уже своим размером. Поражала легкость, с какой автор соединял быт и пейзаж, батальные и мирные картины, фольклор (кавказские предания о Прометее) и литературные сюжеты (баллада о Поликратовом перстне), лирические отступления, исповеди героев, диалоги и описательные части.

Рассказ старика-чеченца, «то буйный, то печальный», автор намеревался передать реалистически точно:

Как слышал, так его передаю!

Но, «досказав» устные предания, перемешав историю с вымыслом, он придал личным воспоминаниям, услышанному и прочитанному такую неповторимую форму, которая позволяет видеть в поэме Лермонтова шаг вперед сравнительно с первой романтической поэмой самого Пушкина. Лермонтов, продолжая считать гениального поэта своим учителем¹, вступил с ним в творческое соревнование.

¹ Ср. в XXV строфе второй части стихи в рассказе русского офицера об Измаил-бее («Как он умел слезой притворной к себе доверенность вселять» и т. д.) с первой главой романа «Евгений Онегин».

Подростком в своем «Кавказском пленнике» он в одних деталях буквально повторял Пушкина; теперь, держа в памяти пушкинский образ, он изменил его внутреннее содержание; внес новое качество, сделал его своим достоянием:

Скопилась месть их роковая
В тиши над дремлющим врагом: —
*Так летом глыба снеговая,
Цветами радуги блистая,
Висит, прохладу обещая,
Над беззаботным табуном...*

(ч. I, IX)

Типичный для романтической школы прием сгущения отбора особых лексических средств в изображении портрета и характера, применил Лермонтов при знакомстве читателя с Зарой:

...Пред ним, под видом девы гор,
Создание земли и рая,
Стояла пери молодая!

(ч. I, XXIV)

Нежна — как пери молодая,
Создание земли и рая,
Мила — как нам в краю чужом
Меж звуков языка чужова
Знакомый звук, родных два слова!
Так утешительно-мила,
Как древле узнику была
На сумрачном окне темницы
Простая песня вольной птицы.
Стояла Зара у огня! —
Чело немножко наклоня,
Она стояла гордо, ловко;
В ее наряде простота —
Но также вкус! Ее головка
Платком прилежно обвита;
Из-под него до груди нежной
Две косы темные небрежно
Бегут; — уж, верно, час она
Их расплетала, заплетала!
Она понравиться желала: —
Как в этом женщина видна, —

(ч. I, XXIV)

Рукой дрожащей, торопливой
Она поставила стыдливо
Смиранный ужин пред отцом,
И улыбнулась; и потом
Уйти хотела; и не знала,
Итти ли?..

(ч. I, XXVII)

Но в этом портрете так много бытовых деталей, так внутри освещен образ, психологичен в мимике, в движениях, что из этого романтического описания следует вести нити к новому художественному методу — к психологическому реализму. История любви Зары, показ ее одним Селимом тонко вскрывали изменения в психологии девушки, образ героини качественно наполнялся многогранным содержанием, — в этом психологическом осложнении образа обнаруживался значительный художественный рост автора. Богатство эмоций, смена одних чувств другими, незаметное, но в итоге осязаемое накопление биографических подробностей, дававшее целостное представление о герое с детских лет до его гибели зрелым мужем, — характеризовали творческую манеру зарисовки Измаила-бея. Историческое лицо было превращено в поэтический образ романтического героя, кое в чем напоминавшего Селима из поэмы «Аул Бастунджи»¹, но в основном близкого к излюбленному поэтом типу людей, «презиравших этот мир ничтожный» (ч. III, X), созданных «для великих страстей», обладавших «пылающей душой», некогда «веривших всему» и обманутых людьми, сохранивших мятежные страсти под ледяной корой равнодушия, переживших много «душевных бурь», но не испивших до конца надежд на земные радости. Воин и влюбленный, Измаил-бей соткан из противоречий. Некоторые из них были следствием противоречий авторского отношения к образу: поэт не мог слить *личное* литературного героя с его *общественным* поведением, заменил социальную природу поступков исторического прототипа субъективными настроениями одинокого героя при наличии в то же время верно подмеченных социальных мотивов, толкавших Измаил-бея (поэмы) к известным действиям.

Битвам, родине и воле
Обречена судьба моя —

говорит Измаил-бей, типичный сын Кавказа, повторяя свой исторический прообраз.

Не за отчизну, за друзей он мстил
И не пленялся именем героя;
Он ведал цену почестей и слов,
Изображенных только для глупцов! —

И не родной аул, — родные скалы
Решился он от русских защитит! —

¹ Ср. VI и VII строфы с IV и V строфой второй части «Измаил-бея».

з этом признании *историческое* в Измаил-бее было затупевано *интимно личным* бунтаря-одиначки. Конец поэмы указывал, что автор ощущал потребность найти выход из своих колебаний между индивидуалистическим героизмом и подвигом, оправданным логикой истории. Соотечественники Измаил-бея, его друзья в боях произнесли суровый приговор над тем, кто «презирает людей и рок, кто смертию играл так своенравно»:

Пусть кончит жизнь, как начал — одиноко.

Метод обрисовки героев поэмы в противоречивом сплетении их страстей, с изменениями их настроений, с осложненной психологией знаменовал стремление автора освободиться от односторонних характеров, подобных персонажам в его трагедиях.

Психологизм привнес в поэму, богатую замечательными по точности и эмоциональности картинами кавказской природы, новые детали, чуждые описательной поэзии прежней литературы. Прием одухотворения природы был применен в поэме не как случайность, а как стилевое выражение философского мировоззрения:

Меж тем белей, чем горы снеговые,
Идут на запад облака другие
И, проводимши день, теснятся в ряд,
Друг через друга светлые глядят
Так весело, так пышно и беспечно,
Как будто жить и нравиться им вечно!..

Самый примечательный пример чувства связи человека с природой, своего рода символический образ слияния с космосом, дан в XXX и XXXI строфах III части поэмы.

Измаил-бей ранен, лежит без чувств. Селим (Зара) склонился над ним в отчаянии, бессильный помочь... Казалось, час кончины героя близок...

Встает, глядит кругом Селим:
Все неподвижно перед ним!
Зовет: — и тучка дождевая
Летит на зов его одна,
По ветру крылья простирая,
Как смерть, темна и холодна.
Вот, наконец, сырым покровом
Одела путников она, —
И юноша в испуге новом!
Прижавшись к другу с быстротой! —
«О, пощади его!.. постой! —
Воскликнул он! — Я вижу ясно,
Что ты пришла меня лишить
Того, кого люблю так страстно,

Кого слабей нельзя любить! —
Ступай! Ищи других по свету...
Все жертвы бога твоего! —
Ужель меня несчастней нету?
И нет виновнее его?»
Меж тем, подобно дымной тени,
Хотя не понял он молений,
Угрюмый облак пролетел.
Когда ж Селим взглянуть посмел,
Он был далеко! Освеженный
Его прохладою мгновенной,
Очнулся бледный Измаил...

Переполненный волнением разнороднейших чувств, мыслей, поэт не довольствовался однозначным определением предмета, он нагнетал эпитеты с разносмысловым содержанием:

Из бедной сакли раздавался вдруг
Беспечной, нежной, вольной песни звук!..
(«Аул Бастунджи»)

...и над ней
С прощальным воркованьем вьется стая
Пугливых, сизых, вольных голубей...

Лермонтов иногда употреблял сравнения, не имевшие, казалось, прямого отношения к предмету, связанные с ним лишь ассоциативно: поэт держал в своем воображении много определений предмета, охватывая их в единстве. Чтобы понять смысл одного сравнения в поэме, надо уловить разбросанные в разных местах звенья этой единой смысловой цепи:

...здесь еще Селим...
Склонясь в отчаяньи над ним,
Как в бурю юва молодая
Над падшим гнется алтарем...

(ч. III, XXIX)

Почему Измаил-бей сравнивался с «падшим алтарем» — предметом религиозного поклонения? Смысл сравнения становится ясным, когда читатель вспомнит предшествовавшие ряды сравнений: Измаил-бей, «герой по взорам и речам»,

...Летал к опасным он врагам,
Летел, как *ангел-истребитель...*
(XVIII строфа)

...Смотри: летит, как с неба пламя...
Он там! — как *дух* разит и невредим...
(XXII строфа)

Измаил-бей для Селима был человеком,

Кто все на свете для него,
Кому надежду жизни милой
Готов он в жертву принести...

Соединив все эти оттенки в отношении к Измаил-бегу полюбившей его девушки, его товарищей по оружию, читатель видит, что образ алтаря, над которым гнется ива молодая, оправдан, получает свое место в XXIX строфе, начавшей завязь еще в XVIII строфе.

Поэма «Измаил-бей» была закончена 10 мая 1832 года. Понятно, почему в весенний семестр этого года Лермонтов редко посещал лекции в университете: он охвачен был напряженной творческой работой.

9

Приходится удивляться творческой энергии поэта за два студенческих года: несколько трагедий, несколько поэм, сотни стихотворений были написаны им в 1830—1832 годах. Сколько бродило новых тем, о которых говорят планы, наброски неосуществленных замыслов в разных жанрах! В то же время поэт успевал посещать балы, бывать в обществе, вообще вести так называемую светскую жизнь.

По словам П. Вистенгофа, «Лермонтов любил посещать каждый вторник тогдашнее великолепное благородное собрание, блестящие балы которых были очаровательны. Он всегда был изысканно одет, а при встрече с нами делал вид, будто нас не замечает... Он постоянно был окружен хорошенькими молодыми дамами высшего общества и довольно фамильярно разговаривал и прохаживался по залам с почтеннейшими и влиятельнейшими лицами. Танцующим мы его никогда не видали». В одном из писем 1831 года к тетке М. А. Шан-Гирей поэт писал из Москвы: «Мне здесь довольно весело: почти каждый вечер на бале».

Москва, в самом деле, давно не веселилась так, как в 1831—1832 году. В газете «Молва» (1832, № 19) даже появилась заметка с подсчетом количества балов за четыре месяца (ноябрь—декабрь 1831 г. и январь—февраль 1832 г.): «В Москве было дано около 300 частных балов, на которых перебывало, считая приблизительно, до 90 000 посетителей. Перед масленицей двадцать и на масленице двадцать восемь». Балы перемежались благотворительными спектаклями. «В университете, у казенных студентов также было несколько спектаклей. Прекрасное

полезное употребление свободного времени молодых людей», — заканчивал свою статейку неизвестный корреспондент «Молвы» (стр. 75). На балы любила ходить студенческая молодежь. Лермонтов в этом отношении ничем не выделялся из своих товарищей. Я. Неверов, например, рассказывает в своей автобиографии: «Мы [со Станкевичем] вместе посещали как театры, так и балы в благодушном собрании, вблизи коего была его квартира. Я был страстный любитель танцев, а потому не пропускал ни одного бала в собрании и в таком случае обыкновенно ночевал у Станкевича»¹.

На новогоднем маскараде (на 1 января 1832 г.) в благородном собрании (вспоминал А. П. Шан-Гирей) «Лермонтов явился в костюме астролога, с огромной книгой судеб под мышкой; в этой книге должность каббалистических знаков исправляли китайские буквы, вырезанные из черной бумаги, срисованные в колоссальном виде

чайного ящика и вклеенные на каждой странице; над буквами вписаны были... стихи, назначенные разным знакомым, которых было вероятие встретить в маскараде». В числе знакомых Лермонтова были известные московские красавицы В. И. Бухарина, А. В. Алябьева, П. А. Бартенева, А. А. Щербатова и другие; писатели Н. Ф. Павлов, А. А. Башилов, — всем им поэт поднес мадригалы и эпиграммы.

Один из новогодних мадригалов был предназначен Натальи Федоровне Ивановой, с именем которой связан обширный цикл стихотворений Лермонтова — единственный (вместе с трагедией «Станный человек») источник, дающий картину его юношеской любви и разрыва с девушкой, им любимой.

10

Н. Ф. Иванова была дочерью московского драматурга, Ф. Ф. Иванова, умершего 31 августа 1815 года. По воспоминанию А. Ф. Мерзлякова, Ф. Ф. Иванов, женатый на сестре А. И. Кошелева, оставил двух малюток — Наталью Федоровну и ее сестру Дарью Федоровну². Н. Ф. Иванова была одних лет с поэтом. Сохранился ее портрет, сделанный художником, когда она была уже замужем. Где и когда Лермонтов познакомился с нею (может

¹ «Вестник воспитания», 1915, № 6, стр. 116.

² «Сочинения и переводы Ф. Ф. Иванова», М., 1824, стр. 21.

быть, у А. Ф. Мерзлякова?), неизвестно¹. Первое стихотворение, обращенное к ней, относится к первой половине 1830 года, когда Лермонтов еще учился в пансионе. Когда он стал развивать перед ней свои «неясные мечты», то встретил с ее стороны полное непонимание:

Но взор спокойный, чистый твой
В меня вперился изумленный.
Ты покачала головой,
Сказав, что болен разум мой,
Желаньем вздорным ослепленный.

В послании Арбенина к Загорскиной, которое принято адресовать от лица поэта к Ивановой, есть строки:

Мы не годимся друг для друга:
Ты любишь шумный, хладный свет,
Я сердцем сын пустынь и юга!..

В другом стихотворении он назвал ее «девой легкой»:

Ты не коварна, как змея,
Лишь часто новым впечатленьям
Душа вверяется твоя.
Она увлечена мгновеньем;
Ей милы многие, вполне
Еще никто...

Любовь поэта разгорелась — после средниковского увлечения Сушковой — зимой 1830 года. Он «любил нежно, пламенно»:

Все для меня в тебе святое:
Волшебные глаза и эта грудь,
Где бьется сердце молодое...

Поэту казалось, что девушка отвечала ему взаимностью; он в двух стихотворениях писал о сорванном однажды «с невинных женских уст» «прощальном поцелуе»:

В те дни, когда любим тобой,
Я мог доволен быть судьбой...

Он открывал перед ней свою «таинственную душу и мученья, которых жертвой был». Девушка испытывала сострадание к его рассказам, но уже летом 1831 года ее судьба была решена: по воле родных она должна была связать свою жизнь с другим, — таков был обычай в то время. Поэт узнал об этом едва ли не в подмосковной усадьбе кого-то из родственников Н. Ф. Ивановой, где

¹ И. Андроникашвили. «К биографии М. Ю. Лермонтова». — «Труды Тифлисского государственного университета», 1936, I.

да проводила лето 1831 года, куда и он заезжал (см. «Зидение») ¹. Он счит решение Н. Ф. Ивановой выйти за-
рж за другого изменой:

Во зло употребила ты права,
Приобретенные над мною,
И мне, польстив любовью сперва,
Ты изменила — бог с тобою!..

О том, как бурно пережил поэт известие о разрыве, говорит его московское письмо к его другу Н. И. Полианову 7 июня 1831 года: «Я теперь сумасшедший со-сем... Нас судьба разносит в разные стороны, как ветер листы осени. Завтра *свадьба* твоей кузины Лужиной, на *которой* меня не будет (?!); впрочем, мне теперь не до подробностей! Чорт возьми все свадебные пиры!.. я не югу тебе много писать: болен, расстроен, глаза каждую минуту мокры — Source interissable ². Много со мной бываю...» Поэт начал жить воспоминаниями о любимой; расправлять рану мыслями, что она принадлежит другому («Сентября 28»), что она не должна и не может любить своего мужа:

Так! ты его не любишь... тайной властью
Прикована ты вновь
К душе печальной, незнакомой счастьем,
Но нежной, как любовь.

Он делится своим горем с друзьями, ищет успокоения в рассказах о своих страданиях двоюродной сестре Н. Ф. Ивановой — Е. П. Горчаковой ³. Ему казалось, любимая им обманула его; романтически настроенный юноша, видевший в женщине «ангела», «небесное создание», стал думать, что в мире все обман, что смерть единственное для него спасение...

Пора уснуть последним сном,
Довольно в мире пожил я;
Обманут жизнью был во всем
И ненавида и любя ⁴.

Но родник жизни слишком сильно бил в поэте, чтоб всецело предаваться подобным мыслям: «обман не мог

¹ И. Власов. «М. Ю. Лермонтов на берегах Клязьмы». — «Пламя», 1937, № 4, стр. 15.

² Неиссякаемый источник.

³ Стихотворение «К кн. Л. Г-ой», по мнению И. Л. Андроникова, относится к Е. Горчаковой.

⁴ См. еще стихотворение «Смерть».

отучить» его от жажды любви, от ожидания на земле осуществления его возвышенных чувств и гордых дум, воплощенных в его стихах.

Известность, слава, что они? — а есть
У них над мною власть; и мне они
Велят себе на жертву все принести,
И я влачу мучительные дни
Без цели, оклеветан, одинокий;
Не верю им! — неведомый пророк
Мне обещал бессмертье, и живой
Я смерти отдал все, что дар земной. —
Но для небесного могилы нет.
Когда я буду прах, мои мечты,
Хоть не поймет их, удивленный свет
Благословит; и ты, мой ангел, ты
Со мною не умрешь; моя любовь
Тебя отдаст бессмертной жизни вновь;
С моим названьем станут повторять
Твое: на что им мертвых разлучать, —

так властно утверждал Лермонтов через несколько дней после окончания романа с Н. Ф. Ивановой свою веру в жизнь, свое право на творческую деятельность, на свое бессмертие...¹

Но рана неразделенной, оборванной любви продолжала тревожить поэта, вызывала ряд новых мыслей, новых настроений. К началу 1832 года относится одно стихотворение, в котором поэт навсегда прощался с той, которую недавно любил. Романтический культ любви, ирония над своими былыми чувствами, гордое самоутверждение и мука при воспоминании о своей пламенной страсти, не встретившей равной симпатии, первый намек на страшную мысль, что страдание и радость надо таить от людей под маской смеха и неверия, презрения и игры в чувства, — все это было выражено с таким эмоциональным смятением, с таким могучим чувством жизни и сознанием своего великого призвания в мире, что нельзя не признать послания «К*» психологическим документом первостепенного значения в биографии поэта.

Я не унижусь пред тобою;
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душой.
Знай: мы чужие с этих пор.
Ты позабыла: я свободы
Для заблужденья не отдам;

¹ Сравни:

Меня спасало вдохновенье
От мелочных сует...

И так пожертвовал я годы
 Твоей улыбке и глазам,
 И так я слишком долго видел
 В тебе надежду юных дней,
 И целый мир возненавидел,
 Чтобы тебя любить сильней.
 Как знать, быть может, те мгновенья,
 Что протекли у ног твоих,
 Я отнимал у вдохновенья!
 А чем ты заменила их?
 Быть может, мыслию небесной
 И силой духа убежден
 Я дал бы миру дар чудесный,
 А мне за то бессмертье он? —
 Зачем так нежно обещала
 Ты заменить его венец?
 Зачем ты не была сначала,
 Какою стала наконец?
 Я горд! — прости — люби другого,
 Мечтай любовь найти в другом: —
 Чего б то ни было земного
 Я не соделаюсь рабом.
 К чужим горам, под небо юга
 Я удалюсь, может быть;
 Но слишком знаем мы друг друга,
 Чтобы друг друга позабыть.
 Отныне стану наслаждаться
 И в страсти стану клясться всем;
 Со всеми буду я смеяться,
 А плакать не хочу ни с кем;
 Начну обманывать безбожно,
 Чтоб не любить, как я любил —
 Иль женщин уважать возможно,
 Когда мне ангел изменил?
 Я был готов на смерть и муку
 И целый мир на битву звать,
 Чтобы твою младую руку —
 Безумец! — лишний раз пожать! —
 Не зная коварную измену,
 Тебе я душу отдавал; —
 Такой души ты знала ль цену? —
 Ты знала: — я тебя не знал!

Осенью 1831 года Лермонтов пережил большое горе: первого октября умер его отец у себя в деревне¹. Юно-

¹ В метрической книге местного церковного причта было написано, что «Ефтихий Петров Лермонтов, неслужащий, вдовый, 42 лет [умер] от чехотки. Погребен на отведенном кладбище».

По рассказу старика, крестьянина А. Г. Тарасова, записанному тульскими краеведами, Ю. П. Лермонтова будто бы «извела шкилев-

ша чувствовал себя виновным перед отцом, считая се
«причиной всех [его] мук» в длительной семейной вражд

Но ты простишь мне!..

Судьба отца напомнила ему его собственную жизнь
себя с отцом он называл «двумя жертвами жребия зела
ного»:

Ты дал мне жизнь, но счастья не дал;

Ты сам на свете был гоним,

Ты в людях только зло изведаль...

Неблагоприятным толкам об Ю. П. Лермонтове в до
ме Е. А. Арсеньевой поэт, любя отца, не придавал зна
чения:

Не мне судить, виновен ты иль нет...

Мы не нашли вражды один в другом,

Хоть оба стали жертвою страданья...

Вероятно, юноше приходилось скрывать свое горе от
близких, во всяком случае — не выражать его с той ис
кренностью, как хотелось бы; он «страдал без всяких
признаков страданья», тая про себя память об отце, с
кем «розно жил»...

Видя враждебное отношение к отцу со стороны бабуш
ки и ее родни, «осуждение светом», поэт искал мотивы
не только для оправдания отца, но и для возвеличения
его в глазах богатых и влиятельных родственников по
линии Столыпиных и Арсеньевых. Он пытался найти опору
в родословной Ю. П. Лермонтова. При жизни отца,
когда весной 1829 года была получена грамота о внесе
нии Ю. Лермонтова в родословную книгу тульского дво
рянства, поэт рассматривал герб рода Лермонтовых с
девизом: *Sors mea Jesus*, узнал о предке, выехавшем из
Шкотской земли, услышал о предании, будто фамилия
Лермонтовых происходила от испанского герцога Лермы,
бежавшего из Испании в Шотландию. Поэт утешался за
отца и за себя, хватаясь за эти легенды о бывшей знатно
сти его рода. Встретив у Шиллера в «Дон Карлосе» и у
Лесажа в «Жиль-Блазе» упоминания об испанском гра
фе Лерма, поэт стал подписываться под письмами и

ская барыня Раиса Петровна» за то, что он отказался исполнить ее
просьбу — «поморить крестьян»; «крестьяне Кропотова всей деревней
пошли туда и принесли его тело в Шиповскую церковь. Здесь и по
хоронили его под амвоном (в селе Ново-Михайловском). — «Тульский
край», 1927, № 1. А. К. Федоров, Т. В. Любимудров и В. Я. Пост
чиков. «Лермонтов в Ефремовской деревне»,

стихотворениями: Легта (Лерма). Бывая у Лопухиных, в доме (на углу Поварской и Молчановки), он в 1830 или в 1831 году «начертил на стене углем голову [поясной портрет], вероятно, воображаемого предка. Он был изображен в средневековом испанском костюме, с испанской бородкой, широким кружевным воротником и с цепью ордена Золотого Руна вокруг шеи. В глазах и, пожалуй, во всей верхней части лица не трудно заметить фамильное сходство с самим нашим поэтом. Голова эта, нарисованная *al fresco*, была затерта при исправлении штукатурки, и приятель поэта Алексей Александрович Лопухин был очень этим огорчен... Тогда Лермонтов нарисовал такую же голову на холсте и выслал ее Лопухину», который (в 1833 г.) писал поэту: «очень, очень тебе благодарен за твою голову: она меня восхищает и между тем иногда грусть наводит, когда я в ипохондрии»¹.

У Вальтер Скотта Лермонтов встречал фамилию Лермонт — в балладе «Смальгольмский барон», переведенной Жуковским, а также в балладе «Фома-рифмач»². Воображение поэта, возбужденное поэтическими образами, уносило его в далекую страну, воспетую Оссианом, которого он читал еще в пансионе:

Под занавесью тумана,
Под небом бурь, среди степей,
Стоит могила Оссиана
В горах Шотландии моей.
Летит к ней дух мой усыпленный
Родимым ветром подышать...

29 июля 1831 года, вечером, на бельведере средниковской усадьбы он мечтал о той же Шотландии, называя себя «последним потомком отважных бойцов, увядающим средь чуждых снегов»:

На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля...

Первоначальные мысли о возвеличении своего рода воспоминаниями о предках то из Испании, то из Шотландии в итоге заменялись тоскливым раздумьем о России, где, по убеждению поэта, ему придется «увядать»:

Я здесь был рожден, но не здешний душой...

¹ Из рассказа С. Д. Лопухиной П. А. Висковатому. См. «М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество». М., 1891, стр. 57.

² «Отрывок из неизданного романа В.-Скотта «Рифмач-Фома» был напечатан в «Сыне отечества» и «Северном архиве», 1830, № 42 (18 октября).

Родословная Лермонтовых, оказывается, для поэта являлась лишь новым оружием против окружавшего его быта, вызывала тоску по отсутствию *свободы* на его родине....

Отворите мне темницу...

.....
Дайте раз на жизнь и волю,
Как на чуждую мне долю,
Посмотреть поближе мне...

12

В 1831 году в Москву приехала Варвара Александровна Лопухина. По словам А. П. Шан-Гирея, «это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная», «милая, умная, как день»; «как теперь помню ее ласковый взгляд и светлую улыбку», — писал А. Шан-Гирей, вспоминая сестру друзей поэта — М. А. и А. А. Лопухиных, — «ей было лет 15—16; мы... сильно дразнили ее; у ней на лбу¹ чернелось маленькое родимое пятнышко, и мы всегда приставали к ней, повторяя: «У В(ареньки), родинка, В(аренька) уродинка», но она, добрейшее существо, никогда не сердилась».

В. А. Лопухина вызвала к себе сильное чувство поэта. Это заметили все: и Сашенька Верещагина была убеждена, что он «любил серьезно» Лопухину, и А. Шан-Гирей вспоминал, что «чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти», и Мария Александровна Лопухина, зная все тайны своего друга, доброжелательно отнеслась к увлечению поэта, увидев в его отношении к ее младшей сестре признаки подлинного и большого чувства.

Тон лирических признаний поэта, в которых он передавал свое впечатление от В. А. Лопухиной, свои переживания, возбужденные любовью к ней, совсем не тот, что в стихах, посвященных Н. Ф. Ивановой:

Она не гордой красотой
Прельщает юношей живых,
Она не водит за собою
Толпу вздыхателей немых,
И стан ее не стан богини,
И грудь волною не встает,
И в ней никто своей святыни,
Припав к земле, не признает;
Однако все ее движенья,

¹ Над бровью.

Улыбки, речи и черты
Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты.
Но голос душу проникает
Как воспоминанье лучших дней,
И сердце любит и страдает,
Почти стыдась любви своей.

Любовь к В. А. Лопухиной внесла в душевный мир поэта ту полноту и ясность чувства, то ощущение огромного счастья, чего он не знал до той поры¹. Любовь поэта встретила взаимность, но не долго продолжалось его счастье². Его вынужденный уход из Московского университета поставил вопрос о дальнейшем продолжении его образования вне Москвы. На семейном совете было решено, что Лермонтов поступит в Петербургский университет. В августе 1832 года Лермонтов с бабушкой выехал из Москвы.

Сохранилось несколько свидетельств, как отнеслись к известию об его отъезде товарищи поэта.

Лукиян Якубович, восторженный поклонник таланта Лермонтова в пансионе и в университетские годы, обратился к нему с посланием:

ТОВАРИЩУ-ПОЭТУ

Для поэтических мечтаний,
Для дум возвышенных твоих —
Не нужен гром рукоплесканий!
Поэты счастливы без них.
В себе одном прозрев мир целый,
Певца Британии любя,
Как он, могучий, юный, смелый,
Ты нам высказывал себя!
Стихи твои, как бурны тучи,

¹ Хотя дело не обходилось без внутренних тревожений, Лермонтов однажды записал: «4 декабря, день св. Варвары, вечером возвращаясь [от Лопухиных]. Вчера я еще дивился от продолжительности моего счастья! Кто бы подумал, взглянув на нее, что она может быть причиной страдания». П. А. Висковатый, располагавший сведениями о В. А. Лопухиной по рассказам ее родных и А. Шан-Гирея, передавал такой эпизод: «Когда разнесся слух, что Варенька Лопухина, «снизойдя одному из ухаживавших [за ней], выходит замуж, поэт пришел в негодование, потом загрустил и долго не виделся с нею. Они случайно встретились опять в доме у общих друзей. Там выяснилось, что все вздор, что никогда не думала она любить другого, и что брак, о котором было заговорили, был исключительно проектирован родными» (П. А. Висковатый, стр. 150).

² Отражение лирических переживаний поэта, вызванных его любовью к В. А. Лопухиной, дано в повести «Княгиня Лиговская».

На человека мещут гром:
Они то отгул злополучий,
То жизни быстрый перелом.
Товарищ! Жду иных я звуков:
В часы вакхических отрад,
Пускай в семействе наших внуков
Об нашей удали твердят:
Узнают пусть, как деды жили
На бреге царственной Невы,
Любили, пели и шалили,
Но не теряли головы¹.

Александр Афанасьевич Рыков написал в альбоме матери поэта:

Vous nous abandonnez et vous fuiez toutes.
Ah! en quittant ces lieux, pensez du moins à nous;
Pensez qu'à l'institut vous aviez des amis,
De plaisirs sémples, et des compagnes choisies.
Parmi votre famille, au sein de vos parents,
Vous allez parcourir le reste de vos ans.
Si seul quelque fois vous promenez vos pas
Ah! relisez ces vers, et ne m'oubliez pas.

A. Ricoff²

Покинув Москву, Лермонтов жил воспоминаниями о ней. «Москва моя родина, и такую будет для меня всегда: там я родился, там много страдал, и там же был слишком счастлив!» — писал он М. А. Лопухиной 28 августа 1832 года³.

¹ Впервые было напечатано в «Москве», 1832, № 91, под заглавием: «К Н. Н.», за подписью: Я. В сборнике «Стихотворения Лукьяна Якубовича» (П., 1837) текст был дан с полным заглавием.

² Перевод: «Вы нас покидаете и оставляете всех. О! Покидая эти места, по крайней мере, вспоминайте о нас, вспоминайте, что в школе вы имели друзей, приятные удовольствия и избранный круг товарищей. Среди вашей семьи, в объятиях близких, вы проведете свою жизнь. Если будете чувствовать себя одиноким, перечтите эти стихи и не забывайте меня. А. Рыков».

³ Поэма «Измаил-бей» была посвящена В. А. Лопухиной. Посвящение написанное в Петербурге, кончалось интимным признанием:

И ты, звезда любви моей,
Товарищ бурь моих суровых,
Послушай песни прежних дней:
Давно уж нет у сердца новых.
Ни мрачных дум, ни дум святых
Не изменила власть разлуки
Тобою полны счастья звуки,
Меня узнаешь ты в других..

Бывший студент Московского университета, не забыл и
своей alma mater: несколько лет спустя, вспоминая свой
студенческий кружок, «братьев-студентов», их споры, их
демонстрации против учителей, отставших от жизни, и
восторженный привет по адресу тех, кто с кафедры пере-
давал молодежи новые научные идеи, Лермонтов назы-
вал Московский университет «святым местом». Вместе с
Герценом он мог бы сказать: «в отношении к универси-
тету легка благодарность, она нераздельна с любовью, с
светлым воспоминанием молодого развития...»

СОДЕРЖАНИЕ

Глава I. Детские годы Лермонтова	3
Глава II. Лермонтов в Москве, 1827—1828 годы .	45
Глава III. В Университетском благородном пансионе	67
Глава IV. В Средниково	218
Глава V. В Московском университете. Студенческие годы (1830—1832)	236

Редактор А. Котов

Подписано к печати 6/VII 1945 г. А21009. Тираж 20 000 экз. Печ. л. 21³/₄.
Уч-авт. л. 20,4. Цена 7 р. Заказ № 2768.

1-я Образцовая типография треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР
Москва, Валуевская, 28.